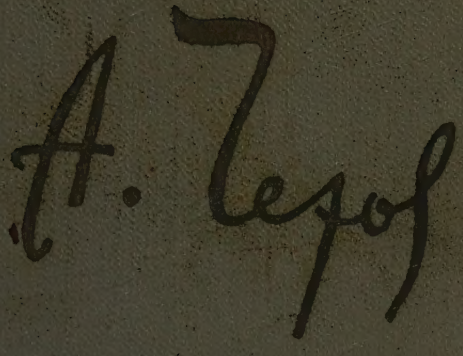


ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двенадцати томах

Под общей редакцией
В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1962

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том восьмой

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1895—1903

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1963

Примечания
В. М. Родионовой

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО

А. П. ЧЕХОВ
1900

СУПРУГА

— Я просил вас не убирать у меня на столе,— говорил Николай Евграфыч.— После ваших уборок никогда ничего не найдешь. Где телеграмма? Куда вы ее бросили? Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом.

Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору, но все это были городские телеграммы, от пациентов. Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны.

Был уже первый час ночи. Николай Евграфыч знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере часов в пять. Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, томился и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником.

В комнате жены на столе, под коробкой с почтовой бумагой, он нашел какую-то телеграмму и взглянул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи, для передачи Ольге Дмитриевне, из Монте-Карло, подпись:

Michel... Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык.

— Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи?

За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавши соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был с женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения, и как этот инженер представил ему и его жене молодого человека лет двадцати двух — двадцати трех, которого звали Михаилом Иванычем; фамилия была короткая, немножко странная: Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски: «На память о настоящем и в надежде на будущее»; потом он раза два встречал его самого у своей тещи... И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в четыре и пять часов утра и все просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей, и у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно.

Полгода назад товарищи врачи решили, что у него начинается чахотка, и посоветовали ему бросить все и уехать в Крым. Узнавши об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало; она стала ласкаться к мужу и все уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу, и что она поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить...

И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу: ее Michel живет в Монте-Карло.

Он взял английско-русский словарь и, переводя слова и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда». Он представил себе, какую бы смешную, жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с

женой в Ниццу, едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург — как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию?

— Маленькая ножка! — бормотал он, комкая телеграмму.— Маленькая ножка!

От того времени, когда он влюбился и сделал предложение и потом жил семь лет, осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев — и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменнической лжи... Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, так и эта женщина, из совершенно чуждой ему среды, влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах его пошлая кокоточная обстановка, а из десяти тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери-попадье хотя бы десять рублей и уже должен по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежно, непоправимо разрушена, как при этой женщине.

Он стал кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь в постель и согреться, но он не мог, а все ходил по комнатам или садился за стол, и нервно водил карандашом по бумаге, и писал машинально:

«Проба пера... Маленькая ножка...»

К пяти часам он ослабел и уже обвинял во всем одного себя, ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь на

нее доброе влияние, то — кто знает? — в конце концов, быть может, она стала бы доброй, честной женщиной; он же плохой психолог и не знает женской души, к тому же неинтересен, груб...

«Мне уже осталось немного жить,— думал он,— я труп и не должен мешать живым. Теперь, в сущности, было бы странно и глупо отстаивать какие-то свои права. Я объяснюсь с ней; пусть она уходит к любимому человеку... Дам ей развод, приму вину на себя...»

Ольга Дмитриевна приехала, наконец, и, как была, в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло.

— Противный, толстый мальчишка,— сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула.— Это даже нечестно, это гадко.— Она топнула ногой.— Я не могу, не могу, не могу!

— Что такое? — спросил Николай Евграфыч, подходя к ней.

— Меня провожал сейчас студент Азарбеков и потерял мою сумку, а в сумке пятнадцать рублей. Я у мамы взяла.

Она плакала самым серьезным образом, как девочка, и не только платок, но даже перчатки у нее были мокры от слез.

— Что ж делать! — вздохнул доктор.— Потерял, так и потерял, ну и бог с ним. Успокойся, мне нужно поговорить с тобой.

— Я не миллионерша, чтобы так манкировать деньгами. Он говорит, что отдаст, но я не верю, он бедный...

Муж просил ее успокоиться и выслушать его, а она говорила все о студенте и о своих потерянных пятнадцати рублях.

— Ах, я дам тебе завтра двадцать пять, только замолчи, пожалуйста! — сказал он с раздражением.

— Мне надо переодеться! — заплакала она.— Не могу же я серьезно говорить, если я в шубе! Как странно!

Он снял с нее шубу и калоши и в это время ощутил запах белого вина, того самого, которым она любила запивать устриц (несмотря на свою воздушность, она очень много ела и много пила). Она пошла к себе и немного погодя вернулась переодетая, напудренная, с

заплаканными глазами, села и вся ушла в свой легкий с кружевами капот, и в массе розовых волн муж различал только ее распущенные волосы и маленькую ножку в туфле.

— Ты о чем хочешь говорить? — спросила она, покачиваясь в кресле.

— Я нечаянно увидел вот это...— сказал доктор и подал ей телеграмму.

Она прочла и пожала плечами.

— Что ж? — сказала она, раскачиваясь сильнее.— Это обыкновенное поздравление с Новым годом и больше ничего. Тут нет секретов.

— Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка. Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма от Риса, он пьет здоровье своей возлюбленной и тысячу раз целует тебя. Но оставим, оставим это...— продолжал доктор торопливо.— Я вовсе не хочу упрекать тебя или делать сцену. Довольно уже было и сцен и попреков, пора кончить... Вот что я тебе хочу сказать: ты свободна и можешь жить, как хочешь.

Помолчали. Она стала тихо плакать.

— Я освобождаю тебя от необходимости притворяться и лгать,— продолжал Николай Евграфыч.— Если любишь этого молодого человека, то люби; если хочешь ехать к нему за границу, поезжай. Ты молода, здорова, а я уже калека, жить мне осталось недолго. Одним словом... ты меня понимаешь.

Он был взволнован и не мог продолжать. Ольга Дмитриевна, плача и голосом, каким говорят, когда жалеют себя, созналась, что она любит Риса и ездила с ним кататься за город, бывала у него в номере, и, в самом деле, ей очень хочется теперь поехать за границу.

— Видишь, я ничего не скрываю,— сказала она со вздохом.— Вся душа моя нараспашку. И я опять умоляю тебя, будь великодушен, дай мне паспорт!

— Повторяю: ты свободна.

Она пересела на другое место, поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли. Она никогда никому не верила, и как бы благородны ни были намерения, она всегда подозревала в них мелкие или

низменные побуждения и эгоистические цели. И когда она пытливо засматривала ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блеснул зеленый огонек.

— Когда же я получу паспорт? — спросила она тихо.

Ему вдруг захотелось сказать «никогда», но он сдержал себя и сказал:

— Когда хочешь.

— Я поеду только на месяц.

— Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод, приму вину на себя, и Рису можно будет жениться на тебе.

— Но я вовсе не хочу развода! — живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо.— Я не прошу у тебя развода! Дай мне паспорт, вот и все.

— Но почему же ты не хочешь развода? —спросил доктор, начиная раздражаться.— Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и он тоже любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между браком и адюльтером?

— Я понимаю вас,— сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое, мстительное выражение.— Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас, я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму и от вас не уйду, не уйду, не уйду! Во-первых, я не желаю терять общественного положения,— продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить,— во-вторых, мне уже двадцать семь лет, а Рису двадцать три; через год я ему надоем и он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго... Вот вам! Не уйду я от вас.

— Так я тебя выгоню из дому! — крикнул Николай Евграфыч и затопал ногами.— Выгоню вон, низкая, гнусная женщина!

— Увидим-с! — сказала она и вышла.

Уже давно рассвело на дворе, а доктор все сидел у стола, водил карандашом по бумаге и писал машинально:

«Милостивый государь... Маленькая ножка...»

Или же он ходил и останавливался в гостиной перед фотографией, снятой семь лет назад, вскоре после свадьбы, и долго смотрел на нее. Это была семейная группа: тесть, теща, его жена Ольга Дмитриевна, когда ей было двадцать лет, и он сам в качестве молодого, счастливого мужа. Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый и жадный до денег, теща — полная дама с мелкими и хищными чертами, как у хорька, безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей; если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом. У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более выразительные и смелые, чем у матери; это уж не хорек, а зверь покрупнее! А сам Николай Евграфыч глядит на этой фотографии таким простаком, добрым малым, человеком-рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он наивно верит, что эта компания хищников, в которую случайно втолкнула его судьба, даст ему и поэзию. и счастье, и все то, о чем он мечтал, когда еще студентом пел песню: «Не любить — погубить значит жизнь молодую»...

И опять с недоумением спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, по воспитанию — бурсак, простой, грубый и прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого, мелкого, по натуре совершенно чуждого ему существа.

Когда в одиннадцать часов он надевал сюртук, чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла горничная.

— Что вам? — спросил он.

— Барыня встали и просят двадцать пять рублей, что вы давеча обещали.

АННА НА ШЕЕ

I

После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник пятидесяти двух лет женится на девушке, которой едва минуло восемнадцать. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял собственно для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «ура», и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо,— ничего нельзя было понять,— и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша,

гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

— Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а! — кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства,— сказал он, улыбаясь.— Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

— Вот так,— сказал он, садясь рядом с Аней.

Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она,

гакая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! — думала она.— Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, непривыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом

голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навыкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.

— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.

— Здесь разъезд,— ответили ей,— ожидают почтового поезда.

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный донжуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда

Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

— Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он.— Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и

уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал или же сердился на мальчиков:

— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!

По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...» или: «Со средствами... имеет свой дом...» Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:

— Сколько стоит?

— Двадцать пять копеек.

— Однако! — говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.

Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:

— Поклонись этой старой даме!

— Но я с ней незнакома.

— Все равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! — ворчал он настойчиво.— Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривен-

ные, а теперь — ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такою же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного, громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против и натянуто улыбалась и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас.

Только один раз Петр Леонтьич осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!

— Хорошо, я вам дам,— сказал Модест Алексеич, подумав,— но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные периоды: «по мере того...», «исходя из того положения...», «ввиду только что сказанного», а бедный Петр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.

И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.

— Каждый человек должен иметь свои обязанности! — говорил им Модест Алексеич.

А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы.

II

Наступила между тем зима. Еще задолго до рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер, после карт, Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:

— Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.

И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат bijoux[1] и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:

---

[1] драгоценности (*франц.*).

— Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анюта! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон.— Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» — и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на

берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.

— Ты очаровательна сегодня,— говорил он, глядя на нее с восторгом,— и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но...— Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.

Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.

«Как он мил, когда трезв!» — думала она.

Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.

— Браво, браво!..— говорили в публике.

Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо

на нее в упор и слащаво улыбался и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.

— Очень рад, очень рад...— начал он.— А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены,— продолжал он, подавая ей руку.— Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждет вас с нетерпением.

Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.

— Помогите нам,— сказала она в нос, нараспев.— Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?

Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто — и все это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась, и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.

Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил,

выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в grand rond, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал — и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!

Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...

Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Подите прочь, болван!

После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.», или: «немедленно уплатить 100 р.».

На пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.

— Значит, у вас теперь три Анны,— сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями,— одна в петлице, две на шее.

Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:

— Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.

Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...

А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:

— Не надо, папочка... Будет, папочка...

БЕЛОЛОБЫЙ

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже немолода, и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил

по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» — и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

— Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом — го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и как ни в чем не бывало замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким, радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем это он бежит за мной? — думала волчиха с досадой.— Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это

время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:

— Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом тоже растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушел домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал»,— подумала волчиха и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйть! — засвистел Игнат.— Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок — ружье дало осечку; он спустил еще раз — опять осечка; он спустил в третий раз — и громадный огненный сноп вылетел из ствола, и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в

плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум...

Немного погодя он вернулся в избу.

— Что там? — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

— Ничего...— ответил Игнат.— Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

— Глупый.

— Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! — вздохнул Игнат, полезая на печь.— Ну, божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом...

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

УБИЙСТВО

I

На станции *Прогонной* служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко, на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун благовещения. Служил старик священник из Веденяпина; пели псаломщик и Матвей Терехов.

Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глас», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие.

Но вот всенощная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса:

— У нас на изразцовом заводе был свой хор. И должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему, великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы Андреево стояние и Похвалу начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было! — вздохнул Матвей.— Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч! А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в пяти верстах, при моем слабом здоровье и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия, день-деньской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами... Не дает бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч.

Матвей Терехов был еще не стар, лет сорока пяти, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах, и жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался и как от этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит грызь, объяснить он не мог.

— Признаться, не люблю я брата,— продолжал он, наливая себе чаю.— Он мне старший, грех осуждать, и боюсь господа бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный, для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братец, поедемте в Пахомово к обедне!» А он: «Не поеду,— там, говорит, поп картежник». И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку

К рассказу «Белолобый».
Художники Кукрыниксы. 1954.

пьет. Не любит духовенства! Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: господу помолимся! А она тонким голосочком, как индюшка: господи помилуй!.. Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» — а он без внимания.

Сергей Никанорыч, буфетчик, налил пять стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик:

— Как ты подаешь, поросячья морда? Ты не умеешь подавать!

Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотанье, потом опять крик, сердитый и резкий:

— Пошел вон!

Буфетчик вернулся сильно сконфуженный.

— Было время, когда угождал и графам и князьям,— проговорил он тихо,— а теперь, видите, не умею чай подать... Обругал при священнике и дамах!

Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первоклассной станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую; здесь от него ушла жена и увезла с собой все серебро, и он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на *Прогонную* и здесь торговал только чаем, дешевою водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была лысина во все темя, голубые глаза навыкате и густые, пушистые бакены, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а, по его мнению, торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно

своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни.

— А весна в этом году поздняя,— сказал Матвей, прислушиваясь.— Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об леригии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи да цветочки — бог с ними!

Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергей Никанорыч никак не мог успокоиться и все пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей простился и пошел домой.

Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес, по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый, протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом, сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанною головой, тоже весь белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто все это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись сам не зная чего.

Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и, как ведьмы на шабаше, кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги, стоит трактир Терехова, бывший постоялый двор. Тут по ночам всегда брезжит огонек.

Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иваныч еще продолжал служить всенощную. В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со ста-

ринными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма, в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ благовещения и тут же кипарисовый крест и кадильница; горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иваныч в это время читал у аналоя; с ним молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Иваныча, Дашутка, девушка лет восемнадцати, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину.

— Слава тебе, показавшему нам свет! — провозгласил Яков Иваныч нараспев и низко поклонился.

Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то очень давно, никто не жил, окна были забиты тесом, и на полу между балок валялись пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер, и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки.

Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в комнатах всё до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большою печью, где прежде, когда тут был постоялый двор, каждый день пекли хлеб. В этой же комнате за печкой помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши.

Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станционного жандарма. Пока он сидел над ней, моление кончилось и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая:

— Ты, дядя Матвей, зря бы свечку не жег.

— Это моя свечка,— ответил Матвей.— Я ее за свои деньги купил.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго,— ему не хотелось спать,— и, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и написал на книге: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самою лутшею, в чем и приношу мою прызнательность унтер-офицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу оной бесценной книгы». Делать подобные надписи на чужих книгах он считал долгом вежливости.

II

В самый день благовещения, после того как проводили почтовый поезд, Матвей сидел в буфете, пил чай с лимоном и говорил.

Слушали его буфетчик и жандарм Жуков.

— Я, надо вам заметить,— рассказывал Матвей,— еще в малолетстве был привержен к леригии. Мне только двенадцать годочков было, а я уже в церкви апостола читал, и родители мои весьма утешались, и каждое лето мы с покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другие ребяты песни поют или раков ловят, а я в это время с маменькой. Старшие меня одобряли, да и мне самому было это приятно, что я такого хорошего поведения. И как маменька благословили меня на завод, то я между делом пел там тенором в нашем хоре, и не было лучшего удовольствия. Само собой, водки я не пил, табаку не курил, соблюдал чистоту телесную, а такое направление жизни, известно, не нравится врагу рода человеческого, и захотел он, окаянный, погубить меня и стал омрачать мой разум, все равно как теперь у братца. Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю великого поста до субботы святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не

кушал. То же и в малые посты. Бывало, в Петровки наши заводские хлебают щи из судака, а я в стороночке от них сухарик сосу. У людей сила разная, конечно, но я об себе скажу: в постные дни мне не трудно было и так даже, что чем больше усердия, тем легче. Хочется кушать только в первые дни поста, а потом привыкаешь, становится все легче и, гляди, в конце недели совсем ничего, и в ногах этакое онемение, будто ты не на земле, а на облаке. И кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже. Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника, и вдруг такое мечтание: ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он небось осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит, будто дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце неспокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живут. И после этого никак я не могу найти службу по себе: в одном месте служат очень скоро, в другом, гляди, задостойник не тот пропели, в третьем дьячок гугнивый... Бывало, господи прости меня грешного, стою это в церкви, а от гнева сердце трясется. Какая уж тут молитва? И представляется мне, будто народ в церкви не так крестится, не так слушает; на кого ни погляжу, все пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, один только я живу по заповедям. Лукавый бес не дремал, дальше — больше, перестал я петь в хоре и уж вовсе не хожу в церковь; так уж я об себе понимаю, будто я человек праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходит, то есть, подобно падшему ангелу, возмечтал я в гордыне своей до невероятия. После этого стал я хлопотать, как бы свою церковь устроить. Нанял я у глухой мещанки комнатушечку далеко за городом, около кладбища, и устроил молельную, вот как у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. В этой своей молельной я держался устава святой Афонской

горы, то есть каждый день обязательно утреня у меня начиналась в полночь, а под особо чтимые двунадесятые праздники всенощная у меня служилась часов десять, а когда и двенадцать. Монахи все-таки, по уставу, во время кафизм и паремий сидят, а я желал быть угоднее монахов и все, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со воздыханием, воздевая руки, и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю все с молитвой. Ну, пошло по городу: Матвей святой, Матвей больных и безумных исцеляет. Никого я, конечно, не исцелял, но известно, как только заведется какой раскол и лжеучение, то от женского пола отбоя нет. Все равно как мухи на мед. Повадились ко мне разные бабки и старые девки, в ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее, а одна даже на моей голове сияние видела. Стало тесно в молельной, взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение, бес забрал меня окончательно и заслонил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели, и этак, долго не евши и не пивши, простоявши на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение, будто их лихорадка бьет, потом этого то одна крикнет, то другая — и этак страшно! Я тоже трясусь весь, как жид на сковороде, сам не знаю, по какой такой причине, и начинают наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потом этого крик, визг, все пляшем и друг за дружкой бегаем, бегаем до упаду. И, таким образом, в диком беспамятстве впал я в блуд.

Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:

— Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так.

— Но не убило меня громом,— продолжал Матвей, перекрестясь на образ и пошевелив губами.— Должно, молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться,— тогда прощеный день

был,— а он этак запер на крючочек дверь, и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А должен я вам заметить, Осип Варламыч без образования, но дальнего ума человек, и все его почитали и боялись, потому был строгой, богоугодной жизни и труженник. Городским головой был и старостой лет, может, двадцать, и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравилием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит. Ну, запер дверь и — «давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!..» И пошел и пошел... Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и — как зарыдаю! «Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельная твоя от беса; все, говорит, это гордость». На другой день, в чистый понедельник, привел меня бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы мне прямая дорога — в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: «Помни же, Матвей, что́ сверх обыкновения, то от беса». И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все... Ежели теперь, случается, от батюшки пахнет табаком или винцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь и я, как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. Не дал мне бог дара.

Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатления. Сергей Никанорыч ничего не сказал и стал

убирать с прилавка закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея, Яков Иваныч.

— У него тысяч тридцать по крайней мере,— сказал он.

Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый (когда он ходил, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалясь и положив ногу на ногу; разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал, и в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством, и когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.

— Да, тридцать тысяч будет, пожалуй,— согласился Сергей Никанорыч.— У вашего дедушки было огромадное состояние,— сказал он, обращаясь к Матвею.— Огромадное! Все потом осталось вашему отцу и вашему дяде. Ваш отец помер в молодых летах, и после него все забрал дядя, а потом, значит, Яков Иваныч. Пока вы с маменькой на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали.

— На вашу долю приходится тысяч пятнадцать,— сказал жандарм, покачиваясь.— Трактир у вас общий, значит, и капитал общий. Да. На вашем месте я давно бы подал в суд. Я бы в суд подал само собой, а пока дело, один на один всю бы рожу ему до крови...

Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь верует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей, равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.

— Вам неохота судиться с братом, потому что у вас своих денег много,— сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью.— Хорошо тому, у кого есть средства, а вот я, должно быть, так и умру в этом положении...

Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег, но Сергей Никанорыч уже не слушал; воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый

день, нахлынули на него; лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.

— Жизнь проклятая! — сказал он с досадой и ударил колбасой о пол.

III

Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре I, какою-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном; называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники; и всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом; здесь в грязи лежали громадные жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и, как бешеные, носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение; проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи, вроде того, например, как лет тридцать назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца, и в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест; проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дормезы, с ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота.

Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом, потом же, лет через десять, построили теперешнюю *Прогонную*. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочие. Постоялый двор превратился в трактир; верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины, навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи все еще валялись громадные,

жирные свиньи, розовые, отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и бешено, задрав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, овсом, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и навынос; спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище — Богомоловы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образам молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у внуков была та особенность, что они понимали писание не просто, а всё искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иваныч, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила в церковь и Дашутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых летах она хаживала в Веденяпино к хлыстам и что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому-де ходит в белом платочке.

Яков Иваныч был старше Матвея на десять лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, с широкою, седою бородой, почти до пояса, и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полушубок и вообще старался одеваться чисто и прилично; калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав, и потому, что

священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже в большие праздники, он же у себя дома прочитывал все, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он строго держался устава; так, если в великом посту в какой-нибудь день разрешалось, по уставу, вино «ради труда бденного», то он непременно пил вино, даже если не хотелось.

Он читал, пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит, и молиться так, как угодно богу, и поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно богу, то есть что полагается по уставу; так, первую главу от Иоанна нужно читать только в день пасхи, а от пасхи до вознесения нельзя петь «Достойно есть» и проч. Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть и он чувствовал себя несчастным.

Брат Матвей, приехавший неожиданно из завода и поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» От этих слов Якова Иваныча бросало в жар, а Аглая, не выдержав, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: «Братец, ваша молитва не угодна богу. Потому что сказано: прежде смирись с братом твоим, и тогда пришед

принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь!»

В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым.

А все же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему; и в самом деле, Матвей появлялся скоро и кричал дрожащим голосом: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» Сестра бранилась, и Яков тоже выходил из себя и кричал: «Пошел вон из моего дома!» А тот ему: «Этот дом наш общий».

Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой; хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходить на память, что богатому трудно войти в царство небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки...

По ночам он спал теперь нехорошо, чутко, и ему слышно было, как Матвей тоже не спал и все вздыхал, скучая по своем изразцовом заводе. И Якову ночью, пока он ворочался с боку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде.

Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти, а ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там наверху, в пустом этаже, мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела и не хотелось спать.

IV

Утром в страстной понедельник Матвей слышал из своей комнаты, как Дашутка сказала Аглае:

— Дядя Матвей говорил надысь, поститься, говорил, не надо.

Матвей припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой, и ему вдруг стало обидно.

— Девушка, не греши! — сказал он стонущим голосом, как больной.— Без постов нельзя, сам господь наш постился сорок дней. А только я тебе объяснял, что худому человеку и пост не в пользу.

— А ты только послушай заводских, они научат добру,— проговорила насмешливо Аглая, моя пол (в будни она обыкновенно мыла полы и при этом сердилась на всех).— На заводе, известно, какой пост. Ты вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал. Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А спроси, кому он деньги оставил, кому?

Матвей тщательно, как неопрятную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молений с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одною мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине все, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина, и теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. «Душенька» потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо привез со станции работник, Аглая перехватила и прочла и потом каждый день попрекала Матвея «душенькой».

— Шутка, девятьсот рублей! — продолжала Аглая.— Отдал девятьсот рублей чужой гадюке, заводской кобыле, чтоб ты лопнул! — Она уже разошлась и кричала визгливо: — Молчишь? Я б тебя разорвала, лядащий! Девятьсот рублей, как копеечка! Ты бы под Дашутку подписал,— своя, не чужая,— а то послал бы в Белев Марьиным сиротам несчастным. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анафема проклята, дьяволица, чтоб ей светлого дня не дождаться!

Яков Иваныч окликнул ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, в молельной же лицо у нее было чистое, умиленное, сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.

Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие; он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. К Матвею пришли в гости жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние, и теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорил:

— Татарин в Щепове сдает свое дело за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсот, а на остальные вексель. Так вот, Матвей Васильич, будьте столь благонадежны, одолжите мне эти пятьсот рублей. Я вам два процента в месяц.

— Какие у меня деньги! — изумился Матвей.— Какие у меня деньги!

— Два процента в месяц, это для вас как с неба,— объяснял жандарм.— А лежавшие у вас, ваши деньги только моль ест и больше никакого результата.

Потом гости ушли и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос:

— Братец, позвольте мне лошади в Веденяпино съездить!

Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.

— На чем же вы поедете? — спросил он, подумав.— На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино, вот как кончу.

— Братец, почему это вы можете распоряжаться лошадями, а я нет? — спросил с раздражением Матвей.

— Потому что я не гулять, а по делу.

— Имущество у нас общее, значит и лошади общие, и вы это должны понимать, братец.

Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.

— Братец,— говорил Матвей,— я человек больной, не хочу я имения, бог с ним, владейте, но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.

Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться — разориться.

Яков молчал и все ждал, когда уйдет Матвей, и все смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна, днем же это его пугало, и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы.

Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около *Прогонной* межевую канаву и прохарчили в трактире восемнадцать рублей, и теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и местами уже проваливалась; снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сырой ветер...

Навстречу ехал длинный обоз: бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги; лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так все время, пока мимо него медленно подвигался обоз; он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади и как бабы говорили про него: «Богомолов едет»,— а одна, поглядев с жалостью на его лошадь, сказала быстро:

— Похоже, снег до Егория пролежит. Замучились!

Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра, а перед ним все мелькали то лошади, то красный кирпич. И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда, и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике, и казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля... Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспоминал, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера.

Ему было жутко оставаться одному в поле; он повернул назад и тихо поехал за обозом, а бабы смеялись и говорили:

— Богомолов вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным. Яков Иваныч давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и раза два принимался читать псалтирь, а до вечера все еще было далеко. Аглая вымыла уже все полы и от нечего делать убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок. Матвей, голодный и грустный, сидел и читал или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод. Дашутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка, и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за ним

по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыбя!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор, но работник не понимал ее, и, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбранил ее нехорошими словами. Яков Иваныч, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинною, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.

— Что ты, срамница? — крикнул он ей и даже испугался.— Какие это ты слова?

А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов. Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такою дикою, темною, и в первый раз за все время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикой и темной, как эта девушка, и, вместо того чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.

В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры и что это их нисколько не беспокоит, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки; он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки,— в это время пошел снег хлопьями,— борода у него развевалась по ветру, он все встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех...

V

Когда он вернулся в дом, жандарма уже не было, а буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день, бывал в трактире; прежде ходил к Якову Иванычу, а в

последнее время к Матвею. Он все считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело, или просил денег, или, разглаживая бакены, рассказывал о том, как когда-то на первоклассной станции он приготовлял для офицеров крюшон и на парадных обедах сам разливал стерляжью уху. На этом свете его ничто не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:

— Грудь матери — это буфет для младенца.

Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег, говорил, что на *Прогонной* ему уже нельзя жить, и несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать:

— Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню; он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! господи, спаси!» — и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную.

— Грех, какой грех! — сказал он укоризненно и вздохнул.— Покайтесь! Опомнитесь, братец!

Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол,

тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своею верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? А может быть, все это только смущает бес и ничего этого не нужно?.. Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать, но то, что близко находился Матвей, мешало ему покойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.

Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска; на ней стоял холодный утюг.

— Сестрица,— попросил Матвей,— позвольте мне маслица!

— Кто же в такой день масло ест? — спросила Аглая.

— Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то что масло, даже молоко можно.

— Да, у вас на заводе все можно.

Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув, с злорадною улыбкой, очевидно довольная, что он такой грешник.

— А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! — крикнул Яков.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвей, точно не слышал, налил себе масла в чашку и продолжал есть.

— А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! — крикнул Яков еще громче, покраснел весь и вдруг схватил чашку, поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки.— Не смей говорить! — крикнул он неистовым голосом, хотя Матвей не сказал ни слова.— Не смей! — повторил он и ударил кулаком по столу.

Матвей побледнел и встал.

— Братец! — сказал он, продолжая жевать.— Братец, опомнитесь!

— Вон из моего дома сию минуту! — крикнул Яков; ему были противны морщинистое лицо Матвея, и его голос, и крошки на усах, и то, что он жует.— Вон, тебе говорят!

— Братец, уймитесь! Вас обуяла гордость бесовская!

— Молчи! (Яков застучал ногами.) Уходи, дьявол!

— Вы, ежели желаете знать,— продолжал Матвей громко, тоже начиная сердиться,— вы богоотступник и еретик. Бесы окаянные заслонили от вас истинный свет, ваша молитва не угодна богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грешника люта! Покайтесь, братец!

Яков взял его за плечи и потащил из-за стола, а он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал: «Что ж оно такое? Что ж оно такое?» — и, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвал воротник, а Аглае показалось, что это он хочет бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ею ненавистного брата прямо по темени. Матвей пошатнулся, и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным; Яков, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствие оттого, что бутылка, ударившись о голову, крякнула, как живая, не давал ему упасть и несколько раз (это он помнил очень хорошо) указал Аглае пальцем на утюг, и только когда полилась по его рукам кровь, и послышался громкий плач Дашутки, и когда с шумом упала гладильная доска, и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.

— Пусть издыхает, заводский жеребец! — с отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга; белый, забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились.— Туда ему и дорога!

Все было страшно. Дашутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и все кланялась, произнося с каждым поклоном: «гам! гам!» Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить, и было еще

нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне. Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним.

Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно; вчера резали свинью, и громадные кровяные пятна были на снегу, на санях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным.. Скрывать убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в город, и дорогой все будут указывать на них и весело говорить: «Богомоловых ведут!» — это представлялось Якову мучительнее всего, и хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам не теперь, а когда-нибудь после.

— Я вам могу одолжить тысячу рублей...— сказал он, догнав Сергея Никанорыча.— Если вы кому скажете, то от этого никакой пользы... а человека все равно не воскресишь,— и, едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти все скорее, он продолжал: — И полторы тысячи могу дать...

Он остановился, потому что запыхался, а Сергей Никанорыч пошел дальше все так же быстро, вероятно боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые; ветер утих, но снег все еще сыпался хлопьями, и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту и решительно пошел назад. Становилось темно.

— Пожалуйте полторы тысячи, Яков Иваныч,— сказал он тихо, дрожа всем телом.— Я согласен.

VI

Деньги Якова Иваныча лежали в городском банке и были розданы под вторые закладные; дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками и, пока синим огнем горела сера, успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белою простыней, и были видны только его сапоги. Кричал сверчок. Аглаи и Дашутки не было в комнатах: обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки. Яков Иваныч с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего четыреста двадцать одними мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; от бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иваныч вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.

— Гоп! — крикнул Яков.

У самого переезда от шлагбаума отделилась темная фигура и нерешительно пошла к нему.

— Что вы все ходите и ходите? — проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика.— Вот вам: тут немного не хватило до пятисот... Дома нет больше.

— Хорошо... Очень вам благодарен,— бормотал Сергей Никанорыч, хватая деньги с жадностью и запихивая их в карманы; он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки.— А вы, Яков Иваныч, будьте покойны... К чему мне болтать? Мое дело такое, я был да ушел. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю...— и тут же добавил со вздохом: — Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.

— Так это у вас, из пустяков, бог его знает как... — сказал буфетчик дрожа.— Сижу я, считаю себе и вдруг шум... Гляжу в дверь, а вы из-за постного масла... Где он теперь?

— Лежит там в кухне.

— Вы бы его свезли куда... Что ждать?

Яков проводил его до станции молча, потом вер-

нулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался, и все тогда подумают, что его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь, но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне.

Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из поддувал снопы багрового огня. На переезде в виду станции передний локомотив издал пронзительный свист.

— Свистить...— проговорила Дашутка.

Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.

— Это ты, Яков Иваныч? — сказал он.—Не узнал, богатым быть.

А потом, когда приехали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядом, постлавши себе в чайной на полу, а Яков расположился на прилавке. Перед тем, как ложиться, богу не молились и лампад не зажигали. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит.

Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть и что, должно быть, дорогой его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома,— разве он пошел в Веденяпино без шапки? И почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови в то время, как голова у него была проломлена, и лицо и грудь были черны от крови. Яков смутился, растерялся и ответил:

— Не могу знать.

И произошло именно то, чего так боялся Яков: приходил жандарм, урядник курил в молельной, и Аглая набросилась на него с бранью и нагрубила становому приставу, и когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: «Богомолова ведут!» — и казалось, все были рады.

Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ним, и что у Матвея были свои деньги, и если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались из-за денег, а дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил девятьсот рублей.

Дашутка осталась в трактире одна; никто уж не приходил пить чай и водку, и она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки; но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде, и он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели в город и посадили в острог. Вскорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч; у него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой, и деньги все были мелкие, одних рублевых бумажек было триста. Он божился, что эти деньги он наторговал и что в трактире он не был уже более года, а свидетели показали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея взаймы, и жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаро-пассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.

Через одиннадцать месяцев был суд.

Яков Иваныч сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не поки-

дали его и в тюрьме, душа его так же постарела и отощала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:

— Вы раскольник?

— Не могу знать,— ответил он.

Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастиях. У Сергея Никанорыча на месте бакенов выросла борода; на суде он потел, краснел и видимо стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним. Дашутка, пока была в тюрьме, пополнела; на суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.

Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстною целью. Яков Иваныч был приговорен к каторжным работам на двадцать лет, Аглая — на тринадцать с половиной, Сергей Никанорыч — на десять, Дашутка — на шесть.

VII

На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводило порядочную волну.

Из Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов. Предстояло нагружать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от бе-

рега, и там должна была начаться перегрузка — мучительная работа, когда баржу бьет о пароход и рабочие едва держатся на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук: «а... а... а... а...», и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и два-три ближайших арестанта с грубыми лицами или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн.

В этой партии находился Яков Иваныч, прозванный на каторге Веником за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по прибытии на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по родине, он поддался искушению и бежал, а его скоро поймали, присудили к бессрочной каторге и дали ему сорок плетей; потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу и арестантский поезд остановился ночью на *Прогонной*, и Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел впотьмах.

Не с кем было поговорить о родной стороне. Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Дашутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительницы, в дальнее селение; слухов о ней не было никаких, и раз только один поселенец, попавший в Воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей. Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ, но нельзя было рассчитывать повидаться с ним когда-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.

Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будет, так как погода

все портится и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался: это — паровой катер ходил к пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий рваный полушубок, Яков Иваныч пристально, не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов,— с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где бог и как должно ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, *Прогонную*, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он все смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день.

Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что нагрузки не будет.

— Назад! — скомандовал он.— Смирно!

Было слышно, как на пароходе убирали якорную цепь. Дул уже сильный, пронзительный ветер, и где-то вверху на крутом берегу скрипели деревья. Вероятно, начинался шторм.

АРИАДНА

На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой-то господин, довольно красивый, с круглою бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал:

— Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях. Но главное — о женщинах.

Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из-за границы, и в Волочиске я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целою горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем, и как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться; потом по пути в Одессу я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины.

Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглою бородкой сел со мной рядом и продолжал:

— Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких материях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не

умеет шалить, он в водевиле играет глубокомысленно; так и мы: когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. О женщинах же мы говорим так часто потому, мне кажется, что мы не удовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль, а что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор?

— Нет, нисколько.

— В таком случае позвольте представиться,— сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь.— Иван Ильич Шамохин, московский помещик некоторым образом... Вас же я хорошо знаю.

Он сел и продолжал, ласково и искренно глядя мне в лицо:

— Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники и прочее, я же на это дело смотрю иначе. Повторяю: мы не удовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся; любовь и счастье у нас — синонимы. У нас в России брак не по любви презирается, чувственность смешна и внушает отвращение, и наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышенны, и если русский человек издавна восторгается рафаэлевской мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь два-три года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и в конце концов убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки,— одним словом, не толь-

ко не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись.

Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах, и это располагало в его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладно и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь.

И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так:

— Помнится, в какой-то повести Вельтмана кто-то говорит: «Вот так история!» А другой ему отвечает: «Нет, это не история, а только интродукция в историю». Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция, мне же, собственно, хочется рассказать вам свой последний роман. Виноват, я еще раз спрошу: вам не скучно слушать?

Я сказал, что не скучно, и он продолжал:

— Действие происходит в Московской губернии, в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой речки, у так называемого быркого места, где вода шумит день и ночь; представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивняком, который в большую росу кажется немножко матовым, точно седеет, а по ту сторону луг, за лугом на холме страшный, темный бор. В этом бору рыжики родятся видимо-невидимо, и в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а все мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, знаете, больно глазам от солнца, или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река — одним словом, такая музыка, что хочется и плакать и громко петь. Запашка у нас не-

большая, но выручают луга, которые вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын, оба мы люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые три года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и все ждал, что меня куда-нибудь выберут, главное же, я был сильно влюблен в одну необыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имении были ананасы, замечательные персики, громоотводы, фонтан посреди двора и в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то кволый, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом. Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и неглупый, но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом. Во-первых, у умственно несвободных людей всегда бывает путаница понятий, и говорить с ними чрезвычайно трудно, и, во-вторых, обыкновенно никого они не любят, с женщинами не живут, а эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно. И наружность его мне не нравилась. Он был высок, толст, бел, с маленькой головой, с маленькими блестящими глазами, с белыми пухлыми пальцами. Он не жал вам руку, а мял. И все, бывало, извиняется. Просит что-нибудь — извините, дает — тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я не был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором в N., и мы долго жили в провинции, а когда я познакомился с ними, то этой девушке было уже двадцать два года, и она давно успела и институт кончить и пожить года два-три в Москве, с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя — Ариадна. Оно так шло к ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели

холодно и слащаво, как леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства,— и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне все еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги, шляпка и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства. Положим, понадобилась ей новая лошадь, а денег нет,— ну, что ж за беда? Можно продать что-нибудь или заложить, а если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флигелей железные крыши и спустить их на фабрику или в самую горячую пору погнать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов все прощалось и все позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили: и мой отец, и соседи, и мужики. И все мне сочувствовали. Когда, случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили:

— Дай бог вам жениться на котловичевой барышне.

И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам верхом или на шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде,— это было его любимое развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься и я помогал ей сесть на велосипед, и в это время она была так хороша, что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней,

обжигал себе руки, я дрожал от восторга, и когда они оба, старик и она, красивые, стройные, покатили рядом по шоссе, встречная вороная лошадь, на которой ехал приказчик, бросилась в сторону, и мне показалось, что она бросилась оттого, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну, умиляли ее, и ей страстно хотелось быть тоже очарованною, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично!

Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. В ней уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она, определенно не знавшая, для чего, собственно, она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатою и знатною, ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой salon и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов, и все это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами... Эта жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли все в одном направлении расхолаживают людей, и Ариадна была холодна: и ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланников все не было, Ариадна продолжала жить у своего брата-спирита, дела становились все хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платья и шляпки и приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность.

Как нарочно, когда она еще жила в Москве у тетки, к ней сватался некий князь Мактуев, человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния: зачем отказала. Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все-таки пьет, так и она брезгливо морщилась при воспоминании о князе и все-таки говорила мне:

— Что ни говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное...

Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там ни мечтай о посланниках, а все же сердце не камень и жаль бывает

своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась мне в любви. Но я человек нервный, чуткий; когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, без уверений и клятв, тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Ариадна сама чувствовала, что у нее не хватает пороху, ей было досадно, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала,— это произошло вечером, на берегу,— и я видел по глазам, что она меня не любит, а обняла просто из любопытства, чтобы испытать себя: что, мол, из этого выйдет. И мне сделалось страшно. Я взял ее за руки и проговорил в отчаянии:

— Эти ласки без любви причиняют мне страдание!

— Какой вы... чудак! — сказала она с досадой и отошла.

По всей вероятности, прошел бы еще год-два, и я женился бы на ней, тем и кончилась бы эта история, но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Ариадны приехал погостить его университетский товарищ Лубков, Михаил Иваныч, милый человек, про которого кучера и лакеи говорили: «Занятный господин!» Этак среднего роста, тощенький, плешивый, лицо, как у доброго буржуа, не интересное, но благообразное, бледное, с жесткими холеными усами, на шее гусиная кожа с пупырышками, большой кадык. Носил он pince-nez на широкой черной тесьме, картавил, не выговаривая ни *р*, ни *л*, так что, например, слово «сделал» у него выходило так: сдевав. Он был всегда весел, все ему было смешно. Женился он как-то необыкновенно глупо, двадцати лет, получил в приданое два дома в Москве, под Девичьим, занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и четверо детей жили в «Восточных номерах», терпели нужду, и он должен был содержать их,— и это ему было смешно. Ему было тридцать шесть лет, а жене его уже сорок два,— и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая особа с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целою оравой

собак и кошек, и он должен был выдавать ей особо по семьдесят пять рублей в месяц; и сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в «Славянском базаре» и пообедать в «Эрмитаже»; денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по две тысячи в год, этого не хватало, и он по целым дням бегал по Москве, как говорится, высунув язык, и искал, где бы перехватить взаймы,— и это тоже было смешно. Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредиторов, судебных приставов и смеялся над ними; смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать взаймы он приобрел много приятных знакомств. Смеялся он не переставая, и мы тоже смеялись. При нем и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать, идиллическим удовольствиям: любил уженье рыбы, вечерние прогулки, собиранье грибов; Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза три в неделю затевал пикники, и Ариадна с серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанского, конфект и посылала меня в Москву, конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы...

Лубков любил природу, но смотрел на нее как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизмеримо ниже его и созданное только для его удовольствия. Бывало, остановится перед каким-нибудь великолепным пейзажем и скажет: «Хорошо бы здесь чайку попить!» Однажды, увидев Ариадну, которая вдали шла с зонтиком, он кивнул на нее и сказал:

— Она худа, и это мне нравится. Я не люблю полных.

Меня это покоробило. Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал:

— Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных?

Я ничего ему не ответил. Потом как-то, будучи в отличном расположении и слегка навеселе, он сказал:

— Я заметил, вы Ариадне Григорьевне нравитесь. Удивляюсь вам, отчего вы зеваете.

Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд на любовь и женщин.

— Не знаю,— вздохнул он.— По-моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтична и возвышенна, но это не значит, что она должна быть вне законов природы. Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю женщин не меньше вашего, но думаю, что известные отношения не исключают поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Все равно как в сельском хозяйстве: красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе.

Когда я и Ариадна удили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить.

— Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа! — говорил он.— Вы молоды, красивы, интересны,— одним словом, мужчина хоть куда, а живете помонашески. Ох, уж эти мне старики в двадцать восемь лет! Я старше вас почти на десять лет, а кто из нас моложе? Ариадна Григорьевна, кто?

— Конечно, вы,— отвечала ему Ариадна.

И когда ему надоедало наше молчание и то внимание, с каким мы глядели на поплавки, он уходил в дом, а она говорила, глядя на меня сердито:

— В самом деле, вы не мужчина, а какая-то, прости господи, размазня. Мужчина должен увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать! Женщина простит вам и дерзость и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности.

Она не на шутку сердилась и продолжала:

— Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина...

И даже какое-то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращаясь ко мне, стала говорить о том, что если бы она была мужчиной, то не кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где-нибудь за границей, например в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масла в огонь; он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какие музеи! У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила, и глаза у ней засверкали: ехать!

И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии,— ах, Италия, ах да ох — и так каждый день, и когда Ариадна глядела мне через плечо, то по ее холодному и упрямому выражению я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отложить поездку на год-два, но она брезгливо морщилась и говорила:

— Вы рассудительны, как старая баба.

Лубков же был за поездку. Он говорил, что это обойдется очень дешево и что он тоже с удовольствием поедет в Италию и отдохнет там от семейной жизни. Я, каюсь, вел себя наивно, как гимназист. Не из ревности, а из предчувствия чего-то страшного, необычайного, я старался, когда было возможно, не оставлять их вдвоем, и они подшучивали надо мной; например, когда я входил, делали вид, что только что целовались и т. п.

Но вот в одно прекрасное утро является ко мне ее пухлый, белый брат-спирит и выражает желание поговорить со мной наедине. Это был человек без воли; несмотря на воспитание и деликатность, он никак не мог удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало перед ним на столе. И теперь в разговоре он признался, что нечаянно прочел письмо Лубкова к Ариадне.

— Из этого письма я узнал, что она в скором времени уезжает за границу. Милый друг, я очень взволнован! Объясните мне бога ради, я ничего не понимаю!

Когда он говорил это, то тяжело дышал, дышал мне прямо в лицо, и от него пахло вареной говядиной.

— Извините, я посвящаю вас в тайны этого письма,— продолжал он,— но вы друг Ариадны, она вас уважает! Быть может, вам известно что-нибудь. Она хочет уехать, но с кем? Господин Лубков тоже собирается с ней ехать. Извините, но это даже странно со стороны господина Лубкова. Он — женатый человек, имеет детей, а между тем объясняется в любви, пишет Ариадне *ты*. Извините, но это странно!

Я похолодел, руки и ноги у меня онемели, и я почувствовал в груди боль, как будто положили туда трехугольный камень. Котлович в изнеможении опустился в кресло, и руки у него повисли, как плети.

— Что же я могу сделать? — спросил я.

— Внушить ей, убедить... Посудите: что ей Лубков? Пара ли он ей? О боже, как это ужасно, как ужасно! — продолжал он, хватая себя за голову.— У нее такие чудесные партии, князь Мактуев и... и другие. Князь обожает ее, и не дальше как в среду на прошлой неделе его покойный дед Иларион положительно, как дважды два, подтверждал, что Ариадна будет его женой. Положительно! Дед Иларион уже мертв, но это изумительно умный человек. Дух его мы вызываем каждый день.

После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и все изорвал в клочки, потом рыдал в риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ не простившись.

Конечно, женщина есть женщина и мужчина есть мужчина, но неужели все это так же просто в наше время, как было до потопа, и неужели я, культурный человек, одаренный сложною духовною организацией, должен объяснять свое сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у нее иные, чем у меня? О, как бы это было ужасно! Мне хочется думать, что боровшийся с природой человеческий гений боролся и с физической любовью как с врагом и что если он и не победил ее, то все же удалось ему опутать ее сетью иллюзий братства и любви; и для меня по крайней мере это уже не просто отправление моего животного организма, как у собаки или лягушки, а настоящая любовь, и каж-

дое объятие бывает одухотворено чистым сердечным порывом и уважением к женщине. В самом деле, отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками в сотнях поколений, оно унаследовано мною с кровью и составляет часть моего существа, и если я теперь поэтизирую любовь, то не так же ли это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью. Мне кажется, так мыслит большинство культурных людей, так как в настоящее время отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третируется уже как явление атавизма; говорят, что оно есть симптом вырождения, многих помешательств. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает, ну, а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий. Но уж лучше, по-моему, пусть будет так, то есть лучше страдать, чем успокаивать себя на том, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина.

В Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал, что Ариадна Григорьевна такого-то числа отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму. Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариадна очень подробно описывала, как ей нелегко было помириться с своей теткой и выпросить у нее на дорогу тысячу рублей и как долго она отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтоб уговорить ее ехать вместе. Это излишество подробностей очень уж отдавало сочиненностью, и я понял, конечно, что никакой у нее спутницы не было. Немного погодя и я получил от нее письмо, тоже душистое и литературное. Она писала, что соскучилась по мне, по моим красивым, умным, влюбленным глазам, дружески упрекала, что я гублю свою молодость, кисну в деревне в то время, как мог бы, подобно ей, жить в раю, под пальмами, вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев. И подписалась так: «брошенная вами Ариадна». Потом дня через два

другое письмо в том же роде и подпись: «забытая вами». У меня мутилось в голове. Любил я ее страстно, снилась она мне каждую ночь, а тут еще «брошенная», «забытая» — к чему это? для чего? — а тут еще деревенская скука, длинные вечера, тягучие мысли насчет Лубкова... Неизвестность мучила меня, отравляла мне дни и ночи, стало невыносимо. Я не выдержал и поехал.

Ариадна звала меня в Аббацию. Я приехал туда в ясный, теплый день после дождя, капли которого еще висели на деревьях, и остановился в том же громадном, похожем на казарму dépendance'е[1], где жили Ариадна и Лубков. Их не было дома. Я отправился в здешний парк, побродил по аллеям, потом сел. Прошел мимо австрийский генерал, заложив руки назад, с такими же красными лампасами, какие носят наши генералы. Провезли в колясочке младенца, и колеса визжали по сырому песку. Прошел дряхлый старик с желтухой, толпа англичанок, ксендз, потом опять австрийский генерал. Поплелись к будке военные музыканты, только что приехавшие из Фиуме, со сверкающими трубами; заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь в Аббации? Это грязный славянский городишка с одною только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя проходить без калош. Я так много и всякий раз с таким умилением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила «читиры», «давадцать», и когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне, наконец, идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно. Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами; отсюда видны и Фиуме и далекие острова, покрытые лиловатою мглой, и это было бы картинно, если бы вид на бухту не загораживали отели и их dépendance'ы нелепой мещанской архитектуры, которыми застроили весь этот зеленый берег жадные торгаши, так что большею частью вы ничего не ви-

[1] флигеле (*франц.*).

дите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками. Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте. И темная, неподвижная, молчаливая зелень пальм, и ярко-желтый песок на аллеях, и ярко-зеленые скамьи, и блеск ревущих солдатских труб, и красные лампасы генерала — все это надоедает в десять минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь десять дней, десять недель! Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно и скупо живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как не смелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин...

Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариадна, изящная и нарядная, как принцесса; за нею шел Лубков, одетый во все новое и широкое, купленное, вероятно, в Вене.

— Что же вы сегдитесь? — говорил он.— Что я вам сдевав?

Увидев меня, она вскрикнула от радости, и если б это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею; она крепко жала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались расспросы: как в деревне, что отец, видел ли я брата и проч. Она требовала, чтобы я смотрел ей в глаза, и спрашивала, помню ли я пескарей, наши маленькие ссоры, пикники...

— В сущности, как все это было хорошо,— вздохнула она.— Но мы и здесь живем не скучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший! Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу.— Она оглядела меня и поморщилась.— Аббация не деревня,— сказала она.— Тут надо быть комильфо[1].

[1] как полагается (от *франц.* — comme il faut).

Потом мы пошли в ресторан. Ариадна все время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным и точно глазам своим не верила, что я с ней. Так просидели мы часов до одиннадцати и разошлись очень довольные и ужином и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству: «Сын известного профессора, наш сосед по имению». Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях, и при этом все ссылалась на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и, право, это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какою, впрочем, она и была по происхождению.

— Но какова тетя! — сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой.— Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Меран. Какова?

Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил:

— Про какую это вы тетю говорили давеча? Что еще за тетя?

— Это ложь во спасение,— рассмеялась Ариадна.— Они не должны знать, что я без спутницы.— После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала: — Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым! Он такой несчастный! Его мать и жена просто ужасны.

Она говорила Лубкову *вы* и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной, «до завтра», и жили они в разных этажах,— это подавало мне надежду, что все вздор и никакого романа у них нет, и, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. И когда он однажды попросил у меня триста рублей взаймы, то я дал ему их с большим удовольствием.

Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксендза и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт, и где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергивая плечами. И музыка играла все одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник или удил рыбу,

так и здесь мне было стыдно от лакеев, кучеров, встречных рабочих; мне все казалось, что они глядели на меня и думали: «Почему ты ничего не делаешь?» И этот стыд я испытывал от утра до вечера, каждый день. Странное, неприятное, монотонное время; разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня взаймы то сто, то пятьдесят гульденов, и от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия, и начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами.

Но вот пошли дожди, стало холодно. Мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей восемьсот. Мы останавливались в Венеции, в Болонье, во Флоренции и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром нам подавали café complet. В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд, с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку. С ней за компанию ели и мы. А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам, с постоянною мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искал глазами стула и лицемерно повторял за другими: «Какая прелесть! Сколько воздуху!» Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей.

То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра, и благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились.

Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков.

— Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое,— сказал он.— У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, все бы не беда, а то яко наг, яко благ... Верите ли, у меня осталось только восемь франков,— продолжал он, понижая голос,— между тем я должен послать жене сто и матери столько же. Да и здесь надо жить. Ариадна, точно ребенок, не хочет войти в положение и сорит деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И, скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то паинек? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых наши отношения, обходится нам в сутки лишних десять — пятнадцать франков, так как я занимаю отдельный номер. Для чего это?

Острый камень повернулся у меня в груди. Неизвестности уже не было, все уже было ясно для меня, я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение: не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой...

— Сходиться с женщиной легко,— продолжал Лубков,— стоит только раздеть ее, а потом как все это тяжело, какая ерунда!

Когда я считал полученные деньги, он сказал:

— Если вы не дадите мне тысячу франков взаймы, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс.

Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей, чудаком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счету. Оставалось проститься с Ариадной.

Я постучался к ней.

— Entrez![1]

В ее номере был утренний беспорядок: на столе чайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа; сильный, удушающий запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, непричесанная.

---

[1] Войдите! (*франц.*)

Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом:

— Зачем... зачем вы выписали меня сюда за границу?

По-видимому, она догадалась, о чем я думаю; она взяла меня за руку и сказала:

— Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый!

Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаю! Я вышел, не сказавши больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадну беременной, и она была мне противна, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станциях, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного, страстного корыстолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину — все это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. Ариадна, спрашивал я с ужасом, эта молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в связи с таким заурядным, неинтересным пошляком? Но почему же ей не любить Лубкова? — отвечал я себе. Чем он хуже меня? О, пусть она любит, кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенна со мной? И так далее, все в таком роде, до одурения. А в вагоне было холодно. Ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь отворяется прямо в купе,— и я чувствовал себя, как в колодках, стиснутым, брошенным, жалким, и ноги страшно зябли, и в то же время то и дело приходило на память, как обольстительна она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами, и такая сильная ревность вдруг овладевала мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом.

Дома я застал сугробы и двадцатиградусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что в это время дома,

даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане... Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные-длинные, я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать; днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь, то кур и телят покормишь, а по вечерам — хоть пропадай.

Прежде я не любил гостей, теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал спирит Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собою своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты,— для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, этак от завтрака до полуночи, и все молчал; молча выпивал бутылки две-три пива и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса:

— Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей там не скучно?

Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему: хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя: не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья, не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разгар работ получаю письмо с итальянскою маркой. И клевер, и пасека, и телята, и крестьянская девушка — все разлетелось, как дым. На этот

раз Ариадна писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руку помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. Все это было написано крупным нервным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее.

Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером, и когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она нисколько не изменилась и была все так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму, и все время она рассказывала мне про свое житье-бытье. Я спросил, где Лубков.

— Не напоминайте мне про эту тварь! — крикнула она.— Он мне противен и гадок!

— Но ведь вы, кажется, любили его,— сказал я.

— Никогда! На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость — вот и все. Он нахален, берет женщину приступом, и это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами — туда ему и дорога! Я сказала, чтоб он не смел возвращаться.

Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которые убрала по своему вкусу, холодно и роскошно. После того как уехал Лубков, она задолжала своим знакомым около пяти тысяч франков, и мой приезд в самом деле был для нее спасением. Я рассчитывал увезти ее в деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о заржавленной крыше на доме брата вызывали в ней отвращение, дрожь, и когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила:

— Нет, нет! Я там умру с тоски!

Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть.

— Будьте прежним дусей, любите меня немножко,— говорила Ариадна, склоняясь ко мне.— Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и все думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю,

будьте ласковы!.. Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю!

Я стал ее любовником. По крайней мере с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут, она, моя Ариадна,— о, к этому не легко привыкнуть! Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное, я был молод, здоров, крепок, она же была чувственна, как все вообще холодные люди — и мы оба делали вид, что сошлись по взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое.

Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции; поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми помещиками, с нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей, и, представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до двух, до трех часов; кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь, и потом, когда ложилась, я подавал ей в постель чего-нибудь, например, ростбифа, и она съедала его с печальным, озабоченным выражением, а проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины.

Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому без всякой надобности, а как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми; без кривлянья и ломанья не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине,— кто бы он ни был, гарсон или барон,— как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже контуры ее фигуры менялись.

Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, нет во всей Италии. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта.

— Вы такой талант! — говорила она сладко-певучим голосом.— С вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь.

И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро с единственною мыслью: «Нравиться!» И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись, как тигрица, не укрытая,— ей всегда бывало жарко,— читала письма, которые присылал ей Лубков; он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные, рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения; ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня; и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне:

— Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы!

Часто, глядя, как она спит, или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели для того только, чтобы ва-

ляться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, тринадцатого числа, приходила в ужас от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком.

Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое; она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали.

При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня, где только можно было, и когда он однажды ответил мне «non habeo»[1], я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. А Ариадна презирала практику жизни, ей не было никакого дела до всего этого, и, когда я, бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных желаний, кряхтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала «Addio, bella Napoli»[2]. Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротиветь себе окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки, мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче.

Надоел и я Ариадне. Кстати же люди, у которых она имела успех, были все средние люди, посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом

---

[1] не имею (*лат.*).

[2] «Прощай, прекрасный Неаполь» (*итал.*).

она усердно переписывалась со своим братом, у нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие — бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости. Но мы едем не в деревню, а в Ялту, потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах, а если б вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню! Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что, напрягши эти силы, я выкупил бы имение в пять лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь не заграница, а Россия-матушка, приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине, но, как бы ни было, я обязан на ней жениться.

Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте.

— Пока только в деревнях женщина не отстает от мужчины,— говорил Шамохин,— там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию, наполовину она уже человек-зверь, и благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно; женщина мало-помалу исчезает, на ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью; в своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживает его движение вперед. Это несомненно.

Я спросил: зачем обобщать, зачем по одной Ариадне судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва слушал меня и недоверчиво

улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно.

— Э, полноте! — перебил он.— Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, то есть завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень, очень хитры! Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, страшно хитрые!

Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке.

— Да-с,— слышал я, засыпая. — Да-с. А всему виной наше воспитание, батенька. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводятся к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, то есть чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца. Да-с,— Шамохин вздохнул.— Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту, а то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина, прежде всего, не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр, тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц, во-вторых, не все женщины родят и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов — и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семей-

ства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды...

Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивало. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными, заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая в Волочиске сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного, избалованного ребенка:

— Жан, твою птичку укачало!

Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром, во фригийской шапочке и в фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями.

— Не верьте,— шепнул мне Шамохин,— она ничего вашего не читала.

Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин; в руках у него были большие свертки с закусками и фруктами.

— Князь Мактуев здесь! — сказал он радостно.— Вчера приехал с ее братом-спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывалась с ним! Господи,— продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди,— если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода, я могу уехать тогда в деревню, к отцу!

И он побежал дальше.

— Я начинаю веровать в духов! — крикнул он мне, оглядываясь.— Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду! О, если бы!

На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина — мне неизвестно.

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Рассказ художника

I

Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на

вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было семнадцать — восемнадцать лет, не больше — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши

нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

— Вы совсем забыли нас, Петр Петрович,— сказала она Белокурову, подавая ему руку.— Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

— Интересная семья,— сказал Белокуров.— Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что́ я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

— Нехорошо, Петр Петрович,— говорила она укоризненно.— Нехорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда, — соглашалась мать.— Нехорошо.

— Весь наш уезд находится в руках Балагина,— продолжала Лида, обращаясь ко мне.— Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс*, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крестный папа»,—и водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и lown-tennis, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко — быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой,— сказал Белокуров и вздохнул.— Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я

от хороших людей, ах как отстал! А все дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э» и работал так же, как говорил,— медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

— Тяжелее всего,— бормотал он, идя рядом со мной,— тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

— Это для вас неинтересно.

Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист, и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела

на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось: например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние

праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

— Вчера у нас в деревне произошло чудо,— сказала она.— Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.

— Это неважно,— сказал я.— Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.

— А вам не страшно то, что непонятно?

— Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны», «Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

— Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите,— Женя дотронулась до моего рукава пальцем,— скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.

— Как это непонятно! — проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

— О, мама,— сказала Женя, целуя у нее руку,— тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!», или: «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как

Мисюсь, рассказывала мне, что́ случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте.

— Наша Лида замечательный человек,— говорила часто мать.— Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

— Она замечательный человек,— сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: — Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, все зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lown-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за все лето мне захотелось писать.

— Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? — спросил я у Белокурова, идя с ним домой.— Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней

завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин,— отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину,— ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

— Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами,— сказал я.— О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века — пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

— Дело не в пессимизме и не в оптимизме,— сказал я раздраженно,— а в том, что у девяносто девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется,— говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки.— Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды.— И, обратясь ко мне, она сказала: — Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

— Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами.— Вам неугодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

— Да?

— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

— Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас,— ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать.— По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до

К рассказу «Дом с мезонином».
Художник Д. Дубинский. 1954.

потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану,— сказала Лида, опуская газету.— Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда,— сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада,— сказал я.— Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! -- сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

— Нужно освободить людей от тяжкого физического труда,— сказал я.— Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида.— Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов,— сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и—

я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

— Вы, однако, себе противоречите,— сказала Лида.— Вы говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает,— такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд, и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит,— продолжал я возбужденно.— Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему,— они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного не-

чистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

— Мисюська, выйди,— сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие,— сказала Лида.— Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

— Правда, Лида, правда,— согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать,— продолжала Лида.— Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете.— И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: — Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— В деревне все спят,— сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза.— И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь, — грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.

— Мне кажется, вы правы,— сказала она, дрожа от ночной сырости.— Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все.

— Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет,— человечество выродится, и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

— Спокойной ночи,— проговорила она дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода.— Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

— Побудьте со мной еще минуту,— сказал я.— Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги! А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но

среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

— Останьтесь еще минуту,— попросил я.— Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня.— Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать все маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lown-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый — это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может ненавидит, меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно.

Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

— Вороне где-то... бог...— говорила она громко и протяжно, вероятно диктуя.— Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там? — окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

— Екатерина Павловна в саду?

— Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу...— добавила она, помолчав.— Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами,— прочел я.— Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, буд-

ничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и малопомалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

МОЯ ЖИЗНЬ

Рассказ провинциала

I

Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать». И потом я слышал, как он сказал: «Уберите этого господина, он портит мне нервы».

Дня через два меня уволили. Итак, за все время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, я переменил девять должностей. Я служил по различным ведомствам, но все эти девять должностей были похожи одна на другую, как капли воды: я должен был сидеть, писать, выслушивать глупые или грубые замечания и ждать, когда меня уволят.

Отец, когда я пришел к нему, сидел глубоко в кресле, с закрытыми глазами. Его лицо, тощее, сухое, с сизым отливом на бритых местах (лицом он походил на старого католического органиста), выражало смирение и покорность. Не отвечая на мое приветствие и не открывая глаз, он сказал:

— Если бы моя дорогая жена, а твоя мать была жива, то твоя жизнь была бы для нее источником постоянной скорби. В ее преждевременной смерти я усматриваю промысл божий. Прошу тебя, несчастный,— продолжал он, открывая глаза,— научи: что мне с тобою делать?

Прежде, когда я был помоложе, мои родные и знакомые знали, что со мною делать: одни советовали мне поступить в вольноопределяющиеся, другие — в аптеку, третьи — в телеграф; теперь же, когда мне уже минуло двадцать пять, и показалась даже седина в висках, и когда я побывал уже и в вольноопределяющихся, и в фармацевтах, и на телеграфе, все земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мне не советовали, а лишь вздыхали или покачивали головами.

— Что ты о себе думаешь? — продолжал отец.— В твои годы молодые люди имеют уже прочное общественное положение, а ты взгляни на себя: пролетарий, нищий, живешь на шее отца!

И по обыкновению он стал говорить о том, что теперешние молодые люди гибнут, гибнут от неверия, материализма и излишнего самомнения и что надо запретить любительские спектакли, так как они отвлекают молодых людей от религии и обязанностей.

— Завтра мы пойдем вместе, и ты извинишься перед управляющим и пообещаешь ему служить добросовестно,— заключил он.— Ни одного дня ты не должен оставаться без общественного положения.

— Я прошу вас выслушать меня,— сказал я угрюмо, не ожидая ничего хорошего от этого разговора.— То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением.

— Когда ты начинаешь говорить о физическом труде, то это выходит глупо и пошло! — сказал отец с раздражением.— Пойми ты, тупой человек, пойми, безмозглая голова, что у тебя, кроме грубой физической силы, есть еще дух божий, святой огонь, который в высочайшей степени отличает тебя от осла или от гада и приближает к божеству! Этот огонь добывался тысячи лет лучшими из людей. Твой прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине, дед твой был поэт, оратор и предводитель дворянства, дядя — педагог, наконец, я, твой отец,— архитектор! Все Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты погасил его!

— Надо быть справедливым,— сказал я.— Физический труд несут миллионы людей.

— И пускай несут! Другого они ничего не умеют делать! Физическим трудом может заниматься всякий, даже набитый дурак и преступник, этот труд есть отличительное свойство раба и варвара, между тем как огонь дан в удел лишь немногим!

Продолжать этот разговор было бесполезно. Отец обожал себя, и для него было убедительно только то, что говорил он сам. К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о черном труде, имело в своем основании не столько соображения насчет святого огня, сколько тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город; главное же, все мои сверстники давно уже окончили в университете и были на хорошей дороге, и сын управляющего конторой Государственного банка был уже коллежским асессором, я же, единственный сын, был ничем! Продолжать разговор было бесполезно и неприятно, но я все сидел и слабо возражал, надеясь, что меня, наконец, поймут. Ведь весь вопрос стоял просто и ясно и только касался способа, как мне добыть кусок хлеба, но простоты не видели, а говорили мне, слащаво округляя фразы, о Бородине, о святом огне, о дяде, забытом поэте, который когда-то писал плохие и фальшивые стихи, грубо обзывали меня безмозглою головой и тупым человеком. А как мне хотелось, чтобы меня поняли! Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю, и во мне с детства засела привычка спрашиваться у них, засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-нибудь; бываю я прав или виноват, но я постоянно боюсь огорчить их, боюсь, что вот у отца от волнения покраснела его тощая шея и как бы с ним не сделался удар.

— Сидеть в душной комнате,— проговорил я,— переписывать, соперничать с пишущею машиной для человека моих лет стыдно и оскорбительно. Может ли тут быть речь о святом огне!

— Все-таки это умственный труд,— сказал отец.— Но довольно, прекратим этот разговор, и во всяком случае я предупреждаю: если ты не поступишь опять на

службу и последуешь своим презренным наклонностям, то я и моя дочь лишим тебя нашей любви. Я лишу тебя наследства — клянусь истинным богом!

Совершенно искренно, чтобы показать всю чистоту побуждений, какими я хотел руководиться во всей своей жизни, я сказал:

— Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего.

Почему-то, совершенно неожиданно для меня, эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагровел.

— Не смей так разговаривать со мною, глупец! — крикнул он тонким, визгливым голосом.— Негодяй! — И быстро и ловко, привычным движением ударил меня по щеке раз и другой.— Ты стал забываться!

В детстве, когда меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся и, точно мое детство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. Отец мой был стар и очень худ, но, должно быть, тонкие мышцы его были крепки, как ремни, потому что дрался он очень больно.

Я попятился назад в переднюю, и тут он схватил свой зонтик и несколько раз ударил меня по голове и по плечам; в это время сестра отворила из гостиной дверь, чтобы узнать, что за шум, но тотчас же с выражением ужаса и жалости отвернулась, не сказав в мою защиту ни одного слова.

Намерение мое не возвращаться в канцелярию, а начать новую рабочую жизнь, было во мне непоколебимо. Оставалось только выбрать род занятия — и это не представлялось особенно трудным, так как мне казалось, что я был очень силен, выносли, способен на самый тяжкий труд. Мне предстояла однообразная рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки, с постоянною мыслью о заработке и куске хлеба. И — кто знает? — возвращаясь с работы по Большой Дворянской, я, быть может, не раз еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственным трудом, но теперь думать обо всех этих будущих моих невзгодах мне было весело. Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но

мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям,— например, к театру и чтению,— у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду,— не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвертого класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мне говорили, что это — умственный труд; моя деятельность в сфере учебной и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа: она была машинной; а такой умственный труд я ставлю ниже физического, презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной, беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности. По всей вероятности, настоящего умственного труда я не знал никогда.

Наступил вечер. Мы жили на Большой Дворянской — это была главная улица в городе, и на ней по вечерам, за неимением порядочного городского сада, гулял наш beau monde [1]. Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, которые благоухали, особенно после дождя, и из-за заборов и палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черемуха, яблони. Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гуденье жуков, тишина, тепло — как все это ново и как необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год! Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. С большинством из них я рос и когда-то шалил вместе, теперь же близость моя могла бы смутить их, потому что одет я был бедно, не по моде, и про мои очень узкие брюки и большие, неуклюжие сапоги говорили, что это у меня макароны на кораблях. К тому же в городе у меня была дурная репутация оттого, что я не имел общественного положения и часто играл в дешевых трактирах на бильярде, и еще оттого, быть может, что меня два раза, без всякого с моей стороны повода, водили к жандармскому офицеру.

---

[1] высший свет, избранное общество (*франц.*).

В большом доме напротив, у инженера Должикова играли на рояле. Начинало темнеть, и на небе замигали звезды. Вот, медленно, отвечая на поклоны, прошел отец в старом цилиндре с широкими загнутыми вверх полями, под руку с сестрой.

— Взгляни! — говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым давеча бил меня.— Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие,— все это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!

И говорил он это таким тоном, как будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен. Что это за бездарный человек! К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние пятнадцать — двадцать лет, на моей памяти, в городе не было построено ни одного порядочного дома. Когда ему заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиную; как в былое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала и гостиной. К ним он пририсовывал столовую, детскую, кабинет, соединяя комнаты дверями, и потом все они неизбежно оказывались проходными, и в каждой было по две, даже по три лишних двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая; всякий раз, точно чувствуя, что чего-то не хватает, он прибегал к разного рода пристройкам, присаживая их одну к другой, и я как сейчас вижу узкие сенцы, узкие коридорчики, кривые лестнички, ведущие в антресоли, где можно стоять только согнувшись и где вместо пола — три громадных ступени вроде банных полок; а кухня непременно под домом, со сводами и с кирпичным полом. У фасада упрямое, черствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая, приплюснутая, а на толстых, точно сдобных трубах непременно проволочные колпаки с черными, визгливыми флюгерами. И почему-то все эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый. С течением времени в городе к бездарности отца приглядились, она укоренилась и стала нашим стилем.

Этот стиль отец внес и в жизнь моей сестры. Начать с того, что он назвал ее Клеопатрой (как меня назвал

Мисаилом). Когда она была еще девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних мудрецах, о наших предках, подолгу объяснял ей, что такое жизнь, что такое долг; и теперь, когда ей было уже двадцать шесть лет, продолжал то же самое, позволяя ей ходить под руку только с ним одним и воображая почему-то, что рано или поздно должен явиться приличный молодой человек, который пожелает вступить с нею в брак из уважения к его личным качествам. А она обожала отца, боялась и верила в его необыкновенный ум.

Стало совсем темно, и улица мало-помалу опустела. В доме, что напротив, затихла музыка; отворились настежь ворота, и по нашей улице, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженер с дочерью поехал кататься. Пора спать!

В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одною крышей с кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сбруи,— в стены были вбиты большие костыли,— теперь же она была лишней, и отец вот уже тридцать лет складывал в ней свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не позволял никому трогать. Живя здесь, я реже попадался на глаза отцу и его гостям, и мне казалось, что если я живу не в настоящей комнате и не каждый день хожу в дом обедать, то слова отца, что я живу у него на шее, звучат уже как будто не так обидно.

Меня поджидала сестра. Она тайно от отца принесла мне ужин: небольшой кусочек холодной телятины и ломтик хлеба. У нас в доме часто повторяли: «Деньги счет любят», «Копейка рубль бережет» — и тому подобное, и сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, и оттого питались мы дурно. Поставив тарелку на стол, она села на мою постель и заплакала.

— Мисаил,— сказала она,— что ты с нами делаешь?

Она не закрывала лица, слезы у нее капали на грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая.

— Ты опять оставил службу...— проговорила она.— О, как это ужасно!

— Но пойми, сестра, пойми...— сказал я, и оттого, что она плакала, мною овладело отчаяние.

Как нарочно, в лампочке моей выгорел уже весь керосин, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово, и тени их мигали.

— Пощади нас! — сказала сестра, поднимаясь.— Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобою будет? — спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки.— Прошу тебя, умоляю, именем нашей покойной мамы прошу: иди опять на службу!

— Не могу, Клеопатра! — сказал я, чувствуя, что еще немного — и я сдамся.— Не могу!

— Почему? — продолжала сестра.— Почему? Ну, если не поладил с начальником, ищи себе другое место. Например, отчего бы тебе не пойти служить на железную дорогу? Я сейчас говорила с Анютой Благово, она уверяет, что тебя примут на железную дорогу, и даже обещала похлопотать за тебя. Бога ради, Мисаил, подумай! Подумай, умоляю тебя!

Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказал, что мысль о службе на строящейся железной дороге мне еще ни разу не приходила в голову и что, пожалуй, я готов попробовать.

Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку и потом все еще продолжала плакать, так как не могла остановиться, а я пошел в кухню за керосином.

II

Среди охотников до любительских спектаклей, концертов и живых картин с благотворительной целью первое место в городе принадлежало Ажогиным, жившим в собственном доме на Большой Дворянской; они всякий раз давали помещение, и они же принимали на себя все хлопоты и расходы. Эта богатая помещичья семья имела в уезде тысяч около трех десятин с роскошною усадьбой, но деревни не любила и жила зиму и лето в городе. Состояла она из матери, высокой, худощавой, деликатной дамы, носившей короткие воло-

сы, короткую кофточку и плоскую юбку на английский манер,— и трех дочерей, которых, когда говорили о них, называли не по именам, а просто: старшая, средняя и младшая. Все они были с некрасивыми острыми подбородками, близоруки, сутулы, одеты так же, как мать, неприятно шепелявили и все-таки, несмотря на это, обязательно участвовали в каждом представлении и постоянно делали что-нибудь с благотворительною целью — играли, читали, пели. Они были очень серьезны и никогда не улыбались и даже в водевилях с пением играли без малейшей веселости, с деловым видом, точно занимались бухгалтерией.

Я любил наши спектакли, а особенно репетиции, частые, немножко бестолковые, шумные, после которых нам всегда давали ужинать. В выборе пьес и в распределении ролей я не принимал никакого участия. На мне лежала закулисная часть. Я писал декорации, переписывал роли, суфлировал, гримировал, и на меня было возложено также устройство разных эффектов вроде грома, пения соловья и т. п. Так как у меня не было общественного положения и порядочного платья, то на репетициях я держался особняком, в тени кулис, и застенчиво молчал.

Декорации писал я у Ажогиных в сарае или на дворе. Мне помогал маляр, или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ, Андрей Иванов, человек лет пятидесяти, высокий, очень худой и бледный, с впалою грудью, с впалыми висками и с синевой под глазами, немножко даже страшный на вид. Он был болен какою-то изнурительною болезнью, и каждую осень и весну говорили про него, что он отходит, но он, полежавши, вставал и потом говорил с удивлением: «А я опять не помер!»

В городе его звали Редькой и говорили, что это его настоящая фамилия. Он любил театр так же, как я, и едва до него доходили слухи, что у нас затевается спектакль, как он бросал все свои работы и шел к Ажогиным писать декорации.

На другой день после объяснения с сестрой я с утра до вечера работал у Ажогиных. Репетиция была назначена в семь часов вечера, и за час до начала в зале

уже были в сборе все любители, и по сцене ходили старшая, средняя и младшая и читали по тетрадкам. Редька в длинном рыжем пальто и в шарфе, намотанном на шею, уже стоял, прислонившись виском к стене, и смотрел на сцену с набожным выражением. Ажогина-мать подходила то к одному, то к другому гостю и говорила каждому что-нибудь приятное. У нее была манера пристально смотреть в лицо и говорить тихо, как по секрету.

— Должно быть, трудно писать декорации,— сказала она тихо, подходя ко мне.— А мы только что с мадам Муфке говорили о предрассудках, и я видела, как вы вошли. Бог мой, я всю, всю мою жизнь боролась с предрассудками! Чтобы убедить прислугу, какие пустяки все эти их страхи, я у себя всегда зажигаю три свечи и все свои важные дела начинаю тринадцатого числа.

Пришла дочь инженера Должикова, красивая, полная блондинка, одетая, как говорили у нас, во все парижское. Она не играла, но на репетициях для нее ставили стул на сцене, и спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась в первом ряду, сияя и изумляя всех своим нарядом. Ей, как столичной штучке, разрешалось во время репетиций делать замечания, и делала она их с милою, снисходительною улыбкой, и видно было, что на наши представления она смотрела как на детскую забаву. Про нее говорили, что она училась петь в петербургской консерватории и будто даже целую зиму пела в частной опере. Она мне очень нравилась, и обыкновенно на репетициях и во время спектакля я не спускал с нее глаз.

Я уже взял тетрадку, чтобы начать суфлировать, как неожиданно появилась сестра. Не снимая манто и шляпы, она подошла ко мне и сказала:

— Прошу тебя, пойдем.

Я пошел. За сценой, в дверях стояла Анюта Благово, тоже в шляпке, с темною вуалькой. Это была дочь товарища председателя суда, служившего в нашем городе давно, чуть ли не с самого основания окружного суда. Так как она была высока ростом и хорошо сложена, то участие ее в живых картинах считалось

обязательным, и когда она изображала какую-нибудь фею или Славу, то лицо ее горело от стыда; но в спектаклях она не участвовала, а заходила на репетиции только на минутку, по какому-нибудь делу, и не шла в зал. И теперь видно было, что она зашла только на минутку.

— Мой отец говорил о вас,— сказала она сухо, не глядя на меня и краснея.— Должиков обещал вам место на железной дороге. Отправляйтесь к нему завтра, он будет дома.

Я поклонился и поблагодарил за хлопоты.

— А это вы можете оставить,— сказала она, указав на тетрадку.

Она и сестра подошли к Ажогиной и минуты две шептались с нею, поглядывая на меня. Они советовались о чем-то.

— В самом деле,— сказала Ажогина тихо, подходя ко мне и пристально глядя в лицо,— в самом деле, если это отвлекает вас от серьезных занятий,— она потянула из моих рук тетрадь,— то вы можете передать кому-нибудь другому. Не беспокойтесь, мой друг, идите себе с богом.

Я простился с нею и вышел сконфуженный. Спускаясь вниз по лестнице, я видел, как уходили сестра и Анюта Благово; они оживленно говорили о чем-то, должно быть о моем поступлении на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что она без его позволения была у Ажогиных.

Я отправился к Должикову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом. Тут было все мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы; на фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины, умные, прекрасные лица, свободные позы; из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол, накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и

дорогою сигарой, пахнет счастьем,— и все, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья, возможного на земле. За письменным столом сидела дочь инженера и читала газету.

— Вы к отцу? — спросила она.— Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока, прошу вас.

Я сел.

— Вы ведь, кажется, против нас живете? — спросила она опять после некоторого молчания.

— Да.

— Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините,— продолжала она, глядя в газету,— и часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе, сосредоточенное выражение.

Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею.

— Папа, monsieur Полознев,— сказала дочь.

— Да, да, мне говорил Благово,— живо обратился он ко мне, не подавая руки.— Но, послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа! — продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор.— Ходит вас ко мне по двадцать человек в день, вообразили, что у меня департамент! У меня линия, господа́, у меня каторжные работы, мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!

И от него пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный, здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубахе и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была круглая, курчавая бородка — и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные.

— Что вы умеете делать? — продолжал он.— Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку, я ходил машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами, любезнейший, какую работу я могу вам предложить?

— Конечно, это так...— пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных, невинных глаз.

— По крайней мере умеете ли вы управляться с аппаратом? — спросил он, подумав.

— Да, я служил на телеграфе.

— Гм... Ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит один, но дрянь ужасная.

— А в чем будут заключаться мои обязанности?— спросил я.

— Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню.

Он отошел от меня и даже головой не кивнул. Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.

Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей Большой Дворянской не было ни души, все еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. Мне было грустно и не хотелось уходить из города. Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым! Я любил эту зелень, тихие солнечные утра, звон наших колоколов; но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их.

Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. Я знал, что Кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает самовары и ружья, что Одесса портовый город, но что такое наш город и что он делает — я не знал. Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны; но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмом,— это для меня было всегда непостижимою загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам

лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. В думе, у губернатора, у архиерея, всюду в домах много лет говорили о том, что у нас в городе нет хорошей и дешевой воды и что необходимо занять у казны двести тысяч на водопровод; очень богатые люди, которых у нас в городе можно было насчитать десятка три и которые, случалось, проигрывали в карты целые имения, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили с азартом о займе — и я не понимал этого; мне казалось, было бы проще взять и выложить эти двести тысяч из своего кармана.

Во всем городе я не знал ни одного честного человека. Мой отец брал взятки и воображал, что это дают ему из уважения к его душевным качествам; гимназисты, чтобы переходить из класса в класс, поступали на хлеба к своим учителям, и эти брали с них большие деньги; жена воинского начальника во время набора брала с рекрутов и даже позволяла угощать себя и раз в церкви никак не могла подняться с колен, так как была пьяна; во время набора брали и врачи, а городовой врач и ветеринар обложили налогом мясные лавки и трактиры; в уездном училище торговали свидетельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали с подчиненных причтов и церковных старост; в городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали вослед: «Благодарить надо!» — и проситель возвращался, чтобы дать тридцать — сорок копеек. А те, которые взяток не брали, как, например, чины судебного ведомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью суждений, играли много в карты, много пили, женились на богатых и, несомненно, имели на среду вредное, развращающее влияние. Лишь от одних девушек веяло нравственною чистотой; у большин-

ства из них были высокие стремления, честные, чистые души; но они не понимали жизни и верили, что взятки даются из уважения к душевным качествам, и, выйдя замуж, скоро старились, опускались и безнадежно тонули в тине пошлого, мещанского существования.

III

В нашей местности строилась железная дорога. Накануне праздников по городу толпами ходили оборванцы, которых звали «чугункой» и которых боялись. Нередко приходилось мне видеть, как оборванца с окровавленною физиономией, без шапки, вели в полицию, а сзади, в виде вещественного доказательства, несли самовар или недавно вымытое, еще мокрое белье. «Чугунка» обыкновенно толпилась около кабаков и на базарах; она пила, ела, нехорошо бранилась и каждую мимо проходившую женщину легкого поведения провожала пронзительным свистом. Наши лавочники, чтобы позабавить эту голодную рвань, поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса; ей казалось, что ее преследует по пятам какое-то чудовище, она бежала далеко за город, в поле, и там выбивалась из сил; и у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума.

Вокзал строился в пяти верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление соглашалось дать только сорок, разошлись в десяти тысячах, и теперь горожане раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смете обходилось дороже. По всей линии были уже положены шпалы и рельсы, и ходили служебные поезда, возившие строительный материал и рабочих, и задержка была только за мостами, которые строил Должиков, да кое-где не были еще готовы станции.

Дубечня — так называлась наша первая станция—

находилась в семнадцати верстах от города. Я шел пешком. Ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. Место было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовывались вокзал, курганы, далекие усадьбы... Как хорошо было тут на воле! И как я хотел проникнуться сознанием свободы, хотя бы на одно это утро, чтобы не думать о том, что делалось в городе, не думать о своих нуждах, не хотеть есть! Ничто так не мешало мне жить, как острое чувство голода, когда мои лучшие мысли странно мешались с мыслями о гречневой каше, о котлетах, о жареной рыбе. Вот я стою один в поле и смотрю вверх на жаворонка, который повис в воздухе на одном месте и залился, точно в истерике, а сам думаю: «Хорошо бы теперь поесть хлеба с маслом!» Или вот сажусь у дороги и закрываю глаза, чтобы отдохнуть, прислушаться к этому чудесному майскому шуму, и мне припоминается, как пахнет горячий картофель. При моем большом росте и крепком сложении мне приходилось есть вообще мало, и потому главным чувством моим в течение дня был голод, и потому, быть может, я отлично понимал, почему такое множество людей работает только для куска хлеба и может говорить только о харчах.

В Дубечне штукатурили внутри станцию и строили верхний деревянный этаж у водокачки. Было жарко, пахло известкой, и рабочие вяло бродили по кучам щепы и мусора; около своей будки спал стрелочник, и солнце жгло ему прямо в лицо. Ни одного дерева. Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней кое-где отдыхали ястреба. Бродя тоже по кучам, не зная, что делать, я вспоминал, как инженер на мой вопрос, в чем будут заключаться мои обязанности, ответил мне: «Там увидим». Но что можно было увидеть в этой пустыне? Штукатуры говорили про десятника и про какого-то Федота Васильева, я не понимал, и мною мало-помалу овладела тоска,— тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и все свое большое тело и не знаешь, что делать с ними, куда деваться.

Походив по крайней мере с два часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы и через полторы-две версты оканчивались у бело-

го каменного забора; рабочие сказали, что там контора, и, наконец, я сообразил, что мне нужно именно туда.

Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, и на флигеле, который своею глухою стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из жести. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокою крышей, рыжею от ржавчины. По сторонам дома, направо и налево, стояли два одинаковых флигеля; у одного окна были забиты досками, около другого, с открытыми окнами, висело на веревке белье и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своею глухою стеной выходил в поле. Дверь была отворена, я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темною, кудрявою головой, в пиджаке из парусинки; он сурово, исподлобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал:

— Здравствуй, маленькая польза!

Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из второго класса за курение табаку. Мы вместе когда-то, в осеннее время, ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкою дробью, потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях (я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке), других, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этом, что все это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и наконец сбыл за копейку. «Все-таки маленькая польза!» — сказал я себе в утешение, пряча эту копейку, и с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня маленькою пользой; да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня так, хотя, кроме меня, уже никто не помнил, откуда произошло это прозвище.

Чепраков был не крепкого сложения: узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих — с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительное выражение, будто собирался что-то схватить, и все суетился.

— Да ты постой,— говорил он, суетясь.— Да ты послушай!.. О чем бишь я только что говорил?

Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым и только прошлою осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях три порядочных имения с переводом долга; мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще два года и выпросила для сына место при конторе.

— Еще бы ему не покупать! — сказал Чепраков про инженера.— С одних подрядчиков дерет сколько! Со всех дерет!

Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери.

— Она у меня скряга,— сказал он,— но дорого с тебя не возьмет.

В маленьких комнатах, где жила его мать, было очень тесно; все они, даже сени и передняя, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома; и мебель была все старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, с косыми китайскими глазами, сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно.

— Это, мамаша, Полознев,— представил меня Чепраков.— Он будет служить тут.

— Вы дворянин? — спросила она странным, неприятным голосом; мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир.

— Да,— ответил я.

— Садитесь.

Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, хозяй-

ка, все время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась, теплилось и сознание, что она — барыня-помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она — генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством; и когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну:

— Жан, ты не так держишь нож!

Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя:

— А мы, знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечни, так что мы не уедем отсюда, будем жить тут на станции, а это все равно, что в имении. Инженер такой добрый! Не находите ли вы, что он очень красив?

Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала все изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, не доплачивать приказчикам и рабочим; все боялась, как бы ее не ограбили — и в какие-нибудь десять лет Дубечня стала неузнаваемою.

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть, гостиная; старинное фортепиано, да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева — и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не пáрило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раски-

дистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной, и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше.

Сад, все больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком; около мельничной плотины был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенною крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой как зеркало, изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселою рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь все это — и плёс, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!

И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше, писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но большую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм, или сажал во флигеле мальчика, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибегал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда все были молочные, а в среды и в пятницы — постные, и в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала — это была у нее такая привычка, и в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе.

Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плёс стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции, и перед тем как спать, смотрелся в зеркальце и кричал:

— Здравствуй, Иван Чепраков!

Пьяный, он был очень бледен и все потирал руки и смеялся, точно ржал: ги-ги-ги! Из озорства он раздевался донага и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие.

IV

Как-то после обеда он прибежал во флигель, запыхавшись, и сказал:

— Ступай, там сестра твоя приехала.

Я вышел. В самом деле, у крыльца большого дома стояла городская извозчичья линейка. Приехала моя сестра, а с нею Анюта Благово и еще какой-то господин в военном кителе. Подойдя ближе, я узнал военного: это был брат Анюты, доктор.

— Мы к вам на пикник приехали,— сказал он.— Ничего?

Сестра и Анюта хотели спросить, как мне тут живется, но обе молчали и только смотрели на меня. Я тоже молчал. Они поняли, что мне тут не нравится, и у сестры навернулись слезы, а Анюта Благово стала красной. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно:

— Вот так воздух! Мать честная, вот так воздух!

По наружному виду это был еще совсем студент. И говорил и ходил он, как студент, и взгляд его серых глаз был такой же живой, простой и открытый, как у хорошего студента. Рядом со своею высокою и красивою сестрой он казался слабым, жидким; и бородка у него была жидкая, и голос тоже — жиденький тенорок, довольно, впрочем, приятный. Он служил где-то в полку и теперь приехал в отпуск к своим, и говорил, что осенью поедет в Петербург держать экзамен на доктора медицины. У него уже была своя семья — жена и трое детей; женился он рано, когда еще был на втором курсе, и теперь в городе рассказывали про него, что он несчастлив в семейной жизни и уже не живет с женой.

— Который теперь час? — беспокоилась сестра.— Нам бы пораньше вернуться, папа отпустил меня к брату только до шести часов.

— Ох, уж ваш папа! — вздохнул доктор.

Я поставил самовар. На ковре перед террасой большого дома мы пили чай, и доктор, стоя на коленях, пил из блюдечка и говорил, что он испытывает блаженство. Потом Чепраков сходил за ключом и отпер стеклянную дверь, и все мы вошли в дом. Было здесь сумрачно,

таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкий шум, точно под полом был подвал. Доктор стоя тронул клавиши фортепиано, и оно ответило ему слабо, дрожащим, сиплым, но еще стройным аккордом; он попробовал голос и запел какой-то романс, морщась и нетерпеливо стуча ногой, когда какой-нибудь клавиш оказывался немым. Моя сестра уже не собиралась домой, а в волнении ходила по комнате и говорила:

— Мне весело! Мне очень, очень весело!

В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе. Это первый раз в жизни я видел ее такою веселою. Она даже похорошела. В профиль она была некрасива, у нее нос и рот как-то выдавались вперед и было такое выражение, точно она дула, но у нее были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже красивою. Мы оба, я и она, уродились в нашу мать, широкие в плечах, сильные, выносливые, но бледность у нее была болезненная, она часто кашляла, и в глазах у нее я иногда подмечал выражение, какое бывает у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрывают это. В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу.

Но когда наступил вечер и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и села на линейку с таким видом, как будто это была скамья подсудимых.

Вот они все уехали, шум затих... Я вспомнил, что Анюта Благово за все время не сказала со мною ни одного слова.

«Удивительная девушка! — подумал я.— Удивительная девушка!»

Наступил петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти.

Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он три дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма; при нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал ответы. Мы трое стояли молча, навытяжку.

— Какие беспорядки! — сказал он, брезгливо заглянув в ведомость.— Через две недели я перевожу контору на станцию и уж не знаю, что мне с вами делать, господа.

— Я стараюсь, ваше высокородие,— проговорил Чепраков.

— То-то, вижу, как вы стараетесь. Только жалованье умеете получать,— продолжал инженер, глядя на меня.— Все надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче faire la carrière [1]. Ну, я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотал-с. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом, работал в Бельгии как простой смазчик-с. А ты, Пантелей, что здесь делаешь? — спросил он, повернувшись к Редьке.— Пьянствуешь с ними?

Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще к мелким служащим он был жесток и штрафовал и гонял их со службы холодно, без объяснений.

Наконец, приехали за ним лошади. Он на прощанье пообещал уволить всех нас через две недели, обозвал приказчика болваном и затем, развалившись в коляске, покатил в город.

— Андрей Иваныч,— сказал я Редьке,— возьмите меня к себе в рабочие.

— Ну, что ж!

---

[1] сделать карьеру (*франц.*).

И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил:

— Андрей Иваныч, зачем вы давеча приходили в Дубечню?

— Первое, ребята мои работают на линии, а второе — приходил к генеральше проценты платить. Летошний год я у нее полсотню взял и плачу теперь ей по рублю в месяц.

Маляр остановился и взял меня за пуговицу.

— Мисаил Алексеич, ангел вы наш,— продолжал он,— я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый про́цент, тот уже есть злодей. В таком человеке не может правда существовать.

Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа:

— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу. Господи, спаси нас грешных!

V

Редька был непрактичен и плохо умел соображать набирал он работы больше, чем мог исполнить, и при расчете тревожился, терялся и потому почти всегда бывал в убытке. Он красил, вставлял стекла, оклеивал стены обоями и даже принимал на себя кровельные работы, и я помню, как он, бывало, из-за ничтожного заказа бегал дня по три, отыскивая кровельщиков. Это был превосходный мастер, случалось ему иногда зарабатывать до десяти рублей в день, и если бы не это желание — во что бы то ни стало быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги.

Сам он получал издельно, а мне и другим ребятам платил поденно, от семидесяти копеек до рубля в день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разные наружные работы, главным образом красили крыши. С непривычки моим ногам было горячо, точно я ходил по раскаленной плите, а когда надевал валенки, то ногам было душно. Но это только на первых порах,

К рассказу «Моя жизнь».
Художник ***Т. Шишмарева.*** *1954.*

потом же я привык, и все пошло как по маслу. Я жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова «труд»; около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, все более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений.

В первое время все занимало меня, все было ново, точно я вновь родился. Я мог спать на земле, мог ходить босиком,— а это чрезвычайно приятно; мог стоять в толпе простого народа, никого не стесняя, и когда на улице падала извозчичья лошадь, то я бежал и помогал поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А главное, я жил на свой собственный счет и никому не был в тягость!

Окраска крыш, особенно с нашею олифой и краской, считалась очень выгодным делом, и потому этою грубой, скучной работой не брезговали даже такие хорошие мастера, как Редька. В коротких брючках, с тощими лиловыми ногами, он ходил по крыше, похожий на аиста, и я слышал, как, работая кистью, он тяжело вздыхал и говорил:

— Горе, горе нам, грешным!

По крыше он ходил так же свободно, как по полу. Несмотря на то что он был болен и бледен, как мертвец, прыткость у него была необыкновенная; он так же, как молодые, красил купол и главы церкви без подмостков, только при помощи лестниц и веревки, и было немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте, далеко от земли, выпрямлялся во весь свой рост и изрекал неизвестно для кого:

— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу!

Или же, думая о чем-нибудь, отвечал вслух своим мыслям:

— Все может быть! Все может быть!

Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у ворот на лавочках, все приказчики, мальчишки и их хозяева пускали мне вслед разные замечания, насмешливые и злобные, и это на первых порах волновало меня и казалось просто чудовищным.

— Маленькая польза! — слышалось со всех сторон.— Маляр! Охра!

И никто не относился ко мне так немилостиво, как именно те, которые еще так недавно сами были простыми людьми и добывали себе кусок хлеба черным трудом. В торговых рядах, когда я проходил мимо железной лавки, меня, как бы нечаянно, обливали водой и раз даже швырнули в меня палкой. А один купец-рыбник, седой старик, загородил мне дорогу и сказал, глядя на меня со злобой:

— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!

А мои знакомые при встречах со мною почему-то конфузились. Одни смотрели на меня как на чудака и шута, другим было жаль меня, третьи же не знали, как относиться ко мне, и понять их было трудно. Как-то днем, в одном из переулков около нашей Большой Дворянской, я встретил Анюту Благово. Я шел на работу и нес две длинных кисти и ведро с краской. Узнав меня, Анюта вспыхнула.

— Прошу вас не кланяться мне на улице...— проговорила она нервно, сурово, дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глазах у нее вдруг заблестели слезы.— Если, по-вашему, все это так нужно, то пусть... пусть, но прошу вас, не встречайтесь со мною!

Я уже жил не на Большой Дворянской, а в предместье Макарихе, у своей няни Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь дурное, боялась всех снов вообще и даже в пчелах и в осах, которые залетали к ней в комнату, видела дурные приметы. И то, что я сделался рабочим, по ее мнению, не предвещало ничего хорошего.

— Пропала твоя головушка! — говорила она печально, покачивая головой.— Пропала!

С нею в домике жил ее приемыш Прокофий, мясник, громадный, неуклюжий малый лет тридцати, рыжий, с жесткими усами. Встречаясь со мною в сенях, он молча и почтительно уступал мне дорогу, и если был пьян, то всей пятерней делал мне под козырек. По вечерам он ужинал, и сквозь дощатую перегородку мне слышно было, как он крякал и вздыхал, выпивая рюмку за рюмкой.

— Мамаша! — звал он вполголоса.

— Ну? — отзывалась Карповна, любившая без памяти своего приемыша.— Что, сынок?

— Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной жизни буду вас питать на старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню. Сказал — и верно.

Вставал я каждый день до восхода солнца, ложился рано. Ели мы, маляры, очень много и спали крепко, и только почему-то по ночам сильно билось сердце. С товарищами я не ссорился. Брань, отчаянные клятвы и пожелания вроде того, например, чтобы лопнули глаза или схватила холера, не прекращались весь день, но тем не менее все-таки жили мы между собою дружно. Ребята подозревали во мне религиозного сектанта и добродушно подшучивали надо мною, говоря, что от меня даже родной отец отказался, и тут же рассказывали, что сами они редко заглядывают в храм божий и что многие из них по десяти лет на духу не бывали, и такое свое беспутство оправдывали тем, что маляр среди людей все равно что галка среди птиц.

Ребята уважали меня и относились ко мне с почтением; им, очевидно, нравилось, что я не пью, не курю и веду тихую, степенную жизнь. Их только неприятно шокировало, что я не участвую в краже олифы и вместе с ними не хожу к заказчикам просить на чай. Кража хозяйской олифы и краски была у маляров в обычае и не считалась кражей, и замечательно, что даже такой справедливый человек, как Редька, уходя с работы, всякий раз уносил с собою немножко белил и олифы. А просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имевшие в Макарихе собственные дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое-нибудь ничтожество с первоначатием или окончанием и, получив от него гривенник, униженно благодарили.

С заказчиками они держали себя как лукавые царедворцы, и мне почти каждый день вспоминался шекспировский Полоний.

— А, должно быть, дождь будет,— говорил заказчик, глядя на небо.

— Будет, беспременно будет! — соглашались маляры.

— Впрочем, облака не дождевые. Пожалуй, не будет дождя.

— Не будет, ваше высокородие! Верно, не будет.

Заглазно они относились к заказчикам вообще иронически, и когда, например, видели барина, сидящего на балконе с газетой, то замечали:

— Газету читает, а есть небось нечего.

Дома у своих я не бывал. Возвращаясь с работы, я часто находил у себя записки, короткие и тревожные, в которых сестра писала мне об отце: то он был за обедом как-то особенно задумчив и ничего не ел, то пошатнулся, то заперся у себя и долго не выходил. Такие известия волновали меня, я не мог спать и, случалось даже, ходил ночью по Большой Дворянской мимо нашего дома, вглядываясь в темные окна и стараясь угадать, все ли дома благополучно. По воскресеньям приходила ко мне сестра, но украдкой, будто не ко мне, а к няньке. И если входила ко мне, то очень бледная, с заплаканными глазами, и тотчас же начинала плакать.

— Наш отец не перенесет этого! — говорила она.— Если, не дай бог, с ним случится что-нибудь, то тебя всю жизнь будет мучить совесть. Это ужасно, Мисаил! Именем нашей матери умоляю тебя: исправься!

— Сестра, дорогая моя,— говорил я,— как исправляться, если я убежден, что поступаю по совести? Пойми!

— Я знаю, что по совести, но, может быть, это можно как-нибудь иначе, чтобы никого не огорчать.

— Ох, батюшки! — вздыхала за дверью старуха.— Пропала твоя головушка! Быть беде, родимые мои, быть беде!

VI

В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благово. Он был в кителе поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных сапогах.

— А я к вам! — начал он, крепко, по-студенчески, пожимая мне руку.— Каждый день слышу про вас и все собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слово сказать. Жарко, мать пречис-

тая! — продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубахе.— Голубчик, позвольте с вами поговорить!

Мне самому было скучно и давно уже хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренно обрадовался ему.

— Начну с того,— сказал он, садясь на мою постель,— что я вам сочувствую от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здесь в городе вас не понимают, да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь, за весьма малыми исключениями, всё гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы — благородная душа, честный, возвышенный человек! Уважаю вас и считаю за великую честь пожать вашу руку! — продолжал он восторженно.— Чтобы изменить так резко и круто свою жизнь, как сделали это вы, нужно было пережить сложный душевный процесс, и, чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высоте своих убеждений, вы должны изо дня в день напряженно работать и умом и сердцем. Теперь, для начала нашей беседы, скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?

Мы разговорились, и когда у нас зашла речь о физическом труде, то я выразил такую мысль: нужно, чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки, то есть нужно, чтобы все без исключения — и сильные и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд в качестве общей, для всех обязательной повинности.

— Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения? — спросил доктор.

— Да.

— А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезною опасностью?

— В чем же опасность? — спросил я.— Ведь прогресс — в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабощаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса?

— Но позвольте! — вдруг вспылил Благово, вставая.— Но позвольте! Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?

— Почему же — ковыряется? — обиделся я.— Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс? По-моему, это прогресс самый настоящий и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека.

— Пределы общечеловеческого, мирового прогресса в бесконечности, и говорить о каком-то «возможном» прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно.

— Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, значит, цели его неопределенны,— сказал я.— Жить и не знать определенно, для чего живешь!

— Пусть! Но это «не знать» не так скучно, как ваше «знать». Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живете,— ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить — неужели не противно? Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга! Не о них нам надо думать,— ведь они все равно помрут и сгниют, как ни спасайте их от рабства,— надо думать о том великом иксе, который ожидает все человечество в отдаленном будущем.

Благово спорил со мною горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль.

— Должно быть, ваша сестра не придет,— сказал он, посмотрев на часы.— Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас. Вы всё толкуете — рабство, рабство...— продолжал он.— Но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно, само собой.

Заговорили о постепенности. Я сказал, что вопрос— делать добро или зло, каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность — палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность.

Но вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчас же заговорила о том, что ей пора домой, к отцу.

— Клеопатра Алексеевна,— сказал Благово убедительно, прижимая обе руки к сердцу,— что станется с вашим батюшкой, если вы проведете со мною и братом каких-нибудь полчаса?

Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг, внезапно, как тогда на пикнике. Мы пошли в поле и, расположившись на траве, продолжали наш разговор и смотрели на город, где все окна, обращенные на запад, казались ярко-золотыми оттого, что заходило солнце.

После этого, всякий раз, когда приходила ко мне сестра, являлся и Благово, и оба здоровались с таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Сестра слушала, как я и доктор спорили, и в это время выражение у нее было радостно восторженное, умиленное и пытливое, и мне казалось, что перед ее глазами открывался мало-помалу иной мир, какого она раньше не видала даже во сне и какой старалась угадать теперь. Без доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уже по причинам, о которых не говорила.

В августе Редька приказал нам собираться на линию. Дня за два перед тем, как нас «погнали» за город, ко мне пришел отец. Он сел и не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо, потом достал из кармана наш городской «Вестник» и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторою Государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате.

— А теперь взгляни на себя,— сказал он, складывая газету,— нищий, оборванец, негодяй! Даже мещане и крестьяне получают образование, чтобы стать людьми, а ты, Полознев, имеющий знатных, благородных предков, стремишься в грязь! Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобою; на тебя я уже махнул рукой,— продолжал он придушенным голосом, вставая.— Я пришел затем, чтобы узнать: где твоя сестра, негодяй? Она ушла из дому после обеда, и вот уже восьмой час, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне, она уже менее почтительна,— и я вижу тут твое злое, подлое влияние. Где она?

В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что

отец начнет бить меня, но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его.

— Живи как хочешь! — сказал он.— Я лишаю тебя моего благословения!

— Батюшки-светы! — бормотала за дверью нянька.— Бедная, несчастная твоя головушка! Ох, чует мое сердце, чует!

Я работал на линии. Весь август непрерывно шли дожди, было сыро и холодно; с полей не свозили хлеба, и в больших хозяйствах, где косили машинами, пшеница лежала не в копнах, а в кучах, и я помню, как эти печальные кучи с каждым днем становились все темнее и зерно прорастало в них. Работать было трудно; ливень портил все, что мы успевали сделать. Жить и спать в станционных зданиях нам не позволялось, и ютились мы в грязных, сырых землянках, где летом жила «чугунка», и по ночам я не мог спать от холода и оттого, что по лицу и по рукам ползали мокрицы. А когда работали около мостов, то по вечерам приходила к нам гурьбой «чугунка» только затем, чтобы бить маляров,— для нее это был род спорта. Нас били, выкрадывали у нас кисти и, чтобы раздразнить нас и вызвать на драку, портили нашу работу, например, вымазывали будки зеленою краской. В довершение всех наших бед Редька стал платить крайне неисправно. Все малярные работы на участке были сданы подрядчику, этот сдал другому, и уже этот сдал Редьке, выговорив себе процентов двадцать. Работа сама по себе была невыгодна, а тут еще дожди; время пропадало даром, мы не работали, а Редька был обязан платить ребятам поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликом, кровопийцей, Иудой-христопродавцем, а он, бедняга, вздыхал, в отчаянии воздевал к небу руки и то и дело ходил к госпоже Чепраковой за деньгами.

VII

Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица, и я дня по три сидел дома без дела или же исполнял разные не малярные работы,

например, таскал землю для черного наката, получая за это по двугривенному в день. Доктор Благово уехал в Петербург. Сестра не приходила ко мне. Редька лежал у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти.

И настроение было осеннее. Быть может, оттого, что, ставши рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки, почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаяние. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и две комнаты: мне заплатили по семи копеек за кусок, но приказали расписаться — по двенадцати, и когда я отказался исполнить это, то благообразный господин в золотых очках, должно быть один из старшин клуба, сказал мне:

— Если ты, мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебе всю морду побью.

И когда лакей шепнул ему, что я сын архитектора Полознева, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал:

— А черт с ним!

В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им взяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды; на почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами как с животными и кричать грубо и нагло: «Обожди! Куда лезешь?» Даже дворовые собаки — и те относились к нам недружелюбно и бросались на нас с какою-то особенною злобой. Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами: «Бога забыли». Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы,

продававшие нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о каких наших правах не могло быть и речи, и свои заработанные деньги мы должны были всякий раз выпрашивать как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок.

Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней; вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с пачкой книг в руках.

Я поклонился ей.

— А, здравствуйте! — сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку.— Очень рада вас видеть.

Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои, растянутые на полу; я смутился, и ей тоже стало неловко.

— Вы извините, что я на вас смотрю так,— сказала она.— Мне много говорили о вас. Особенно доктор Благово,— он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась; милая, симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем опрощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе.

Она опять поглядела на ведро с клейстером, на обои и продолжала:

— Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы, и если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Мне так хочется поговорить! Я простой человек,— сказала она, протягивая мне руку,— и, надеюсь, у меня вы будете без стеснения. Отца нет, он в Петербурге.

Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть.

В эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно желая хотя немного облегчить мое существование, изредка присылала мне то чаю и лимонов, то печений, то жареных рябчиков. Карповна говорила, что приносил это всякий раз солдат, а от кого — неизвестно; и солдат расспрашивал, здоров ли я, каждый ли день я обедаю и есть ли у меня теплое платье. Когда

наступили морозы, мне таким же образом, в мое отсутствие, с солдатом прислали мягкий вязаный шарф, от которого шел нежный, едва уловимый запах духов, и я угадал, кто была моя добрая фея. От шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово.

К зиме набралось больше работы, стало веселей. Редька опять ожил, и мы вместе работали в кладбищенской церкви, где шпатлевали иконостас для позолоты. Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая. В один день можно было много сработать, и притом время бежало быстро, незаметно. Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров. Само место обязывало к тишине и благочинию и располагало к тихим, серьезным мыслям. Погруженные в работу, мы стояли или сидели неподвижно, как статуи; была тишина мертвая, какая подобает кладбищу, так что если падал инструмент или трещал огонь в лампадке, то звуки эти раздавались гулко и резко — и мы оглядывались. После долгой тишины слышалось гуденье, точно летели пчелы: это у притвора, не торопясь, вполголоса, отпевали младенца; или живописец, писавший на куполе голубя и вокруг него звезды, начинал тихо посвистывать и, спохватившись, тотчас же умолкал; или Редька, отвечая своим мыслям, говорил со вздохом: «Все может быть! Все может быть!»; или над нашими головами раздавался медленный заунывный звон, и маляры замечали, что это, должно быть, богатого покойника несут...

Дни проводил я в этой тишине, в церковных сумерках, а в длинные вечера играл на бильярде или ходил в театр на галерею в своей новой триковой паре, которую я купил себе на заработанные деньги. У Ажогиных уже начались спектакли и концерты; декорации писал теперь один Редька. Он рассказывал мне содержание пьес и живых картин, какие ему приходилось видеть у Ажогиных, и я слушал его с завистью. Меня сильно тянуло на репетиции, но идти к Ажогиным я не решался.

За неделю до рождества приехал доктор Благово. И опять мы спорили и по вечерам играли на бильярде. Играя, он снимал сюртук и расстегивал на груди рубаху и вообще старался почему-то придать себе вид отча-

янного кутилы. Пил он немного, но шумно и ухитрялся оставлять в таком плохом, дешевом трактире, как «Волга», по двадцати рублей в вечер.

Опять у меня стала бывать сестра; оба они, увидев друг друга, всякий раз удивлялись, но по радостному, виноватому лицу ее видно было, что встречи эти были не случайные. Как-то вечером, когда мы играли на бильярде, доктор сказал мне:

— Послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете Марии Викторовны, это умница, прелесть, простая, добрая душа.

Я рассказал ему, как весною принял меня инженер.

— Пустое! — рассмеялся доктор.— Инженер — сам по себе, а она — сама по себе. Право, голубчик, не обижайте ее, сходите к ней как-нибудь. Например, давайте сходим к ней завтра вечером. Хотите?

Он уговорил меня. На другой день вечером, надевши свою новую трикотовую пару и волнуясь, я отправился к Должиковой. Лакей уже не показался мне таким надменным и страшным и мебель такою роскошною, как в то утро, когда я являлся сюда просителем. Мария Викторовна ожидала меня и встретила как старого знакомого, и пожала руку крепко, дружески. Она была в сером суконном платье с широкими рукавами и в прическе, которую у нас в городе год спустя, когда она вошла в моду, называли «собачьими ушами». Волосы с висков были зачесаны на уши, и от этого лицо у Марии Викторовны стало как будто шире, и она показалась мне в этот раз очень похожей на своего отца, у которого лицо было широкое, румяное и в выражении было что-то ямщицкое. Она была красива и изящна, но не молода, лет тридцати на вид, хотя на самом деле ей было двадцать пять, не больше.

— Милый доктор, как я ему благодарна! — говорила она, сажая меня.— Если бы не он, то вы не пришли бы ко мне. Мне скучно до смерти! Отец уехал и оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в этом городе.

Затем она стала расспрашивать меня, где я теперь работаю, сколько получаю, где живу.

— Вы тратите на себя только то, что зарабатываете? — спросила она.

— Да.

— Счастливый человек! — вздохнула она.— В жизни все зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты, а все это неизбежно, когда привыкаешь жить на счет других. Не подумайте, что я рисуюсь, искренно вам говорю: неинтересно и неприятно быть богатым. Приобретайте друзей богатством неправедным — так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного.

Она с серьезным, холодным выражением оглядела мебель, точно хотела сосчитать ее, и продолжала:

— Комфорт и удобства обладают волшебною силой; они мало-помалу затягивают людей даже с сильною волей. Когда-то отец и я жили небогато и просто, а теперь видите как. Слыханное ли дело,— сказала она, пожав плечами,— мы проживаем до двадцати тысяч в год! В провинции!

— На комфорт и удобства приходится смотреть как на неизбежную привилегию капитала и образования,— сказал я,— и мне кажется, что удобства жизни можно сочетать с каким угодно, даже с самым тяжелым и грязным трудом. Ваш отец богат, однако же, как он говорит, ему пришлось побывать и в машинистах и в простых смазчиках.

Она улыбнулась и с сомнением покачала головой.

— Папа иногда ест и тюрю с квасом,— сказала она.— Забава, прихоть!

В это время послышался звонок, и она встала.

— Образованные и богатые должны работать, как все,— продолжала она,— а если комфорт, то одинаково для всех. Никаких привилегий не должно быть. Ну, бог с нею, с философией. Расскажите мне что-нибудь веселенькое. Расскажите мне про маляров. Какие они? Смешные?

Пришел доктор. Я стал рассказывать про маляров, но с непривычки стеснялся и рассказывал, как этнограф, серьезно и вяло. Доктор тоже рассказал несколько анекдотов из жизни мастеровых. Он пошатывался, плакал,

становился на колени и даже, изображая пьяного, ложился на пол. Это была настоящая актерская игра, и Мария Викторовна, глядя на него, хохотала до слез. Потом он играл на рояле и пел своим приятным жиденьким тенором, а Мария Викторовна стояла возле и выбирала для него, что петь, и поправляла, когда он ошибался.

— Я слышал, вы тоже поете? — спросил я.

— Тоже! — ужаснулся доктор.— Она — чудная певица, артистка, а вы — тоже! Эка хватил!

— Я когда-то занималась серьезно,— ответила она на мой вопрос,— но теперь бросила.

Сидя на низкой скамеечке, она рассказывала нам про свою жизнь в Петербурге и изображала в лицах известных певцов, передразнивая их голоса и манеру петь; рисовала в альбоме доктора, потом меня, рисовала плохо, но оба мы вышли похожи. Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло к ней, чем разговоры о богатстве неправедном, и мне казалось, что говорила она со мною давеча о богатстве и комфорте не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставил ее рядом с нашими барышнями, и даже красивая, солидная Анюта Благово не выдерживала сравнения с нею; разница была громадная, как между хорошей культурной розой и диким шиповником.

Мы втроем ужинали. Доктор и Мария Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе с коньяком; они чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу, и не пьянели, а только раскраснелись и часто хохотали без причины, до слез. Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино.

— Талантливые, богато одаренные натуры, — сказала Должикова,— знают, как им жить, и идут своею дорогой; средние же люди, как я, например, ничего не знают и ничего сами не могут; им ничего больше не остается, как подметить какое-нибудь глубокое общественное течение и плыть, куда оно понесет.

— Разве можно подметить то, чего нет? — спросил доктор.

— Нет, потому что мы не видим.

— Так ли? Общественные течения — это новая литература выдумала. Их нет у нас.

Начался спор.

— Никаких глубоких общественных течений у нас нет и не было,— говорил доктор громко.— Мало ли чего не выдумала новая литература! Она выдумала еще каких-то интеллигентных тружеников в деревне, а у нас обыщите все деревни и найдете разве только Неуважай-Корыто в пиджаке или в черном сюртуке, делающего в слове «еще» четыре ошибки. Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсот лет назад. Течения, веяния, но ведь все это мелко, мизерабельно, притянуто к пошлым, грошовым интересикам — и неужели в них можно видеть что-нибудь серьезное? Если вам покажется, что вы подметили глубокое общественное течение и, следуя за ним, вы посвятите вашу жизнь таким задачам в современном вкусе, как освобождение насекомых от рабства или воздержание от говяжьих котлет, то — поздравляю вас, сударыня. Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы еще не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем.

— Вы не понимаете, а я понимаю,— сказала Мария Викторовна.— Вы сегодня бог знает какой скучный!

— Наше дело — учиться и учиться, стараться накоплять возможно больше знаний, потому что серьезные общественные течения там, где знания, и счастье будущего человечества только в знании. Пью за науку!

— Одно несомненно: надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному,— сказала Мария Викторовна, помолчав и подумав,— а та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стоит. Не будем говорить о ней.

Когда мы вышли от нее, то в соборе било уже два часа.

— Понравилась? — спросил доктор.— Не правда ли, славная?

В первый день рождества мы обедали у Марии Викторовны и потом, в продолжение всех праздников, ходили к ней почти каждый день. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что, кроме

меня и доктора, у нее в городе нет никого знакомых. Время мы проводили большею частью в разговорах; иногда доктор приносил с собою какую-нибудь книгу или журнал и читал нам вслух. В сущности, это был первый образованный человек, какого я встретил в жизни. Не могу судить, много ли он знал, но он постоянно обнаруживал свои знания, так как хотел, чтобы и другие также знали. Когда он говорил о чем-нибудь относящемся к медицине, то не походил ни на одного из наших городских докторов, а производил какое-то новое, особенное впечатление, и мне казалось, что если бы он захотел, то мог бы стать настоящим ученым. И это, пожалуй, был единственный человек, который в то время имел серьезное влияние на меня. Видаясь с ним и прочитывая книги, какие он давал мне, я стал мало-помалу чувствовать потребность в знаниях, которые одухотворяли бы мой невеселый труд. Мне уже казалось странным, что раньше я не знал, например, что весь мир состоит из шестидесяти простых тел, не знал, что такое олифа, что такое краски, и как-то мог обходиться без этих знаний. Знакомство с доктором подняло меня и нравственно. Я часто спорил с ним, и хотя обыкновенно оставался при своем мнении, но все же благодаря ему я мало-помалу стал замечать, что для самого меня не все было ясно, и я уже старался выработать в себе возможно определенные убеждения, чтобы указания совести были определенны и не имели бы в себе ничего смутного. Тем не менее все-таки этот самый образованный и лучший человек в городе далеко еще не был совершенством. В его манерах, в привычке всякий разговор сводить на спор, в его приятном теноре и даже в его ласковости было что-то грубоватое, семинарское, и когда он снимал сюртук и оставался в одной шелковой рубахе или бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось всякий раз, что культура — культурой, а татарин все еще бродит в нем.

На крещение он опять уехал в Петербург. Он уехал утром, а после обеда пришла ко мне сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидела молча, очень бледная, и смотрела в одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась.

— Ты, должно быть, простудилась,— сказал я.

Глаза у нее наполнились слезами, она встала и пошла к Карповне, не сказав мне ни слова, точно я обидел ее. И немного погодя я слышал, как она говорила тоном горького упрека:

— Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи: разве я не погубила своей молодости? В лучшие годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нет на свете! Нянька, пойми, ведь и у меня есть человеческие запросы, и я хочу жить, а из меня сделали какую-то ключницу. Ведь это ужасно, ужасно!

Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкапа, от погреба и от чайной шкатулки,— те самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать.

— Ах, ох, батюшки! — ужасалась старуха.— Святители-угодники!

Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала:

— Ты извини меня. Со мною в последнее время делается что-то странное.

VIII

Как-то, вернувшись от Марии Викторовны поздно вечером, я застал у себя в комнате молодого околоточного в новом мундире; он сидел за моим столом и перелистывал книгу.

— Наконец-то! — сказал он, вставая и потягиваясь.— Я к вам уже в третий раз прихожу. Губернатор приказал, чтобы вы пришли к нему завтра ровно в девять часов утра. Непременно.

Он взял с меня подписку, что я в точности исполню приказ его превосходительства, и ушел. Это позднее посещение околоточного и неожиданное приглашение к губернатору подействовали на меня самым угнетающим образом. У меня с раннего детства остался страх перед жандармами, полицейскими, судейскими, и теперь меня томило беспокойство, будто я в самом деле был виноват

в чем-то. И я никак не мог уснуть. Нянька и Прокофий тоже были взволнованы и не спали. К тому же еще у няньки болело ухо, она стонала и несколько раз принималась плакать от боли. Услышав, что я не сплю, Прокофий осторожно вошел ко мне с лампочкой и сел у стола.

— Вам бы перцовки выпить...— сказал он, подумав.— В сей юдоли как выпьешь, оно и ничего. И ежели бы мамаше влить в ухо перцовки, то большая польза.

В третьем часу он собрался в бойню за мясом. Я знал, что мне уже не уснуть до утра, и, чтобы как-нибудь скоротать время до девяти часов, я отправился вместе с ним. Мы шли с фонарем, а его мальчик Николка, лет тринадцати, с синими пятнами на лице от ознобов, по выражению — совершенный разбойник, ехал за нами в санях, хриплым голосом понукая лошадь.

— Вас у губернатора, должно, наказывать будут,— говорил мне дорогой Прокофий.— Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не дéржитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить.

Бойня находилась за кладбищем, и раньше я видел ее только издали. Это были три мрачных сарая, окруженные серым забором, от которых, когда дул с их стороны ветер, летом в жаркие дни несло удушливою вонью. Теперь, войдя во двор, в потемках я не видел сараев; мне все попадались лошади и сани, пустые и уже нагруженные мясом; ходили люди с фонарями и отвратительно бранились. Бранились и Прокофий и Николка так же гадко, и в воздухе стоял непрерывный гул от брани, кашля и лошадиного ржанья.

Пахло трупами и навозом. Таяло, снег уже перемешался с грязью, и мне в потемках казалось, что я хожу по лужам крови.

Набравши полные сани мяса, мы отправились на рынок в мясную лавку. Стало светать. Пошли одна за другою кухарки с корзинами и пожилые дамы в салопах. Прокофий с топором в руке, в белом обрызганном кровью фартуке, страшно клялся, крестился на церковь, кричал громко на весь рынок, уверяя, что он отдает

мясо по своей цене и даже себе в убыток. Он обвешивал, обсчитывал, кухарки видели это, но, оглушенные его криком, не протестовали, а только обзывали его ка́том. Поднимая и опуская свой страшный топор, он принимал картинные позы и всякий раз со свирепым выражением издавал звук «гек!», и я боялся, как бы в самом деле он не отрубил кому-нибудь голову или руку.

Я пробыл в мясной лавке все утро, и когда, наконец, пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью. Душевное состояние у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. Я помню высокую лестницу с полосатым ковром и молодого чиновника во фраке со светлыми пуговицами, который молча, двумя руками, указал мне на дверь и побежал доложить. Я вошел в зал, в котором обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна, и особенно неприятно резали глаза высокие и узкие зеркала в простенках и ярко-желтые портьеры на окнах; видно было, что губернаторы менялись, а обстановка оставалась все та же. Молодой чиновник опять указал мне двумя руками на дверь, и я направился к большому зеленому столу, за которым стоял военный генерал с Владимиром на шее.

— Господин Полознев, я просил вас явиться,— начал он, держа в руке какое-то письмо и раскрывая рот широко и кругло, как буква *о*,— я просил вас явиться, чтобы объявить вам следующее. Ваш уважаемый батюшка письменно и устно обращался к губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать вас и поставить вам на вид все несоответствие поведения вашего со званием дворянина, которое вы имеете честь носить. Его превосходительство Александр Павлович, справедливо полагая, что поведение ваше может служить соблазном, и находя, что тут одного убеждения с его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмешательство, представил мне вот в этом письме свои соображения относительно вас, которые я разделяю.

Он говорил это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я был его начальником, и глядя на меня совсем не строго.

Лицо у него было дряблое, поношенное, все в морщинах, под глазами отвисали мешки, волоса он красил, и вообще по наружности нельзя было определить, сколько ему лет — сорок или шестьдесят.

— Надеюсь,— продолжал он,— что вы оцените деликатность почтенного Александра Павловича, который обратился ко мне не официально, а частным образом. Я также пригласил вас неофициально и говорю с вами не как губернатор, а как искренний почитатель вашего родителя. Итак, прошу вас — или изменить ваше поведение и вернуться к обязанностям, приличным вашему званию, или же, во избежание соблазна, переселиться в другое место, где вас не знают и где вы можете заниматься, чем вам угодно. В противном же случае я должен буду принять крайние меры.

Он с полминуты простоял молча, с открытым ртом, глядя на меня.

— Вы вегетарианец? — спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, я ем мясо.

Он сел и потянул к себе какую-то бумагу; я поклонился и вышел.

До обеда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не мог уснуть от неприятного, болезненного чувства, навеянного на меня бойней и разговором с губернатором, и, дождавшись вечера, расстроенный, мрачный, пошел к Марии Викторовне. Я рассказывал ей о том, как я был у губернатора, а она смотрела на меня с недоумением, точно не верила, и вдруг захохотала весело, громко, задорно, как умеют хохотать только добродушные, смешливые люди.

— Если бы это рассказать в Петербурге! — проговорила она, едва не падая от смеха и склоняясь к своему столу.— Если бы это рассказать в Петербурге!

IX

Теперь мы виделись уже часто, раза по два в день. Она почти каждый день после обеда приезжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестах и памятниках; иногда входила в церковь и, стоя возле

меня, смотрела, как я работаю. Тишина, наивная работа живописцев и позолотчиков, рассудительность Редьки и то, что я наружно ничем не отличался от других мастеровых и работал, как они, в одной жилетке и в опорках, и что мне говорили *ты* — это было ново для нее и трогало ее. Однажды при ней живописец, писавший наверху голубя, крикнул мне:

— Мисаил, дай-ка мне белил!

Я отнес ему белил, и, когда потом спускался вниз по жидким подмосткам, она смотрела на меня, растроганная до слез, и улыбалась.

— Какой вы милый! — сказала она.

У меня с детства осталось в памяти, как у одного из наших богачей вылетел из клетки зеленый попугай и как потом эта красивая птица целый месяц бродила по городу, лениво перелетая из сада в сад, одинокая, бесприютная. И Мария Викторовна напоминала мне эту птицу.

— Кроме кладбища, мне теперь положительно негде бывать,— говорила она мне со смехом.— Город прискучил до отвращения. У Ажогиных читают, поют, сюсюкают, я не переношу их в последнее время; ваша сестра — нелюдимка, mademoiselle Благово за что-то ненавидит меня, театра я не люблю. Куда прикажете деваться?

Когда я бывал у нее, от меня пахло краской и скипидаром, руки мои были темны — и ей это нравилось; она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе, как в своем обыкновенном рабочем платье; но в гостиной это платье стесняло меня, я конфузился, точно был в мундире, и потому, собираясь к ней, всякий раз надевал свою новую триковую пару. И это ей не нравилось.

— А вы, сознайтесь, не вполне еще освоились с вашею новою ролью,— сказала она мне однажды.— Рабочий костюм стесняет вас, вам неловко в нем. Скажите, не оттого ли это, что в вас нет уверенности и что вы не удовлетворены? Самый род труда, который вы избрали, эта ваша малярия — неужели она удовлетворяет вас?— спросила она, смеясь.— Я знаю, окраска делает предметы красивее и прочнее, но ведь эти предметы при-

надлежат горожанам, богачам, и в конце концов составляют роскошь. К тому же вы сами не раз говорили, что каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы...

Она открыла хорошенький шкап, стоявший около ее письменного стола, и сказала:

— Все это я вам к тому говорю, что мне хочется посвятить вас в свою тайну. Voilá! Это моя сельскохозяйственная библиотека. Тут и поле, и огород, и сад, и скотный двор, и пасека. Я читаю с жадностью и уже изучила в теории все до капельки. Моя мечта, моя сладкая греза: как только наступит март, уеду в нашу Дубечню. Дивно там, изумительно! Не правда ли? В первый год я буду приглядываться к делу и привыкать, а на другой год уже сама стану работать по-настоящему, не щадя, как говорится, живота. Отец обещал подарить мне Дубечню, и я буду делать в ней все, что захочу.

Раскрасневшись, волнуясь до слез и смеясь, она мечтала вслух о том, как она будет жить в Дубечне и какая это будет интересная жизнь. А я завидовал ей. Март был уже близко, дни становились все больше и больше, и в яркие солнечные полдни капало с крыш и пахло весной; мне самому хотелось в деревню.

И когда она сказала, что переедет жить в Дубечню, мне живо представилось, как я останусь в городе один, и я почувствовал, что ревную ее к шкапу с книгами и к сельскому хозяйству. Я не знал и не любил сельского хозяйства и хотел было сказать ей, что сельское хозяйство есть рабское занятие, но вспомнил, что нечто подобное было уже не раз говорено моим отцом, и промолчал.

Наступил великий пост. Приехал из Петербурга инженер Виктор Иваныч, о существовании которого я уже стал забывать. Приехал он неожиданно, не предупредив

даже телеграммой. Когда я пришел по обыкновению вечером, он, умытый, подстриженный, помолодевший лет на десять, ходил по гостиной и что-то рассказывал; дочь его, стоя на коленях, вынимала из чемоданов коробки, флаконы, книги и подавала все это лакею Павлу. Увидав инженера, я невольно сделал шаг назад, а он протянул ко мне обе руки и сказал, улыбаясь, показывая свои белые, крепкие, ямщицкие зубы:

— Вот и он, вот и он! Очень рад видеть вас, господин маляр! Маша все рассказала, она тут спела вам целый панегирик. Вполне вас понимаю и одобряю! — продолжал он, беря меня под руку.— Быть порядочным рабочим куда умнее и честнее, чем изводить казенную бумагу и носить на лбу кокарду. Я сам работал в Бельгии, вот этими руками, потом ходил два года машинистом...

Он был в коротком пиджаке и по-домашнему в туфлях, ходил, как подагрик, слегка переваливаясь и потирая руки. Что-то напевая, он тихо мурлыкал и все пожимался от удовольствия, что наконец вернулся домой и принял свой любимый душ.

— Спора нет,— говорил он мне за ужином,— спора нет, все вы милые, симпатичные люди, но почему-то, господа, как только вы беретесь за физический труд или начинаете спасать мужика, то все это у вас в конце концов сводится к сектантству. Разве вы не сектант? Вот вы не пьете водки. Что же это, как не сектантство?

Чтобы доставить ему удовольствие, я выпил водки. Выпил и вина. Мы пробовали сыры, колбасы, паштеты, пикули и всевозможные закуски, которые привез с собою инженер, и вина, полученные в его отсутствие из-за границы. Вина были превосходны. Почему-то вина и сигары инженер получал из-за границы беспошлинно; икру и балыки кто-то присылал ему даром, за квартиру он не платил, так как хозяин дома поставлял на линию керосин; и вообще на меня он и его дочь производили такое впечатление, будто все лучшее в мире было к их услугам и получалось ими совершенно даром.

Я продолжал бывать у них, но уже не так охотно. Инженер стеснял меня, и в его присутствии я чувствовал себя связанным. Я не выносил его ясных, невинных глаз, рассуждения его томили меня, были мне про-

тивны; томило и воспоминание о том, что еще так недавно я был подчинен этому сытому, румяному человеку и что он был со мною немилосердно груб. Правда, он брал меня за талию, ласково хлопал по плечу, одобрял мою жизнь, но я чувствовал, что он по-прежнему презирает мое ничтожество и терпит меня только в угоду своей дочери; и я уже не мог смеяться и говорить, что хочу, и держался нелюдимом, и все ждал, что, того и гляди, он обзовет меня Пантелеем, как своего лакея Павла. Как возмущалась моя провинциальная, мещанская гордость! Я, пролетарий, маляр, каждый день хожу к людям богатым, чуждым мне, на которых весь город смотрит как на иностранцев, и каждый день пью у них дорогие вина и ем необыкновенное — с этим не хотела мириться моя совесть! Идя к ним, я угрюмо избегал встречных и глядел исподлобья, точно в самом деле был сектантом, а когда уходил от инженера домой, то стыдился своей сытости.

А главное, я боялся увлечься. Шел ли я по улице, работал ли, говорил ли с ребятами, я все время думал только о том, как вечером пойду к Марии Викторовне, и воображал себе ее голос, смех, походку. Собираясь к ней, я всякий раз долго стоял у няньки перед кривым зеркалом, завязывая себе галстук, моя триковая пара казалась мне отвратительною, и я страдал и в то же время презирал себя за то, что я так мелочен. Когда она кричала мне из другой комнаты, что она не одета, и просила подождать, я слышал, как она одевалась; это волновало меня, я чувствовал, будто подо мною опускается пол. А когда я видел на улице, хотя бы издали, женскую фигуру, то непременно сравнивал; мне казалось тогда, что все наши женщины и девушки вульгарны, нелепо одеты, не умеют держать себя; и эти сравнения возбуждали во мне чувство гордости: Мария Викторовна лучше всех! А по ночам я видел ее и себя во сне.

Как-то за ужином мы вместе с инженером съели целого омара. Возвращаясь потом домой, я вспомнил, что инженер за ужином два раза сказал мне «любезнейший», и я рассудил, что в этом доме ласкают меня, как большого несчастного пса, отбившегося от своего хозяина, что мною забавляются и, когда я надоем, меня

прогонят, как пса. Мне стало стыдно и больно, больно до слез, точно меня оскорбили, и я, глядя на небо, дал клятву положить всему этому конец.

На другой день я не пошел к Должиковым. Поздно вечером, когда было совсем темно и лил дождь, я прошелся по Большой Дворянской, глядя на окна. У Ажогиных уже спали, и только в одном из крайних окон светился огонь; это у себя в комнате старуха Ажогина вышивала при трех свечах, воображая, что борется с предрассудками. У наших было темно, а в доме напротив, у Должиковых, окна светились, но ничего нельзя было разглядеть сквозь цветы и занавески. Я все ходил по улице; холодный мартовский дождь поливал меня. Я слышал, как мой отец вернулся из клуба; он постучал в ворота, через минуту в окне показался огонь, и я увидел сестру, которая шла торопливо с лампой и на ходу одною рукой поправляла свои густые волосы. Потом отец ходил в гостиной из угла в угол и говорил о чем-то, потирая руки, а сестра сидела в кресле неподвижно, о чем-то думая, не слушая его.

Но вот они ушли, огонь погас... Я оглянулся на дом инженера — и тут уже было темно. В темноте, под дождем, я почувствовал себя безнадежно одиноким, брошенным на произвол судьбы, почувствовал, как в сравнении с этим моим одиночеством, в сравнении со страданием, настоящим и с тем, которое мне еще предстояло в жизни, мелки все мои дела, желания и все то, что я до сих пор думал, говорил. Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби! И, не отдавая себе ясно отчета в том, что я делаю, я изо всей силы дернул за звонок у ворот Должикова, порвал его и побежал по улице, как мальчишка, испытывая страх и думая, что сейчас непременно выйдут и узнают меня. Когда я остановился в конце улицы, чтобы перевести дух, слышно было только, как шумел дождь да как где-то далеко по чугунной доске стучал сторож.

Я целую неделю не ходил к Должиковым. Триковая пара была продана. Малярной работы не было, я опять жил впроголодь, добывая себе по десять — двадцать копеек в день, где придется, тяжелою, неприятною работой. Болтаясь по колена в холодной грязи, надсаживая

грудь, я хотел заглушить воспоминания и точно мстил себе за все те сыры и консервы, которыми меня угощали у инженера; но все же, едва я ложился в постель, голодный и мокрый, как мое грешное воображение тотчас же начинало рисовать мне чудные, обольстительные картины, и я с изумлением сознавался себе, что я люблю, страстно люблю, и засыпал крепко и здорово, чувствуя, что от этой каторжной жизни мое тело становится только сильнее и моложе.

В один из вечеров некстати пошел снег и подуло с севера, точно опять наступала зима. Вернувшись с работы в этот вечер, я застал в своей комнате Марию Викторовну. Она сидела в шубке, держа обе руки в муфте.

— Отчего вы не бываете у меня? — спросила она, поднимая свои умные, ясные глаза, а я сильно смутился от радости и стоял перед ней навытяжку, как перед отцом, когда тот собирался бить меня; она смотрела мне в лицо, и по глазам ее было видно, что она понимает, почему я смущен.

— Отчего вы не бываете у меня? — повторила она.— Если вы не хотите бывать, то вот я сама пришла.

Она встала и близко подошла ко мне.

— Не покидайте меня,— сказала она, и глаза ее наполнились слезами.— Я одна, я совершенно одна!

Она заплакала и проговорила, закрывая лицо муфтой:

— Одна! Мне тяжело жить, очень тяжело, и на всем свете нет у меня никого, кроме вас. Не покидайте меня!

Ища платка, чтобы утереть слезы, она улыбнулась; мы молчали некоторое время, потом я обнял ее и поцеловал, при этом оцарапал себе щеку до крови булавкой, которою была приколота ее шапка.

И мы стали говорить так, как будто были близки друг другу уже давно-давно...

X

Дня через два она послала меня в Дубечню, и я был несказанно рад этому. Когда я шел на вокзал и потом сидел в вагоне, то смеялся без причины, и на меня смотрели как на пьяного. Шел снег, и был мороз по

утрам, но дороги уже потемнели, и над ними, каркая, носились грачи.

Сначала я предполагал устроить помещение для нас обоих, для меня и Маши, в боковом флигеле, против флигеля госпожи Чепраковой, но в нем, как оказалось, издавна жили голуби и утки и очистить его было невозможно без того, чтобы не разрушить множества гнезд. Пришлось волей-неволей отправляться в неуютные комнаты большого дома с жалюзи. Мужики называли этот дом палатами; в нем было больше двадцати комнат, а мебели только одно фортепиано да детское креслице, лежавшее на чердаке, и если бы Маша привезла из города всю свою мебель, то и тогда все-таки нам не удалось бы устранить этого впечатления угрюмой пустоты и холода. Я выбрал три небольших комнаты с окнами в сад и с раннего утра до ночи убирал их, вставляя новые стекла, оклеивая обоями, заделывая с полу щели и дыры. Это был легкий, приятный труд. То и дело я бегал к реке взглянуть, не идет ли лед; все мне чудилось, что прилетели скворцы. А ночью, думая о Маше, я с невыразимо сладким чувством, с захватывающею радостью прислушивался к тому, как шумели крысы и как над потолком гудел и стучал ветер; казалось, что на чердаке кашлял старый домовой.

Снег был глубокий; его много еще подвалило в конце марта, но он растаял быстро, как по волшебству, вешние воды прошли буйно, так что в начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. Была чудесная погода. Я каждый день перед вечером ходил к городу встречать Машу, и что это было за наслаждение ступать босыми ногами по просыхающей, еще мягкой дороге! На полпути я садился и смотрел на город, не решаясь подойти к нему близко. Вид его смущал меня. Я все думал: как отнесутся ко мне мои знакомые, узнав о моей любви? Что скажет отец? Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась и что я совсем потерял способность управлять ею, и она, точно воздушный шар, уносила меня бог знает куда. Я уже не думал о том, как мне добыть себе пропитание, как жить, а думал — право, не помню о чем.

Маша приезжала в коляске; я садился к ней, и мы ехали вместе в Дубечню, веселые, свободные. Или, дождавшись захода солнца, я возвращался домой недовольный, скучный, недоумевая, отчего не приехала Маша, а у ворот усадьбы или в саду меня встречало неожиданно милое привидение — она! Оказывалось, что она приехала по железной дороге и со станции пришла пешком. Какое это было торжество! В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком, но затянутая, стройная, в дорогих заграничных ботинках — это была талантливая актриса, игравшая мещаночку. Мы осматривали наше хозяйство и решали, где будет чья комната, где у нас будут аллеи, огород, пасека. У нас уже были куры, утки и гуси, которых мы любили за то, что они были наши. У нас уже были приготовлены для посева овес, клевер, тимошка, греча и огородные семена, и мы всякий раз осматривали все это и обсуждали подолгу, какой может быть урожай, и все, что говорила мне Маша, казалось мне необыкновенно умным и прекрасным. Это было самое счастливое время моей жизни.

Вскоре после Фоминой недели мы венчались в нашей приходской церкви, в селе Куриловке, в трех верстах от Дубечни. Маша хотела, чтобы все устроилось скромно; по ее желанию, шаферами у нас были крестьянские парни, пел один дьячок, и возвращались мы из церкви на небольшом тряском тарантасе, и она сама правила. Из городских гостей у нас была только моя сестра Клеопатра, которой дня за три до свадьбы Маша послала записку. Сестра была в белом платье и в перчатках. Во время венчания она тихо плакала от умиления и радости, выражение лица у нее было материнское, бесконечно доброе. Она опьянела от нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала в себя сладкий чад, и, глядя на нее во время нашего венчания, я понял, что для нее на свете нет ничего выше любви, земной любви, и что она мечтает о ней тайно, робко, но постоянно и страстно. Она обнимала и целовала Машу и, не зная, как выразить свой восторг, говорила ей про меня:

— Он добрый! Он очень добрый!

Перед тем, как уехать от нас, она переоделась в свое

обыкновенное платье и повела меня в сад, чтобы поговорить со мною наедине.

— Отец очень огорчен, что ты ничего не написал ему,— сказала она,— нужно было попросить у него благословения. Но, в сущности, он очень доволен. Он говорит, что эта женитьба поднимет тебя в глазах всего общества и что под влиянием Марии Викторовны ты станешь серьезнее относиться к жизни. Мы по вечерам теперь говорим только о тебе, и вчера он даже выразился так: «Наш Мисаил». Это меня порадовало. По-видимому, он что-то задумал, и мне кажется, он хочет показать тебе пример великодушия и первый заговорит о примирении. Очень возможно, что на днях он приедет сюда к вам.

Она несколько раз торопливо перекрестила меня и сказала:

— Ну, бог с тобою, будь счастлив. Анюта Благово очень умная девушка, она говорит про твою женитьбу, что это бог посылает тебе новое испытание. Что ж? В семейной жизни не одни радости, но и страдания. Без этого нельзя.

Провожая ее, я и Маша прошли пешком версты три; потом, возвращаясь, мы шли тихо и молча, точно отдыхали. Маша держала меня за руку, на душе было легко и уже не хотелось говорить о любви; после венчания мы стали друг другу еще ближе и родней, и нам казалось, что уже ничто не может разлучить нас.

— Твоя сестра — симпатичное существо,— сказала Маша,— но похоже, будто ее долго мучили. Должно быть, твой отец ужасный человек.

Я стал рассказывать ей, как воспитывали меня и сестру и как в самом деле было мучительно и бестолково наше детство. Узнав, что еще так недавно меня бил отец, она вздрогнула и прижалась ко мне.

— Не рассказывай больше,— проговорила она.— Это страшно.

Теперь уже она не расставалась со мною. Мы жили в большом доме, в трех комнатах, и по вечерам крепко запирали дверь, которая вела в пустую часть дома, точно там жил кто-то, кого мы не знали и боялись. Я вставал рано, с рассветом, и тотчас же принимался за какую-нибудь работу. Я починял телеги, проводил в

саду дорожки, копал гряды, красил крышу на доме. Когда пришло время сеять овес, я пробовал двоить, скородить, сеять, и делал все это добросовестно, не отставая от работника; я утомлялся, от дождя и от резкого холодного ветра у меня подолгу горели лицо и ноги, по ночам снилась мне вспаханная земля. Но полевые работы не привлекали меня. Я не знал сельского хозяйства и не любил его; это, быть может, оттого, что предки мои не были земледельцами и в жилах моих текла чисто городская кровь. Природу я любил нежно, любил и поле, и луга, и огороды, но мужик, поднимающий сохой землю, понукающий свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый, с вытянутою шеей, был для меня выражением грубой, дикой, некрасивой силы, и, глядя на его неуклюжие движения, я всякий раз невольно начинал думать о давно прошедшей, легендарной жизни, когда люди не знали еще употребления огня. Суровый бык, ходивший с крестьянским стадом, и лошади, когда они, стуча копытами, носились по деревне, наводили на меня страх, и все мало-мальски крупное, сильное и сердитое, был ли то баран с рогами, гусак или цепная собака, представлялось мне выражением все той же грубой, дикой силы. Это предубеждение особенно сильно говорило во мне в дурную погоду, когда над черным вспаханным полем нависали тяжелые облака. Главное же, когда я пахал или сеял, а двое-трое стояли и смотрели, как я это делаю, то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь. И я предпочитал делать что-нибудь во дворе, и ничто мне так не нравилось, как красить крышу.

Я ходил через сад и через луг на нашу мельницу. Ее арендовал Степан, куриловский мужик, красивый, смуглый, с густою черною бородой, на вид — силач. Мельничного дела он не любил и считал его скучным и невыгодным, а жил на мельнице только для того, чтобы не жить дома. Он был шорник, и около него всегда приятно пахло смолой и кожей. Разговаривать он не любил, был вял, неподвижен и все напевал «у-лю-лю-лю», сидя на берегу или на пороге. К нему приходили иногда из Куриловки его жена и теща, обе белолицые, томные, кроткие; они низко кланялись ему и называли

его «вы, Степан Петрович». А он, не ответив на их поклон ни движением, ни словом, садился в стороне на берегу и напевал тихо: «У-лю-лю-лю». Проходил в молчании час-другой. Теща и жена, пошептавшись, вставали и некоторое время глядели на него, ожидая, что он оглянется, потом низко кланялись и говорили сладкими, певучими голосами:

— Прощайте, Степан Петрович!

И уходили. После того, убирая оставленный ими узел с баранками или рубаху, Степан вздыхал и говорил, мигнув в их сторону:

— Женский пол!

Мельница в два постава работала днем и ночью. Я помогал Степану, это мне нравилось, и когда он уходил куда-нибудь, я охотно оставался вместо него.

XI

После теплой, ясной погоды наступила распутица; весь май шли дожди, было холодно. Шум мельничных колес и дождя располагал к лени и ко сну. Дрожал пол, пахло мукой, и это тоже нагоняло дремоту. Жена в коротком полушубке, в высоких, мужских калошах, показывалась раза два в день и говорила всегда одно и то же:

— И это называется летом! Хуже, чем в октябре!

Вместе мы пили чай, варили кашу или по целым часам сидели молча, ожидая, не утихнет ли дождь. Раз, когда Степан ушел куда-то на ярмарку, Маша пробыла на мельнице всю ночь. Когда мы встали, то нельзя было понять, который час, так как дождевые облака заволокли все небо; только пели сонные петухи в Дубечне и кричали дергачи на лугу; было еще очень, очень рано... Мы с женой спустились к плёсу и вытащили вершу, которую накануне при нас забросил Степан. В ней бился один большой окунь и, задирая вверх клешню, топорщился рак.

— Выпусти их,— сказала Маша.— Пусть и они будут счастливы.

Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным, самым длин-

ным в моей жизни. Перед вечером вернулся Степан, и я пошел домой, в усадьбу.

— Сегодня приезжал твой отец,— сказала мне Маша.

— Где же он? — спросил я.

— Уехал. Я его не приняла.

Видя, что я стою и молчу, что мне жаль моего отца, она сказала:

— Надо быть последовательным. Я не приняла и велела передать ему, чтобы он уже больше не беспокоился и не приезжал к нам.

Через минуту я уже был за воротами и шел в город, чтобы объясниться с отцом. Было грязно, скользко, холодно. В первый раз после свадьбы мне стало вдруг грустно, и в мозгу моем, утомленном этим длинным серым днем, промелькнула мысль, что, быть может, я живу не так, как надо. Я утомился, мало-помалу мною овладели слабодушие, лень, не хотелось двигаться, соображать, и, пройдя немного, я махнул рукой и вернулся назад.

Среди двора стоял инженер в кожаном пальто с капюшоном и говорил громко:

— Где мебель? Была прекрасная мебель в стиле empire, были картины, были вазы, а теперь хоть шаром покати! Я покупал имение с мебелью, черт бы ее драл!

Около него стоял и мял в руках свою шапку генеральшин работник Моисей, парень лет двадцати пяти, худой, рябоватый, с маленькими наглыми глазами; одна щека у него была больше другой, точно он отлежал ее.

— Вы, ваше высокоблагородие, изволили покупать без мебели,— нерешительно проговорил он.— Я помню-с.

— Замолчать! — крикнул инженер, побагровел, затрясся, и эхо в саду громко повторило его крик.

XII

Когда я делал что-нибудь в саду или на дворе, то Моисей стоял возле и, заложив руки назад, лениво и нагло глядел на меня своими маленькими глазками. И это до такой степени раздражало меня, что я бросал работу и уходил.

От Степана мы узнали, что этот Моисей был любовником у генеральши. Я заметил, что когда к ней приходили за деньгами, то сначала обращались к Моисею, и раз я видел, как какой-то мужик, весь черный, должно быть угольщик, кланялся ему в ноги; иногда, пошептавшись, он выдавал деньги сам, не докладывая барыне, из чего я заключил, что при случае он оперировал самостоятельно, за свой счет.

Он стрелял у нас в саду под окнами, таскал из нашего погреба съестное, брал, не спросясь, лошадей, а мы возмущались, переставали верить, что Дубечня наша, и Маша говорила, бледнея:

— Неужели мы должны жить с этими гадами еще полтора года?

Сын генеральши, Иван Чепраков, служил кондуктором на нашей дороге. За зиму он сильно похудел и ослабел, так что уже пьянел с одной рюмки и зябнул в тени. Кондукторское платье он носил с отвращением и стыдился его, но свое место считал выгодным, так как мог красть свечи и продавать их. Мое новое положение возбуждало в нем смешанное чувство удивления, зависти и смутной надежды, что и с ним может случиться что-нибудь подобное. Он провожал Машу восхищенными глазами, спрашивал, что я теперь ем за обедом, и на его тощем, некрасивом лице появлялось грустное и сладкое выражение, и он шевелил пальцами, точно осязал мое счастье.

— Послушай, маленькая польза,— говорил он суетливо, каждую минуту закуривая; там, где он стоял, было всегда насорено, так как на одну папиросу он тратил десятки спичек.— Послушай, жизнь у меня теперь подлейшая. Главное, всякий прапорщик может кричать: «Ты кондуктор! ты!» Понаслушался я, брат, в вагонах всякой всячины и, знаешь, понял: скверная жизнь! Погубила меня мать! Мне в вагоне один доктор сказал: если родители развратные, то дети у них выходят пьяницы или преступники. Вот оно что!

Раз он пришел во двор, шатаясь. Глаза у него бессмысленно блуждали, дыхание было тяжелое; он смеялся, плакал и говорил что-то, как в горячечном бре-

ду, и в его спутанной речи были понятны для меня только слова: «Моя мать! Где моя мать?», которые произносил он с плачем, как ребенок, потерявший в толпе свою мать. Я увел его к себе в сад и уложил там под деревом, и потом весь день и всю ночь я и Маша по очереди сидели возле него. Ему было нехорошо, а Маша с омерзением глядела в его бледное, мокрое лицо и говорила:

— Неужели эти гады проживут в нашем дворе еще полтора года? Это ужасно! Это ужасно!

А сколько огорчений причиняли нам крестьяне! Сколько тяжелых разочарований на первых же порах, в весенние месяцы, когда так хотелось быть счастливым! Моя жена строила школу. Я начертил план школы на шестьдесят мальчиков, и земская управа одобрила его, но посоветовала строить школу в Куриловке, в большом селе, которое было всего в трех верстах от нас; кстати же куриловская школа, в которой учились дети из четырех деревень, в том числе из нашей Дубечни, была стара и тесна, и по гнилому полу уже ходили с опаской. В конце марта Машу, по ее желанию, назначили попечительницей куриловской школы, а в начале апреля мы три раза собирали сход и убеждали крестьян, что их школа тесна и стара и что необходимо строить новую. Приезжали член земской управы и инспектор народных училищ и тоже убеждали. После каждого схода нас окружали и просили на ведро водки; нам было жарко в толпе, мы скоро утомлялись и возвращались домой недовольные и немного сконфуженные. В конце концов мужики отвели под школу землю и обязались доставить из города на своих лошадях весь строительный материал. И как только управились с яровыми, в первое же воскресенье из Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичом для фундамента. Выехали чуть свет на заре, а возвратились поздно вечером; мужики были пьяны и говорили, что замучились.

Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. Дорога испортилась, стало грязно. Подводы, возвращаясь из города, заезжали обыкновенно к нам во двор — и какой это был ужас! Вот в воротах показы-

вается лошадь, расставив передние ноги, пузатая; она, прежде чем въехать во двор, кланяется; вползает на роспусках двенадцатиаршинное бревно, мокрое, осклизлое на вид; возле него, запахнувшись от дождя, не глядя под ноги, не обходя луж, шагает мужик с полой, заткнутою за пояс. Показывается другая подвода — с тёсом, потом третья — с бревном, четвертая... и место перед домом мало-помалу запруживается лошадьми, бревнами, досками. Мужики и бабы с окутанными головами и с подтыканными платьями, озлобленно глядя на наши окна, шумят, требуют, чтобы к ним вышла барыня; слышны грубые ругательства. А в стороне стоит Моисей, и нам кажется, что он наслаждается нашим позором.

— Не станем больше возить! — кричат мужики.— Замучились! Пошла бы сама и возила!

Маша, бледная, оторопев, думая, что сейчас к ней ворвутся в дом, высылает на полведра; после этого шум стихает, и длинные бревна одно за другим ползут обратно со двора.

Когда я собирался на постройку, жена волновалась и говорила:

— Мужики злятся. Как бы они тебе не сделали чего-нибудь. Нет, погоди, и я с тобой поеду.

Мы уезжали в Куриловку вместе, и там плотники просили у нас на чай. Сруб уже был готов, пора уже было класть фундамент, но не приходили каменщики; происходила задержка, и плотники роптали. А когда, наконец, пришли каменщики, то оказалось, что нет песку: как-то упустили из виду, что он нужен. Пользуясь нашим безвыходным положением, мужики запросили по тридцати копеек за воз, хотя от постройки до реки, где брали песок, не было и четверти версты, а всех возов понадобилось более пятисот. Конца не было недоразумениям, брани и попрошайству, жена возмущалась, а подрядчик-каменщик, Тит Петров, семидесятилетний старик, брал ее за руку и говорил:

— Гляди ты сюда! Гляди ты сюда! Привези ты мне только песку, пригоню тебе сразу десять человек, и в два дня будет готово. Гляди ты сюда!

Но привезли песок, прошло и два, и четыре дня, и неделя, а на месте будущего фундамента все еще зияла канава.

— Этак с ума сойдешь! — волновалась жена.— Что за народ! Что за народ!

Во время этих неурядиц к нам приезжал инженер Виктор Иваныч. Он привозил с собою кульки с винами и закусками, долго ел и потом ложился спать на террасе и храпел так, что работники покачивали головами и говорили:

— Одначе!

Маша бывала не рада его приезду, не верила ему и в то же время советовалась с ним; когда он, выспавшись после обеда и вставши не в духе, дурно отзывался о нашем хозяйстве или выражал сожаление, что купил Дубечню, которая принесла ему уже столько убытков, то на лице у бедной Маши выражалась тоска; она жаловалась ему, он зевал и говорил, что мужиков надо драть.

Нашу женитьбу и нашу жизнь он называл комедией, говорил, что это каприз, баловство.

— С нею уже бывало нечто подобное,— рассказывал он мне про Машу.— Она раз вообразила себя оперною певицей и ушла от меня; я искал ее два месяца и, любезнейший, на одни телеграммы истратил тысячу рублей.

Он уже не называл меня ни сектантом, ни господином маляром и не относился с одобрением к моей рабочей жизни, как раньше, а говорил:

— Вы — странный человек! Вы — ненормальный человек! Не смею предсказывать, но вы дурно кончите-с!

А Маша плохо спала по ночам и все думала о чем-то, сидя у окна нашей спальни. Не было уже смеха за ужином, ни милых гримас. Я страдал, и когда шел дождь, то каждая капля его врезывалась в мое сердце, как дробь, и я готов был пасть перед Машей на колени и извиняться за погоду. Когда во дворе шумели мужики, то я тоже чувствовал себя виноватым. По целым часам я просиживал на одном месте, думая только о том, какой великолепный человек Маша, какой это чу-

десный человек. Я страстно любил ее, и меня восхищало все, что она делала, все, что говорила. У нее была склонность к тихим кабинетным занятиям, она любила читать подолгу, изучать что-нибудь; она, знавшая хозяйство только по книгам, удивляла всех нас своими познаниями, и советы, какие она давала, все пригодились, и ни один из них не пропал в хозяйстве даром. И при всем том сколько благородства, вкуса и благодушия, того самого благодушия, какое бывает только у прекрасно воспитанных людей!

Для этой женщины со здоровым, положительным умом беспорядочная обстановка с мелкими заботами и дрязгами, в которой мы теперь жили, была мучительна; я это видел и сам не мог спать по ночам, голова моя работала, и слезы подступали к горлу. Я метался, не зная, что делать.

Я скакал в город и привозил Маше книги, газеты, конфекты, цветы, я вместе со Степаном ловил рыбу, по целым часам бродя по шею в холодной воде под дождем, чтобы поймать налима и разнообразить наш стол; я униженно просил мужиков не шуметь, поил их водкой, подкупал, давал им разные обещания. И сколько я еще делал глупостей!

Дожди наконец перестали, земля высохла. Встанешь утром, часа в четыре, выйдешь в сад,— роса блестит на цветах, шумят птицы и насекомые, на небе ни одного облачка; и сад, и луг, и река так прекрасны, но воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере! Я и Маша вместе уезжали на беговых дрожках в поле взглянуть на овес. Она правила, я сидел сзади; плечи у нее были приподняты, и ветер играл ее волосами.

— Права держи! — кричала она встречным.

— Ты похожа на ямщика,— сказал я ей как-то.

— А может быть! Ведь мой дед, отец инженера, был ямщик. Ты не знал этого? — спросила она, обернувшись ко мне, и тотчас же представила, как кричат и как поют ямщики.

«И слава богу! — думал я, слушая ее.— Слава богу!»

И опять воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере...

XIII

Приехал на велосипеде доктор Благово. Стала часто бывать сестра. Опять разговоры о физическом труде, о прогрессе, о таинственном иксе, ожидающем человечество в отдаленном будущем. Доктор не любил нашего хозяйства, потому что оно мешало нам спорить, и говорил, что пахать, косить, пасти телят недостойно свободного человека и что все эти грубые виды борьбы за существование люди со временем возложат на животных и на машины, а сами будут заниматься исключительно научными исследованиями. А сестра все просила отпустить ее пораньше домой, и если оставалась до позднего вечера или ночевать, то волнениям не было конца.

— Боже мой, какой вы еще ребенок! — говорила с упреком Маша.— Это даже смешно, наконец.

— Да, смешно,— соглашалась сестра,— я сознаю, что это смешно; но что делать, если я не в силах побороть себя? Мне все кажется, что я поступаю дурно.

Во время сенокоса у меня с непривычки болело все тело; сидя вечером на террасе со своими и разговаривая, я вдруг засыпал, и надо мною громко смеялись. Меня будили и усаживали за стол ужинать, меня одолевала дремота, и я, как в забытьи, видел огни, лица, тарелки, слышал голоса и не понимал их. А вставши рано утром, тотчас же брался за косу или уходил на постройку и работал весь день.

Оставаясь в праздники дома, я замечал, что жена и сестра скрывают от меня что-то и даже как будто избегают меня. Жена была нежна со мною по-прежнему, но были у нее какие-то свои мысли, которых она не сообщала мне. Было несомненно, что раздражение ее против крестьян росло, жизнь для нее становилась все тяжелее, а между тем она уже не жаловалась мне. С доктором теперь она говорила охотнее, чем со мною, и я не понимал, отчего это так.

В нашей губернии был обычай: во время сенокоса и уборки хлеба по вечерам на барский двор приходили рабочие и их угощали водкой, даже молодые девушки выпивали по стакану. Мы не держались этого; косари

и бабы стояли у нас на дворе до позднего вечера, ожидая водки, и потом уходили с бранью. А Маша в это время сурово хмурилась и молчала или же говорила доктору с раздражением, вполголоса:

— Дикари! Печенеги!

В деревне новичков встречают неприветливо, почти враждебно, как в школе. Так встретили и нас. В первое время на нас смотрели, как на людей глупых и простоватых, которые купили себе имение только потому, что некуда девать денег. Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам Бышеевки или Семенихи; а так как мы еще не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф; потом же оказывалось, что косили мы правильно. В нашем лесу драли липки. Один дубеченский мужик, кулак, торговавший водкой без патента, подкупал наших работников и вместе с ними обманывал нас самым предательским образом:. новые колеса на телегах заменял старыми, брал наши пахотные хомуты и продавал их нам же и т. п. Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке; там бабы по ночам крали тёс, кирпич, изразцы, железо; староста с понятыми делал у них обыск, сход штрафовал каждую на два рубля, и потом эти штрафные деньги пропивались всем миром.

Когда Маша узнавала об этом, то с негодованием говорила доктору или моей сестре:

— Какие животные! Это ужас! ужас!

И я слышал не раз, как она выражала сожаление, что затеяла строить школу.

— Поймите,— убеждал ее доктор,— поймите, что если вы строите эту школу и вообще делаете добро, то не для мужиков, а во имя культуры, во имя будущего. И чем эти мужики хуже, тем больше поводов строить школу. Поймите!

В голосе его, однако, слышалась неуверенность, и мне казалось, что он вместе с Машей ненавидел мужиков.

Маша часто уходила на мельницу и брала с собою сестру, и обе, смеясь, говорили, что они идут посмотреть на Степана, какой он красивый. Степан, как оказалось, был медлителен и неразговорчив только с мужчинами, в женском же обществе держал себя развязно и говорил без умолку. Раз, придя на реку купаться, я невольно подслушал разговор. Маша и Клеопатра, обе в белых платьях, сидели на берегу под ивой, в широкой тени, а Степан стоял возле, заложив руки назад, и говорил:

— Нешто мужики — люди? Не люди, а, извините, зверье, шарлатаны. Какая у мужика жизнь? Только есть да пить, харчи бы подешевле, да в трактире горло драть без ума; и ни тебе разговоров хороших, ни обращения, ни формальности, а так — невежа! И сам в грязи, и жена в грязи, и дети в грязи, в чем был, в том и лег, картошку из щей тащит прямо пальцами, квас пьет с тараканом,— хоть бы подул!

— Бедность ведь! — вступилась сестра

— Какая бедность! Оно точно, нужда, да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остроге сидит, или, скажем, слепой, или без ног, то это, действительно, не дай бог никому, а ежели он на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, бог есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невежество, а не бедность. Ежели вот вы, положим, хорошие господа, по образованию вашему, из милости пожелаете оказать ему способие, то он ваши деньги пропьет по своей подлости или, того хуже, сам откроет питейное заведение и на ваши деньги начнет народ грабить. Вы изволите говорить — бедность. А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная — так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его, подлеца. Вот Ларион дубеченский тоже богатый, а небось лубки в вашем лесу дерет не хуже бедного; и сам ругатель, и дети ругатели, а как выпьет лишнее, чкнется носом в лужу и спит. Все они, сударыня, не стоющие. Поживешь с ними в деревне, так словно в аду. Навязла она у меня в зубах, деревня-то эта, и благодарю господа, царя небесного, и сыт я, и одет,

отслужил в драгунах свой срок, отходил старостой три года, и вольный я казак теперь: где хочу, там и живу. В деревне жить не желаю, и никто не имеет права меня заставить. Говорят, жена. Ты, говорят, обязан в избе с женой жить. А почему такое? Я к ей не нанимался.

— Скажите, Степан, вы женились по любви? — спросила Маша.

— Какая у нас в деревне любовь? — ответил Степан и усмехнулся.— Собственно, сударыня, ежели вам угодно знать, я женат во второй раз. Я сам не куриловский, а из Залегощa, а в Куриловку меня потом в зятья взяли. Значит, родитель не пожелал делить нас промежду себе — нас всех пять братьев, я поклонился и был таков, пошел в чужую деревню, в зятья. А первая моя жена померла в молодых летах.

— Отчего?

— От глупости. Плачет, бывало, все плачет и плачет без толку, да так и зачахла. Какие-то все травки пила, чтобы покрасиветь, да, должно, повредила внутренность. А вторая моя жена, куриловская,— что́ в ней? Деревенская баба, мужичка, и больше ничего. Когда ее за меня сватали, мне поманилось: думаю, молодая, белая из себя, чисто живут. Мать у ней словно бы хлыстовка и кофей пьет, а главное, значит, чисто живут. Стало быть, женился, а на другой день сели обедать, приказал я теще ложку подать, а она подает ложку и, гляжу, пальцем ее вытерла. Вот тебе на, думаю, хороша у вас чистота. Пожил с ними год и ушел. Мне, может, на городской бы жениться,— продолжал он, помолчав.— Говорят, жена мужу помощница. Для чего мне помощница, я и сам себе помогу, а ты лучше со мной поговори, да не так, чтоб все те-те-те-те, а обстоятельно, чувствительно. Без хорошего разговора — что за жизнь!

Степан вдруг замолчал, и тотчас же послышалось его скучное, монотонное «у-лю-лю-лю». Это значило, что он увидел меня.

Маша бывала часто на мельнице и в беседах со Степаном, очевидно, находила удовольствие; Степан так искренно и убежденно бранил мужиков — и ее тянуло к нему. Когда она возвращалась с мельницы, то всякий

раз мужик-дурачок, который стерег сад, кричал на нее:

— Девка Палашка! Здорово, девка Палашка! — И лаял на нее по-собачьи: — Гав! гав!

А она останавливалась и смотрела на него со вниманием, точно в лае этого дурачка находила ответ на свои мысли, и, вероятно, он притягивал ее так же, как брань Степана. А дома ожидало ее какое-нибудь известие, вроде того, например, что деревенские гуси потолкли у нас на огороде капусту или что Ларион вожжи украл, и она говорила, пожав плечами, с усмешкой:

— Что же вы хотите от этих людей!

Она негодовала, на душе у нее собиралась накипь, а я между тем привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, всё с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову,— которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая в общем держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость. Я говорил жене, что она видит пятна на стекле, но не видит самого стекла; в ответ она молчала или же напевала, как Степан: «у-лю-лю-лю»... Когда эта добрая, умная женщина бледнела от негодования и с дрожью в голосе говорила с доктором о пьянстве и обманах, то меня приводила в недоумение и поражала ее забывчивость. Как могла она забыть, что

ее отец, инженер, тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня, были приобретены путем целого ряда наглых, бессовестных обманов? Как могла она забыть?

XIV

И сестра тоже жила своею особою жизнью, которую тщательно скрывала от меня. Она часто шепталась с Машей. Когда я подходил к ней, она вся сжималась, и взгляд ее становился виноватым, умоляющим; очевидно, в ее душе происходило что-то такое, чего она боялась или стыдилась. Чтобы как-нибудь не встретиться в саду или не остаться со мною вдвоем, она все время держалась около Маши, и мне приходилось говорить с нею редко, только за обедом.

Как-то вечером я тихо шел садом, возвращаясь с постройки. Уже начинало темнеть. Не замечая меня, не слыша моих шагов, сестра ходила около старой, широкой яблони, совершенно бесшумно, точно привидение. Она была в черном и ходила быстро, все по одной линии, взад и вперед, глядя в землю. Упало с дерева яблоко, она вздрогнула от шума, остановилась и прижала руки к вискам. В это самое время я подошел к ней.

В порыве нежной любви, которая вдруг прилила к моему сердцу, со слезами, вспоминая почему-то нашу мать, наше детство, я обнял ее за плечи и поцеловал.

— Что с тобою? — спросил я.— Ты страдаешь, я давно это вижу. Скажи, что с тобою?

— Мне страшно...— проговорила она дрожа.

— Что же с тобой? — допытывался я.— Ради бога, будь откровенна!

— Я буду, буду откровенна, я скажу тебе всю правду. Скрывать от тебя — это так тяжело, так мучительно! Мисаил, я люблю...— продолжала она шепотом.— Я люблю, я люблю... Я счастлива, но почему мне так страшно!

Послышались шаги, показался между деревьями доктор Благово в шелковой рубахе, в высоких сапогах. Очевидно, здесь около яблони у них было назначено

свидание. Увидев его, она бросилась к нему порывисто, с болезненным криком, точно его отнимали у неё:

— Владимир! Владимир!

Она прижималась к нему и с жадностью глядела ему в лицо, и только теперь я заметил, как похудела и побледнела она в последнее время. Особенно это было заметно по ее кружевному воротничку, который я давно знал и который теперь свободнее, чем когда-либо, облегал ее шею, тонкую и длинную. Доктор смутился, но тотчас же оправился и сказал, приглаживая ее волосы:

— Ну, полно, полно... Зачем так нервничать? Видишь, я приехал.

Мы молчали, застенчиво поглядывая друг на друга. Потом мы шли втроем, и я слышал, как доктор говорил мне:

— Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в сороковых или шестидесятых годах; это — старики, мы же с вами молоды, наших мозгов еще не тронул marasmus senilis [1], мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в восемьсот шестьдесят втором году, а начала культурной Руси, я так понимаю, еще не было.

Но я не вникал в эти соображения. Как-то было странно, не хотелось верить, что сестра влюблена, что она вот идет и держит за руку чужого и нежно смотрит на него. Моя сестра, это нервное, запуганное, забитое, не свободное существо, любит человека, который уже женат и имеет детей! Чего-то мне стало жаль, а чего именно — не знаю; присутствие доктора почему-то было уже неприятно, и я никак не мог понять, что может выйти из этой их любви.

XV

Я и Маша ехали в Куриловку на освящение школы.

— Осень, осень, осень...— тихо говорила Маша, глядя по сторонам.— Прошло лето. Птиц нет, и зелены одни только вербы.

[1] старческое бессилие (*лат.*).

Да, уже прошло лето. Стоят ясные, теплые дни, но по утрам свежо, пастухи выходят уже в тулупах, а в нашем саду на астрах роса не высыхает в течение всего дня. Все слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставня ли это ноет на своих ржавых петлях, или летят журавли — и становится хорошо на душе и так хочется жить!

— Прошло лето...— говорила Маша.— Теперь мы с тобою можем подвести итоги. Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого,— честь нам и слава,— мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность — все осталось, как и было, и оттого, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя.

Подобные рассуждения сбивали меня, и я не знал, что думать.

— Мы от начала до конца были искренни, — сказал я,— а кто искренен, тот и прав.

— Кто спорит? Мы были правы, но мы неправильно осуществляли то, в чем мы правы. Прежде всего, самые наши внешние приемы — разве они не ошибочны? Ты хочешь быть полезен людям, но уж одним тем, что ты покупаешь имение, ты с самого начала преграждаешь себе всякую возможность сделать для них что-нибудь полезное. Затем, если ты работаешь, одеваешься и ешь, как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую, неуклюжую одежду, ужасные избы, эти их глупые бороды... С другой стороны, допустим, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что в конце концов получаются кое-какие практические результаты, но что они, эти твои результаты, что они могут против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение? Капля в море! Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной

деятельности и старайся действовать сразу на массу! Нужна прежде всего шумная, энергичная проповедь. Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство! — продолжала она, мечтательно глядя на небо.— Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном.

Когда мы подъезжали к Куриловке, погода была ясная, радостная. Кое-где во дворах молотили, пахло ржаною соломой. За плетнями ярко краснела рябина, и деревья кругом, куда ни взглянешь, были все золотые или красные. На колокольне звонили, несли к школе образа, и было слышно, как пели: «Заступница усердная». А какой прозрачный воздух, как высоко летали голуби!

Служили в классной молебен. Потом куриловские крестьяне поднесли Маше икону, а дубеченские — большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась.

— А ежели что было сказано лишнее или какие неудовольствия, то простите,— сказал один старик и поклонился ей и мне.

Когда мы ехали домой, Маша оглядывалась на школу; зеленая крыша, выкрашенная мною и теперь блестевшая на солнце, долго была видна нам. И я чувствовал, что взгляды, которые бросала теперь Маша, были прощальные.

XVI

Вечером она собралась в город.

В последнее время она часто уезжала в город и там ночевала. В ее отсутствие я не мог работать, руки у меня опускались и слабели; наш большой двор казался скучным, отвратительным пустырем, сад шумел сердито, и без нее дом, деревья, лошади для меня уже не были «наши».

Я никуда не выходил из дому, а все сидел за ее столом, около ее шкапа с сельскохозяйственными кни-

гами, этими бывшими фаворитами, теперь уже ненужными, смотревшими на меня так сконфуженно. По целым часам, пока било семь, восемь, девять, пока за окнами наступала осенняя ночь, черная, как сажа, я осматривал ее старую перчатку, или перо, которым она всегда писала, или ее маленькие ножницы; я ничего не делал и ясно сознавал, что если раньше делал что-нибудь, если пахал, косил, рубил, то потому только, что этого хотела она. И если бы она послала меня чистить глубокий колодец, где бы я стоял по пояс в воде, то я полез бы и в колодец, не разбирая, нужно это или нет. А теперь, когда ее не было возле, Дубечня с ее развалинами, неубранством, с хлопающими ставнями, с ворами, ночными и дневными, представлялась мне уже хаосом, в котором всякая работа была бы бесполезна. Да и для чего мне было тут работать, для чего заботы и мысли о будущем, если я чувствовал, что из-под меня уходит почва, что роль моя здесь, в Дубечне, уже сыграна, что меня, одним словом, ожидает та же участь, которая постигла книги по сельскому хозяйству? О, какая это была тоска ночью, в часы одиночества, когда я каждую минуту прислушивался с тревогой, точно ждал, что вот-вот кто-нибудь крикнет, что мне пора уходить. Мне не было жаль Дубечни, мне было жаль своей любви, для которой, очевидно, тоже наступила уже своя осень. Какое это огромное счастье любить и быть любимым и какой ужас чувствовать, что начинаешь сваливаться с этой высокой башни!

Маша вернулась из города на другой день к вечеру. Она была недовольна чем-то, но скрывала это и только сказала, зачем это вставлены все зимние рамы,— этак задохнуться можно. Я выставил две рамы. Нам есть не хотелось, но мы сели и поужинали.

— Поди вымой руки,— сказала жена.— От тебя пахнет замазкой.

Она привезла из города новые иллюстрированные журналы, и мы вместе рассматривали их после ужина. Попадались приложения с модными картинками и выкройками. Маша оглядывала их мельком и откладывала в сторону, чтобы потом рассмотреть особо, как следует; но одно платье с широкою, как колокол, глад-

кою юбкой и с большими рукавами заинтересовало ее, и она минуту смотрела на него серьезно и внимательно.

— Это недурно,— сказала она.

— Да, это платье тебе очень пойдет,— сказал я.— Очень!

И, глядя с умилением на платье, любуясь этим серым пятном только потому, что оно ей понравилось, я продолжал нежно:

— Чудное, прелестное платье! Прекрасная, великолепная Маша! Дорогая моя Маша!

И слезы закапали на картинку.

— Великолепная Маша...— бормотал я.— Милая, дорогая Маша...

Она пошла и легла, а я еще с час сидел и рассматривал иллюстрации.

— Напрасно ты выставил рамы,— сказала она из спальни.— Боюсь, как бы не было холодно. Ишь ведь, как задувает!

Я прочел кое-что из «смеси» — о приготовлении дешевых чернил и о самом большом брильянте на свете. Мне опять попалась модная картинка с платьем, которое ей понравилось, и я вообразил себе ее на балу с веером, с голыми плечами, блестящую, роскошную, знающую толк и в музыке, и в живописи, и в литературе, и какою маленькою, короткою показалась мне моя роль!

Наша встреча, это наше супружество были лишь эпизодом, каких будет еще немало в жизни этой живой, богато одаренной женщины. Все лучшее в мире, как я уже сказал, было к ее услугам и получалось ею совершенно даром, и даже идеи и модное умственное движение служили ей для наслаждения, разнообразя ей жизнь, и я был лишь извозчиком, который довез ее от одного увлечения к другому. Теперь уж я не нужен ей, она выпорхнет, и я останусь один.

И как бы в ответ на мои мысли на дворе раздался отчаянный крик:

— Ка-ра-у-л!

Это был тонкий бабий голос, и, точно желая передразнить его, в трубе загудел ветер тоже тонким голо-

сом. Прошло с полминуты, и опять послышалось сквозь шум ветра, но уже как будто с другого конца двора:

— Ка-ра-у-л!

— Мисаил, ты слышишь? — спросила тихо жена.— Ты слышишь?

Она вышла ко мне из спальни в одной сорочке, с распущенными волосами, и прислушалась, глядя на темное окно.

— Кого-то душат! — проговорила она.— Этого еще недоставало.

Я взял ружье и вышел. На дворе было очень темно, дул сильный ветер, так что трудно было стоять. Я прошелся к воротам, прислушался: шумят деревья, свистит ветер, и в саду, должно быть у мужика-дурачка, лениво подвывает собака. За воротами тьма кромешная, на линии ни одного огонька. И около того флигеля, где в прошлом году была контора, вдруг раздался придушенный крик:

— Ка-ра-у-л!

— Кто там? — окликнул я.

Боролись два человека. Один выталкивал, а другой упирался, и оба тяжело дышали.

— Пусти! — говорил один, и я узнал Ивана Чепракова; он-то и кричал тонким бабьим голосом.— Пусти, проклятый, а то я тебе все руки искусаю!

В другом я узнал Моисея. Я рознял их и при этом не удержался и ударил Моисея по лицу два раза. Он упал, потом поднялся, и я ударил его еще раз.

— Они хотели меня убить,— бормотал он.— К мамашиному комоду подбирались... Их я желаю запереть во флигеле для безопасности-с.

А Чепраков был пьян, не узнавал меня и все глубоко вздыхал, как бы набирая воздуху, чтобы опять крикнуть «караул».

Я оставил их и вернулся в дом; жена лежала в постели, уже одетая. Я рассказал ей о том, что происходило на дворе, и не скрыл даже, что бил Моисея.

— Страшно жить в деревне,— проговорила она.— И какая это длинная ночь, бог с ней.

— Ка-ра-у-л! — послышалось опять немного погодя.

— Я пойду уйму их,— сказал я.

— Нет, пусть они себе там перегрызут горла,— проговорила она с брезгливым выражением.

Она глядела в потолок и прислушивалась, а я сидел возле, не смея заговорить с нею, с таким чувством, как будто я был виноват, что на дворе кричали «караул» и что ночь была такая длинная.

Мы молчали, и я с нетерпением ждал, когда в окнах забрезжит свет. А Маша все время глядела так, будто очнулась от забытья и теперь удивлялась, как это она, такая умная, воспитанная, такая опрятная, могла попасть в этот жалкий провинциальный пустырь, в шайку мелких, ничтожных людей и как это она могла забыться до такой степени, что даже увлеклась одним из этих людей и больше полугода была его женой. Мне казалось, что для нее было уже все равно, что я, что Моисей, что Чепраков; все для нее слилось в этом пьяном, диком «караул» — и я, и наш брак, и наше хозяйство, и осенняя распутица; и когда она вздыхала или двигалась, чтобы лечь поудобнее, то я читал на ее лице: «О, поскорее бы утро!»

Утром она уехала.

Я прожил в Дубечне еще три дня, поджидая ее, потом сложил все наши вещи в одну комнату, запер и пошел в город. Когда я позвонился к инженеру, то был уже вечер, и на нашей Большой Дворянской горели фонари. Павел сказал мне, что никого нет дома: Виктор Иваныч уехал в Петербург, а Мария Викторовна, должно быть, у Ажогиных на репетиции. Помню, с каким волнением я шел потом к Ажогиным, как стучало и замирало мое сердце, когда я поднимался по лестнице и долго стоял вверху на площадке, не смея войти в этот храм муз! В зале на столике, на рояле, на сцене горели свечи, везде по три, и первый спектакль был назначен на тринадцатое число, и теперь первая репетиция была в понедельник — тяжелый день. Борьба с предрассудками! Все любители сценического искусства были уже в сборе; старшая, средняя и младшая ходили по сцене, читая свои роли по тетрадкам. В стороне ото всех неподвижно стоял Редька, прислонившись виском к стене, и с обожанием смотрел на сцену, ожидая начала репетиции. Все как было!

Я направился к хозяйке,— надо было поздороваться, но вдруг все зашикали, замахали мне, чтобы я не стучал ногами. Стало тихо. Подняли крышку у рояля, села какая-то дама, щуря свои близорукие глаза на ноты, и к роялю подошла моя Маша, разодетая, красивая, но красивая как-то особенно, по-новому, совсем не похожая на ту Машу, которая весной приходила ко мне на мельницу; она запела:

Отчего я люблю тебя, светлая ночь?

За все время нашего знакомства это в первый раз я слышал, как она пела. У нее был хороший, сочный, сильный голос, и, пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню. Вот она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себе платье, точно птица, которая вырвалась, наконец, из клетки и на свободе оправляет свои крылья. Волосы у нее были зачесаны на уши, и на лице было нехорошее, задорное выражение, точно она хотела сделать всем нам вызов или крикнуть на нас, как на лошадей: «Эй, вы, милые!»

И, должно быть, в это время она была очень похожа на своего деда-ямщика.

— И ты здесь? — спросила она, подавая мне руку.— Ты слышал, как я пела? Ну, как ты находишь? — И, не дожидаясь моего ответа, она продолжала:— Очень кстати, что ты здесь. Сегодня ночью я уезжаю ненадолго в Петербург. Ты меня отпустишь?

В полночь я провожал ее на вокзал. Она нежно обняла меня, вероятно, в благодарность за то, что я не задавал ненужных вопросов, и обещала писать мне, а я долго сжимал ее руки и целовал их, едва сдерживая слезы, не говоря ей ни слова.

А когда она уехала, я стоял, смотрел на удалявшиеся огни, ласкал ее в своем воображении и тихо говорил:

— Милая моя Маша, великолепная Маша...

Ночевал я в Макарихе у Карповны, а утром уже вместе с Редькой обивал мебель у одного богатого купца, выдававшего свою дочь за доктора.

XVII

В воскресенье после обеда приходила ко мне сестра и пила со мною чай.

— Теперь я очень много читаю,— говорила она, показывая мне книги, которые она, идя ко мне, взяла из городской библиотеки.— Спасибо твоей жене и Владимиру, они возбудили во мне самосознание. Они спасли меня, сделали то, что я теперь чувствую себя человеком. Прежде, бывало, я не спала по ночам от разных забот: «Ах, за неделю у нас сошло много сахару! ах, как бы не пересолить огурцы!» И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другие мысли. Я мучаюсь, что так глупо, малодушно прошла у меня половина жизни. Свое прошлое я презираю, стыжусь его, а на отца я смотрю теперь как на своего врага. О, как я благодарна твоей жене! А Владимир? Это такой чудный человек! Они открыли мне глаза.

— Это нехорошо, что ты не спишь по ночам,— сказал я.

— Ты думаешь, я больна? Нисколько. Владимир выслушал меня и говорил, что я совершенно здорова. Но дело не в здоровье, оно не так важно... Ты мне скажи: я права?

Она нуждалась в нравственной поддержке — это было очевидно. Маша уехала, доктор Благово был в Петербурге, и в городе не оставалось никого, кроме меня, кто бы мог сказать ей, что она права. Она пристально вглядывалась мне в лицо, стараясь прочесть мои тайные мысли, и если я при ней задумывался и молчал, то она это принимала на свой счет и становилась печальна. Приходилось все время быть настороже, и когда она спрашивала меня, права ли она, то я спешил ответить ей, что она права и что я глубоко ее уважаю.

— Ты знаешь? Мне у Ажогиных дали роль,— продолжала она.— Хочу играть на сцене. Хочу жить, одним словом, хочу пить из полной чаши. Таланта у меня нет никакого, и роль всего в десять строк, но все же это неизмеримо выше и благороднее, чем разливать чай по пяти раз на день и подглядывать, не съела ли кухарка

лишнего куска. А главное, пусть, наконец, отец увидит, что и я способна на протест.

После чаю она легла на мою постель и полежала некоторое время с закрытыми глазами, очень бледная.

— Какая слабость! — проговорила она, поднимаясь. — Владимир говорил, что все городские женщины и девушки малокровны от безделья. Какой умный человек Владимир! Он прав, бесконечно прав. Надо работать!

Через два дня она пришла к Ажогиным на репетицию, с тетрадкой. Она была в черном платье, с коралловою ниткой на шее, с брошью, похожею издали на слоеный пирожок, и в ушах были большие серьги, в которых блестело по брильянту. Когда я взглянул на нее, то мне стало неловко: меня поразила безвкусица. Что она некстати надела серьги и брильянты и была странно одета, заметили и другие; я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, смеясь:

— Клеопатра Египетская.

Она старалась быть светскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее.

— Сейчас я объявила отцу, что ухожу на репетицию,— начала она, подходя ко мне,— и он крикнул, что лишает меня благословения, и даже едва не ударил меня. Представь, я не знаю своей роли,— сказала она, заглядывая в тетрадку. — Я непременно собьюсь. Итак, жребий брошен,— продолжала она в сильном волнении.— Жребий брошен...

Ей казалось, что все смотрят на нее и все изумлены тем важным шагом, на который она решилась, что все ждут от нее чего-то особенного, и убедить ее, что на таких маленьких и неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно.

До третьего акта ей нечего было делать, и ее роль гостьи, провинциальной кумушки, заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы подслушивая, и потом сказать короткий монолог. До своего выхода, по крайней мере часа полтора, пока на сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и все время бормотала свою роль и нервно мяла тетрадку; и, воображая, что все смотрят на нее и

ждут ее выхода, она дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мне:

— Я непременно собьюсь... Как тяжело у меня на душе, если б ты знал! У меня такой страх, будто меня поведут сейчас на смертную казнь.

Наконец настала ее очередь.

— Клеопатра Алексеевна,— вам! — сказал режиссер.

Она вышла на середину сцены с выражением ужаса на лице, некрасивая, угловатая, и с полминуты простояла, как в столбняке, совершенно неподвижно, и только одни большие сережки качались под ушами.

— В первый раз можно по тетрадке,— сказал кто-то.

Мне было ясно, что она дрожит и от дрожи не может говорить и развернуть тетрадку и что ей вовсе не до роли, и я уже хотел пойти к ней и сказать ей что-нибудь, как она вдруг опустилась на колени среди сцены и громко зарыдала.

Все двигалось, все шумело вокруг, один я стоял, прислонившись к кулисе, пораженный тем, что произошло, не понимая, не зная, что мне делать. Я видел, как ее подняли и увели. Я видел, как ко мне подошла Анюта Благово; раньше я не видел ее в зале, и теперь она точно из земли выросла. Она была в шляпе, под вуалью, и, как всегда, имела такой вид, будто зашла только на минуту.

— Я говорила ей, чтобы она не играла,— сказала она сердито, отрывисто выговаривая каждое слово и краснея.— Это — безумие! Вы должны были удержать ее!

Быстро подошла Ажогина-мать в короткой кофточке с короткими рукавами, с табачным пеплом на груди, худая и плоская.

— Друг мой, это ужасно,— проговорила она, ломая руки и по обыкновению пристально всматриваясь мне в лицо.— Это ужасно! Ваша сестра в положении... она беременна! Уведите ее, прошу вас...

Она тяжело дышала от волнения. А в стороне стояли три дочери, такие же, как она, худые и плоские, и пугливо жались друг к другу. Они были встревожены, ошеломлены, точно в их доме только что поймали

каторжника. Какой позор, как страшно! А ведь это почтенное семейство всю свою жизнь боролось с предрассудками; очевидно, оно полагало, что все предрассудки и заблуждения человечества только в трех свечах, в тринадцатом числе, в тяжелом дне — понедельнике!

— Прошу вас... прошу...— повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечком на слоге «шу» и выговаривая его, как «шю».— Прошю, уведите ее домой.

XVIII

Немного погодя я и сестра шли по улице. Я прикрывал ее полой своего пальто; мы торопились, выбирая переулки, где не было фонарей, прячась от встречных, и это было похоже на бегство. Она уже не плакала, а глядела на меня сухими глазами. До Макарихи, куда я вел ее, было ходьбы всего минут двадцать, и, странное дело, за такое короткое время мы успели припомнить всю нашу жизнь, мы обо всем переговорили, обдумали наше положение, сообразили...

Мы решили, что нам уже нельзя больше оставаться в этом городе и что когда я добуду немного денег, то мы переедем куда-нибудь в другое место. В одних домах уже спали, в других играли в карты; мы ненавидели эти дома, боялись их и говорили об изуверстве, сердечной грубости, ничтожестве этих почтенных семейств, этих любителей драматического искусства, которых мы так испугали, и я спрашивал, чем же эти глупые, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков, или чем лучше они животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами. Что было бы теперь с сестрой, если бы она осталась жить дома? Какие нравственные мучения испытывала бы она, разговаривая с отцом, встречаясь каждый день со знакомыми? Я воображал себе это, и тут же мне приходили на память люди, все знакомые люди, которых медленно сживали со света их близкие и родные, припомнились замученные собаки, сходившие с ума, живые воробьи,

ощипанные мальчишками догола и брошенные в воду,— и длинный, длинный ряд глухих медлительных страданий, которые я наблюдал в этом городе непрерывно с самого детства; и мне было непонятно, чем живут эти шестьдесят тысяч жителей, для чего они читают евангелие, для чего молятся, для чего читают книги и журналы. Какую пользу принесло им все то, что до сих пор писалось и говорилось, если у них все та же душевная темнота и то же отвращение к свободе, что было и сто и триста лет назад? Подрядчик-плотник всю свою жизнь строит в городе дома и все же до самой смерти вместо «галерея» говорит «галдарея», так и эти шестьдесят тысяч жителей поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе и все же до самой смерти лгут от утра до вечера, мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее, как врага.

— Итак, судьба моя решена,— сказала сестра, когда мы пришли домой.— После того, что случилось, я уже не могу возвратиться *туда*. Господи, как это хорошо! У меня стало легко на душе.

Она тотчас легла в постель. На ресницах у нее блестели слезы, но выражение было счастливое, спала она крепко и сладко, и видно было, что в самом деле у нее легко на душе и что она отдыхает. Давно-давно уже она не спала так!

И вот мы начали жить вместе. Она все пела и говорила, что ей очень хорошо, и книги, которые мы брали в библиотеке, я уносил обратно не читанными, так как она уже не могла читать; ей хотелось только мечтать и говорить о будущем. Починяя мое белье или помогая Карповне около печки, она то напевала, то говорила о своем Владимире, об его уме, прекрасных манерах, доброте, об его необыкновенной учености, и я соглашался с нею, хотя уже не любил ее доктора. Ей хотелось работать, жить самостоятельно, на свой счет, и она говорила, что пойдет в учительницы или в фельдшерицы, как только позволит здоровье, и будет сама мыть полы, стирать белье. Она уже страстно любила своего маленького; его еще не было на свете, но она уже знала, какие у него глаза, какие руки и как он смеется. Она любила поговорить о воспитании, а так как лучшим

человеком на свете был Владимир, то и все рассуждения ее о воспитании сводились к тому только, чтобы мальчик был так же очарователен, как его отец. Конца не было разговорам, и все, что она говорила, возбуждало в ней живую радость. Иногда радовался и я, сам не зная чему.

Должно быть, она заразила меня своею мечтательностью. Я тоже ничего не читал и только мечтал; по вечерам, несмотря на утомление, я ходил по комнате из угла в угол, заложив руки в карманы, и говорил о Маше.

— Как ты думаешь,— спрашивал я сестру,— когда она вернется? Мне кажется, она вернется к рождеству, не позже. Что ей там делать?

— Если она тебе не пишет, то, очевидно, вернется очень скоро.

— Это правда,— соглашался я, хотя отлично знал, что Маше уже незачем возвращаться в наш город.

Я сильно соскучился по ней и уже не мог не обманывать себя и старался, чтобы меня обманывали другие. Сестра ожидала своего доктора, а я — Машу, и оба мы непрерывно говорили, смеялись и не замечали, что мешаем спать Карповне, которая лежала у себя на печке и все бормотала:

— Самовар-то гудел поутру, гуде-ел! Ох, не к добру, сердечные, не к добру.

У нас никто не бывал, кроме почтальона, приносившего сестре письма от доктора, да Прокофия, который иногда вечером заходил к нам и, молча поглядев на сестру, уходил и уж у себя в кухне говорил:

— Всякое звание должно свою науку помнить, а кто не желает этого понимать по своей гордости, тому юдоль.

Он любил слово «юдоль». Как-то — это было уже на святках,— когда я проходил базаром, он зазвал меня к себе в мясную лавку и, не подавая мне руки, заявил, что ему нужно поговорить со мною о каком-то очень важном деле. Он был красен от мороза и от водки; возле него за прилавком стоял Николка с разбойничьим лицом, держа в руке окровавленный нож.

— Я желаю выразить вам мои слова,— начал Прокофий.— Это событие не может существовать, потому что сами понимаете, за такую юдоль люди не похвалят ни нас, ни вас. Мамаша, конечно, из жалости не может

говорить вам неприятности, чтобы ваша сестрица перебралась на другую квартиру по причине своего положения, а я больше не желаю, потому что ихнего поведения не могу одобрить.

Я понял его и вышел из лавки. В тот же день я и сестра перебрались к Редьке. У нас не было денег на извозчика, и мы шли пешком; я нес на спине узел с нашими вещами, у сестры же ничего не было в руках, но она задыхалась, кашляла и все спрашивала, скоро ли мы дойдем.

XIX

Наконец пришло письмо от Маши.

«Милый, хороший М. А.,— писала она,— добрый, кроткий «ангел вы наш», как называет вас старый маляр, прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на выставку. Через несколько дней я увижу океан — так далеко от Дубечни, страшно подумать! Это далеко и необъятно, как небо, и мне хочется туда, на волю, я торжествую, я безумствую, и вы видите, как нескладно мое письмо. Милый, добрый, дайте мне свободу, скорее порвите нить, которая еще держится, связывая меня и вас. То, что я встретила и узнала вас, было небесным лучом, озарившим мое существование; но то, что я стала вашею женой, было ошибкой, вы понимаете это, и меня теперь тяготит сознание ошибки, и я на коленях умоляю вас, мой великодушный друг, скорее-скорее, до отъезда моего в океан, телеграфируйте, что вы согласны исправить нашу общую ошибку, снять этот единственный камень с моих крыльев, и мой отец, который примет на себя все хлопоты, обещает мне не слишком отягощать вас формальностями. Итак, вольная на все четыре стороны? Да?

Будьте счастливы, да благословит вас бог, простите меня, грешную.

Жива, здорова. Сорю деньгами, делаю много глупостей и каждую минуту благодарю бога, что у такой дурной женщины, как я, нет детей. Я пою и имею успех, но это не увлечение, нет, это — моя пристань, моя келия, куда я теперь ухожу на покой. У царя Давида было кольцо с надписью: «Все проходит». Когда грустно, то

от этих слов становится весело, а когда весело, то становится грустно. И я завела себе такое кольцо с еврейскими буквами, и этот талисман удержит меня от увлечений. Все проходит, пройдет и жизнь, значит, ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознание свободы, потому что, когда человек свободен, то ему ничего, ничего, ничего не нужно. Порвите же нитку. Вас и сестру крепко обнимаю. Простите и забудьте вашу М.»

Сестра лежала в одной комнате, Редька, который опять был болен и уже выздоравливал,— в другой. Как раз в то время, когда я получил это письмо, сестра тихо прошла к маляру, села возле и стала читать. Она каждый день читала ему Островского или Гоголя, и он слушал, глядя в одну точку, не смеясь, покачивая головой, и изредка бормотал про себя:

— Все может быть! Все может быть!

Если в пьесе изображалось что-нибудь некрасивое, безобразное, то он говорил как бы с злорадством, тыча в книгу пальцем:

— Вот она, *лжа-то*! Вот она что делает, лжа-то!

Пьесы привлекали его и содержанием, и моралью, и своею сложною, искусною постройкой, и он удивлялся *ему*, никогда не называя *его* по фамилии:

— Как это *он* ловко все пригнал к месту!

Теперь сестра тихо прочла только одну страницу и не могла больше: не хватало голоса. Редька взял ее за руку и, пошевелив высохшими губами, сказал едва слышно, сиплым голосом:

— Душа у праведного белая и гладкая, как мел, а у грешного, как пемза. Душа у праведного — олифа светлая, а у грешного — смола газовая. Трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо,— продолжал он,—а который человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного. Тля ест траву, ржа — железо...

— А лжа — душу,— продолжила сестра и рассмеялась.

Я еще раз прочел письмо. В это время в кухню пришел солдат, приносивший нам раза два в неделю, неизвестно от кого, чай, французские булки и рябчиков,

от которых пахло духами. Работы у меня не было, приходилось сидеть дома по целым дням, и, вероятно, тот, кто присылал нам эти булки, знал, что мы нуждаемся.

Я слышал, как сестра разговаривала с солдатом и весело смеялась. Потом она, лежа, ела булку и говорила мне:

— Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анюта Благово с самого начала знали, что ты прав, но нам было страшно высказать это вслух. Скажи, какая это сила мешает сознаваться в том, что думаешь? Взять вот хотя бы Анюту Благово. Она тебя любит, обожает, она знает, что ты прав; она и меня любит, как сестру, и знает, что я права, и небось в душе завидует мне, но какая-то сила мешает ей прийти к нам, она избегает нас, боится.

Сестра сложила на груди руки и сказала с увлечением:

— Как она тебя любит, если б ты знал! В этой любви она признавалась только мне одной, и то потихоньку, в потемках. Бывало, в саду заведет в темную аллею и начнет шептать, как ты ей дорог. Увидишь, она никогда не пойдет замуж, потому что любит тебя. Тебе жаль ее?

— Да.

— Это она прислала булки. Смешная, право, к чему скрываться? Я тоже была смешной и глупой, а вот ушла оттуда и уже никого не боюсь, думаю и говорю вслух, что хочу,— и стала счастливой. Когда жила дома, и понятия не имела о счастье, а теперь я не поменялась бы с королевой.

Пришел доктор Благово. Он получил докторскую степень и теперь жил в нашем городе, у отца, отдыхал и говорил, что скоро опять уедет в Петербург. Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры; хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру. Он уже оставил военную службу и носил просторные шевиотовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. Сестра была в восторге от его булавок, запонок и от красного шелкового платочка, который он, вероятно, из кокетства держал в переднем кармане пиджака. Однажды, от нечего делать, мы с нею принялись считать на память все его

костюмы и решили, что у него их по крайней мере штук десять. Было ясно, что он по-прежнему любит мою сестру, но он ни разу даже в шутку не сказал, что возьмет ее с собою в Петербург или за границу, и я не мог себе ясно представить, что будет с нею, если она останется жива, что будет с ее ребенком. А она только без конца мечтала и не думала серьезно о будущем, она говорила, что пусть он едет, куда хочет, и пусть даже бросит ее, лишь бы сам был счастлив, а с нее довольно и того, что было.

Обыкновенно, придя к нам, он выслушивал ее очень внимательно и требовал, чтобы она при нем пила молоко с каплями. И в этот раз было то же самое. Он выслушал ее и заставил выпить стакан молока, и после этого в наших комнатах запахло креозотом.

— Вот умница,— сказал он, принимая от нее стакан. — Тебе нельзя много говорить, а в последнее время ты болтаешь, как сорока. Пожалуйста, молчи.

Она засмеялась. Потом он вышел в комнату Редьки, где я сидел, и ласково похлопал меня по плечу.

— Ну, что, старик? — спросил он, наклоняясь к больному.

— Ваше высокоблагородие...— проговорил Редька, тихо пошевелив губами,— ваше высокоблагородие. осмелюсь доложить... все под богом ходим, всем помирать надо... Дозвольте правду сказать... Ваше высокоблагородие, не будет вам царства небесного!

— Что же делать,— пошутил доктор,— надо быть кому-нибудь и в аду.

И вдруг что-то сделалось с моим сознанием; точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе, а рядом со мною Прокофий, от которого пахнет перцовкой; я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню и объяснение с губернатором и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле.

Когда я очнулся, то увидел, что я уже не дома, а на улице, и вместе с доктором стою около фонаря.

— Грустно, грустно,— говорил он, и слезы текли у него по щекам.— Она весела, постоянно смеется, надеется, а положение ее безнадежно, голубчик. Ваш Редька ненавидит меня и все хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения, и я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить, мы все должны любить — не правда ли? — без любви не было бы жизни; кто боится и избегает любви, тот не свободен.

Мало-помалу он перешел на другие темы, заговорил о науке, о своей диссертации, которая понравилась в Петербурге; он говорил с увлечением и уже не помнил ни о моей сестре, ни о своем горе, ни обо мне. Жизнь увлекала его. У той — Америка и кольцо с надписью, думал я, а у этого — докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом.

Простившись с ним, я подошел к фонарю и еще раз прочел письмо. И я вспомнил, живо вспомнил, как весной, утром, она пришла ко мне на мельницу, легла и укрылась полушубочком — ей хотелось походить на простую бабу. А когда, в другой раз,— это было тоже утром,— мы доставали из воды вершу, то на нас с прибрежных ив сыпались крупные капли дождя, и мы смеялись...

В нашем доме на Большой Дворянской было темно. Я перелез через забор и, как делал это в прежнее время, прошел черным ходом в кухню, чтобы взять там лампочку. В кухне никого не было: около печи шипел самовар, поджидая моего отца. «Кто-то теперь,— подумал я,— разливает отцу чай?» Взявши лампочку, я пошел в хибарку и тут примостил себе постель из старых газет и лег. Костыли на стенах сурово глядели по-прежнему, и тени их мигали. Было холодно. Мне представилось, что сейчас должна прийти сестра и принести мне ужин, но тотчас же я вспомнил, что она больна и лежит в доме Редьки, и мне показалось странным, что я перелез через забор и лежу в нетопленной хибарке. Сознанье мое путалось, и я видел всякий вздор.

Звонок. С детства знакомые звуки: сначала проволока шуршит по стене, потом в кухне раздается короткий, жалобный звон. Это из клуба вернулся отец. Я

встал и отправился в кухню. Кухарка Аксинья, увидев меня, всплеснула руками и почему-то заплакала.

— Родной мой! — заговорила она тихо.— Дорогой! О, господи!

И от волнения стала мять в руках свой фартук. На окне стояли четвертные бутыли с ягодами и водкой. Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что мне сильно хотелось пить. Аксинья только недавно вымыла стол и скамьи, и в кухне был запах, какой бывает в светлых, уютных кухнях у опрятных кухарок. И этот запах и крик сверчка когда-то в детстве манили нас, детей, сюда в кухню и располагали к сказкам, к игре в короли...

— А Клеопатра где? — спрашивала Аксинья тихо, торопясь, сдерживая дыхание.— А шапка твоя где, батюшка? А жена, сказывают, в Питер уехала?

Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру в корыте, и теперь для нее мы все еще были дети, которых нужно было наставлять. В какие-нибудь четверть часа она выложила передо мною все свои соображения, какие с рассудительностью старой слуги скапливала в тиши этой кухни все время, пока мы не виделись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатре,— стоит только припугнуть его, и если хорошо написать прошение, то архиерей расторгнет его первый брак; что хорошо бы потихоньку от жены Дубечню продать, а деньги положить в банк на мое имя; что если бы я и сестра поклонились отцу в ноги и попросили хорошенько, то, быть может, он простил бы нас; что надо бы отслужить молебен царице небесной...

— Ну, иди, батюшка, поговори с ним,— сказала она, когда послышался кашель отца.— Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится.

Я пошел. Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башней, похожею на пожарную каланчу,— нечто необыкновенно упрямое и бездарное. Я, войдя в кабинет, остановился так, что мне был виден этот чертеж. Я не знал, зачем я пришел к отцу, но помню, когда я увидел его тощее лицо, красную шею, его тень на стене, то мне захотелось броситься к нему на шею и, как учила Аксинья, поклониться ему

К рассказу «На подводе».
Художник Д. Миньков. 1954.

в ноги; но вид дачи с готическими окнами и с толстою башней удержал меня.

— Добрый вечер,— сказал я.

Он взглянул на меня и тотчас же опустил глаза на свой чертеж.

— Что тебе нужно? — спросил он немного погодя.

— Я пришел вам сказать,— сестра очень больна. Она скоро умрет,— добавил я глухо.

— Что ж? — вздохнул отец, снимая очки и кладя их на стол. — Что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь,— повторил он, вставая из-за стола,— то и пожнешь. Я прошу тебя вспомнить, как два года назад ты пришел ко мне, и вот на этом самом месте я просил тебя, умолял оставить свои заблуждения, напоминал тебе о долге, чести и о твоих обязанностях по отношению к предкам, традиции которых мы должны свято хранить. Послушал ли ты меня? Ты пренебрег моими советами и с упорством продолжал держаться своих ложных взглядов; мало того, в свои заблуждения ты вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам обоим приходится нехорошо. Что ж? Что посеешь, то и пожнешь!

Он говорил это и ходил по кабинету. Вероятно, он думал, что я пришел к нему с повинною, и, вероятно, он ждал, что я начну просить за себя и сестру. Мне было холодно, я дрожал, как в лихорадке, и говорил с трудом, хриплым голосом.

— И я тоже прошу вспомнить,— сказал я, — на этом самом месте я умолял вас понять меня, вдуматься, вместе решить, как и для чего нам жить, а вы в ответ заговорили о предках, о дедушке, который писал стихи. Вам говорят теперь о том, что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предках, о традициях... И такое легкомыслие в старости, когда смерть не за горами, когда осталось жить каких-нибудь пять, десять лет!

— Ты зачем пришел сюда? — строго спросил отец, очевидно оскорбленный тем, что я попрекнул его легкомыслием.

— Не знаю. Я люблю вас, мне невыразимо жаль, что мы так далеки друг от друга,— вот я и пришел. Я еще люблю вас, но сестра уже окончательно порвала

с вами. Она не прощает и уже никогда не простит. Ваше одно имя возбуждает в ней отвращение к прошлому, к жизни.

— А кто виноват? — крикнул отец.— Ты же и виноват, негодяй!

— Да, пусть я виноват,— сказал я.— Сознаю, я виноват во многом, но зачем же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас,— зачем она так скучна, так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже тридцать лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым? Во всем городе ни одного честного человека! Эти ваши дома — проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей... Бедная моя мать! — продолжал я в отчаянии.— Бедная сестра! Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить или десятки лет чертить и чертить, чтобы не замечать всего ужаса, который прячется в этих домах. Город наш существует уже сотни лет, и за все время он не дал родине ни одного полезного человека — ни одного! Вы душили в зародыше все мало-мальски живое и яркое! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, попов, ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю.

— Я не желаю слушать тебя, негодяй! — сказал отец и взял со стола линейку.— Ты пьян! Ты не смеешь являться в таком виде к отцу! Говорю тебе в последний раз, и передай это своей безнравственной сестре, что вы от меня ничего не получите. Непокорных детей я вырвал из своего сердца, и если они страдают от непокорности и упорства, то я не жалею их. Можешь уходить откуда пришел! Богу угодно было наказать меня вами, но я со смирением переношу это испытание и, как Иов, нахожу утешение в страданиях и постоянном труде. Ты не должен переступать моего порога, пока не исправишься. Я справедлив, все, что я говорю, это полезно, и если ты хочешь себе добра, то ты должен всю свою жизнь помнить то, что я говорил тебе и говорю.

Я махнул рукой и вышел. Затем не помню, что было ночью и на другой день.

Говорят, что я ходил по улицам без шапки, шатаясь, и громко пел, а за мною толпами ходили мальчишки и кричали:

— Маленькая польза! Маленькая польза!

XX

Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни.

То, что я пережил, не прошло даром. Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут маленькой пользой, не смеются надо мною, и, когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой. К тому, что я стал рабочим, уже привыкли и не видят ничего странного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла; напротив, мне охотно дают заказы, и я считаюсь уже хорошим мастером и лучшим подрядчиком, после Редьки, который хотя и выздоровел и хотя по-прежнему красит без подмостков купола на колокольнях, но уже не в силах управляться с ребятами; вместо него я теперь бегаю по городу и ищу заказов, я нанимаю и рассчитываю ребят, я беру деньги взаймы под большие проценты. И теперь, ставши подрядчиком, я понимаю, как это из-за грошового заказа можно дня по три бегать по городу и искать кровельщиков. Со мною вежливы, говорят мне *вы*, и в домах, где я работаю, меня угощают чаем и присылают спросить, не хочу ли я обедать. Дети и девушки часто приходят и с любопытством и с грустью смотрят на меня.

Как-то я работал в губернаторском саду, красил там беседку под мрамор. Губернатор, гуляя, зашел в беседку и от нечего делать заговорил со мною, и я напомнил ему, как он когда-то приглашал меня к себе для объяснений. Он минуту вглядывался мне в лицо, потом сделал рот, как *о*, развел руками и сказал:

— Не помню!

Я постарел, стал молчалив, суров, строг, редко смеюсь, и говорят, что я стал похож на Редьку и, как он, нагоняю на ребят скуку своими бесполезными наставлениями.

Мария Викторовна, бывшая жена моя, живет теперь за границей, а ее отец, инженер, где-то в восточных губерниях строит дорогу и покупает там имения. Доктор Благово тоже за границей. Дубечня перешла опять к госпоже Чепраковой, которая купила ее, выторговав у инженера двадцать процентов уступки. Моисей ходит уже в шляпе котелком; он часто приезжает в город на беговых дрожках по каким-то делам и останавливается около банка. Говорят, что он уже купил себе имение с переводом долга и постоянно справляется в банке насчет Дубечни, которую тоже собирается купить. Бедный Иван Чепраков долго шатался по городу, ничего не делая и пьянствуя. Я попытался было пристроить его к нашему делу, и одно время он вместе с нами красил крыши и вставлял стекла и даже вошел во вкус и, как настоящий маляр, крал олифу, просил на чай, пьянствовал. Но скоро дело надоело ему, он заскучал и вернулся в Дубечню, и потом ребята признавались мне, что он подговаривал их как-нибудь ночью вместе с ним убить Моисея и ограбить генеральшу.

Отец сильно постарел, сгорбился и по вечерам гуляет около своего дома. Я у него не бываю.

Прокофий во время холеры лечил лавочников перцовкой и дегтем и брал за это деньги, и, как я узнал из нашей газеты, его наказывали розгами за то, что он, сидя в своей мясной лавке, дурно отзывался о докторах. Его приказчик Николка умер от холеры. Карповна еще жива и по-прежнему любит и боится своего Прокофия. Увидев меня, она всякий раз печально качает головой и говорит со вздохом:

— Пропала твоя головушка!

В будни я бываю занят с раннего утра до вечера. А по праздникам, в хорошую погоду, я беру на руки свою крошечную племянницу (сестра ожидала мальчика, но родилась у нее девочка) и иду не спеша на кладбище. Там я стою или сижу и подолгу смотрю на дорогую мне могилу и говорю девочке, что тут лежит ее мама.

Иногда у могилы я застаю Анюту Благово. Мы здороваемся и стоим молча или говорим о Клеопатре, об ее девочке, о том, как грустно жить на этом свете. Потом, выйдя из кладбища, мы идем молча, и она замедляет шаг — нарочно, чтобы подольше идти со мной рядом. Девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает к ней ручки, и мы останавливаемся й вместе ласкаем эту милую девочку.

А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая... И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка.

МУЖИКИ

I

Лакей при московской гостинице «Славянский базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги — это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

— Кис, кис! — поманила ее Саша.— Кис!

— Она у нас не слышит,— сказала девочка.— Оглохла.

— Отчего?

— Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая — не лучше, зато у крайней — железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная, стояла особняком, и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом, так же как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господской дом.

— Хорошо у вас здесь! — сказала Ольга, крестясь на церковь.— Раздолье, господи!

Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

— Об эту пору в «Славянском базаре» обеды...— проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом

прошло стадо, прилетели с той стороны гуси,— и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы — невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты,— двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатях, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей,— напрасно!

— А где брат Кирьяк? — спросил он, когда поздоровались.

— У купца в сторожах живет,— ответил отец,— в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко.

— Не добытчик! — проговорила старуха слезливо.— Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный — все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьяк идет,— сказал старик,— легок на помине.

Все притихли. И немного погодя опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

— А ты чего, холера? — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах.— Небось не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

— Ма-арья! — раздался крик у самой двери.

— Вступитесь Христа ради, родименькие,— залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду,— вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий, чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица,— страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

— Экой срам-то, срам,— бормотал старик, полезая на печь,— при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

— А, приехали...— проговорил он, выпуская жену.— Родной братец с семейством...

Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

— Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов... Извините...

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

— И-и, касатка,— говорила она, ложась на сене рядом с Марьей,— слезами горю не поможешь! Терпи, и все тут. В писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

— А в Москве дома большие, каменные,— говорила она,— церквей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах все господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка, Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала,— обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

— А ну его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

II

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

— Старик ничего,— рассказывала Марья,— а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире,— ну, она серчает: много, говорит, едите.

— И-и, касатка! Терпи, и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как «аще» и «дондеже», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божию матерь, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете,— ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

— Ты откуда родом? — спросила Марья.

— Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

— Это наша Фекла,— узнала Марья,— за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная — страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

— Озорная — страсть! — повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее —и

очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это — порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: «Ма-арья!» — и она вздрагивала.

III

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвеичевых, служивший тогда капельдинером в саду «Эрмитаж». И теперь, обращаясь к Матвеичевым, Николай говорил наставительно:

— Иван Макарыч — мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком.

— Батюшка ты мой,— проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча,— и ничего про них, голубчика, не слыхать.

— Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

— Не добытчик ты, Николай Осипыч, не добытчик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

— Она у меня и читать может! — похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь.— Почитай, детка! — сказала она, доставая из угла евангелие.— Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

— «Отошедшим же им, се ангел господень... во сне явился Иосифу, глаголя: «Востав поими отроча и матерь его...»

— Отроча и матерь его,— повторила Ольга и вся раскраснелась от волнения.

— «И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...»

При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился,

чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на́полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут задами на ее огород, и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

— Да,— рассказывал он, взявшись за бока.— Да... После воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу — выходит из трактира староста Антип Седельников. «Куда везешь, такой-сякой?» — и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

— Водка-то что делает. Ах ты, боже мой! —бормотал он, встряхивая своею больною головой.— Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень

все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

— Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

— Оставь,— убеждал старик,— оставь... Она баба смирная... Грех...

— Ма-арья! — крикнул Кирьяк.

— Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

— Лю-эблю я цветы полевы-и! — запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором.— Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

IV

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задами, но они теперь были заняты делом, подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси

могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидала старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро и все — девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

— В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек — туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка,— добавила она, подражая своей матери. — А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

— С ко-ло-ко-ла-ми? — спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

— С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скоромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

— Гляди на небо, не мигай,— ангелов видать.

Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

— Видишь? — спросила Саша.

— Не видать,— проговорила Мотька басом.

— А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками — мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила:

— Бабка будет гореть?

— Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкою зеленою травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

— Как мне стало смешно! — сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

— Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

— Батюшки мои! — изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. — Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

— Ничего, ничего! — утешала Ольга, бледная, расстроенная, гладя Сашу по голове. — Она — бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед

женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

— Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

— Ну, околеваешь там на печке, ледащий! — крикнула на него Фекла со злобой. — Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

— Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О, господи, — продолжал он с тоской, — хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо, довольная, что теперь, в успеньев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и,

подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

V

На успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

— Пожар! Пожар! — раздался внизу отчаянный крик.— Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике как ни в чем не бывало.

— Дядя Семен горит! — крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю;

вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... — понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим — неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

— Бабы, воды! — кричал он. — Машину подава-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

— Девки, воды! — кричал староста, тоже пьяный. — Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты, и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

— Молодец, Антип! — слышались одобрительные голоса. — Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

— Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

— Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована — чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось:

— Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: «Пусти, говорит, ночевать...» Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара,— старичка чаем попоить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали, и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубу лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким,

охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

— Не давайте ломать! — раздались в толпе строгие голоса. — Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках,— должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

— Жорж! — кричали ему девушки укоризненно и с тревогой.— Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы, — это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

— Вы, барин, хорошо тушили,— сказала Ольга студенту. — Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

— А вы разве из Москвы? — спросила одна из барышень.

— Точно так. Мой муж служил в «Славянском базаре»-с. А это моя дочь,— указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. — Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

— Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было,— сказал он, обращаясь к студенту,— а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа

хорошие, — добавил он конфузливо, тоном ниже, — заря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

— Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни — как херувимчики.

— Чтоб их рóзорвало! — проговорила сонная Фекла со злобой.

VI

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помои выливала у самого крыльца: выплеснет с порога, да еще пройдется босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

— Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! — говорила она с злорадством. — Погляжу-у!

Однажды утром, — это было уже в начале сентября, — Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

— Чай да сахар! — проговорила Фекла насмешливо. — Барыни какие, — добавила она, ставя ведра, — моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! — продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. — Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

— Ах, батюшки.

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного — копеек двадцать в неделю.

— При господах лучше было, — говорил старик, мотая шелк. — И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал не спеша про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битою птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая — за мещанина, третью — увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И, вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

— Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький, лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил,

называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось «поутру проснувшись».

— А котлеты марешаль тогда делали? — спросил Николай.

— Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

— Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз не мигая; казалось, что их было очень много — точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевельнуться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшно холодна эта смерть, которая не за горами,— лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку — и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову всё мысли о смерти; повернулся на другой бок,— о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

— О, господи! — вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

— Кто тут? — окликнула Ольга.

— Я, — послышался ответ.— Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами, и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

— На той стороне озорники раздели, пустили так... — проговорила она. — Домой без одежи шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

— Да ты в избу иди! — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

— Старики бы не увидали.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: «Кто там?» Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

— Это ты, гладкая? — сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. — У, чтоб тебя, полунощница... нет на тебя погибели!

— Ничего, ничего, — шептала Ольга, кутая Феклу, — ничего, касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику — боль в спине, бабке — заботы и злость, Марье — страх, детям — чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

— О, господи! — вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна, или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: «Сто-ой!» Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и,

подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки — и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

— Нет, воля лучше!

VII

Приехал барин,— так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он «выкушал» тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость,— ему было только тридцать лет с небольшим,— был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он — староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не живал и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет

Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

— За им, ваше высокоблагородие, сто девятнадцать рублей,— сказал он, когда очередь дошла до Осипа.— Перед святой как дал рубль, так с того время ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

— Почему же это, братец?

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие,— начал Осип, волнуясь,— дозвольте сказать, летошний год люторецкий барин: «Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай». Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

— Я не понимаю, зачем ты это все говоришь,— сказал пристав.— Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай?

— Мочи моей нету!

— Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие,— сказал староста.— Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся — водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

— Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

— Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась

за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

— Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!

— Бабка, бабка,— сказал строго староста,— имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки,— не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в «Славянском базаре» по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

— Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

— Принеси три рубля, тогда и получишь.

— Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

— Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

— От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец, и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

— Земство! — говорил Осип.— Кто ж!

— Известно, земство.

Земство обвиняли во всем — и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет пятнадцать — двадцать назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотою

печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец и стали решать, кто виноват.

— Земство! — проговорил уныло Осип.— Кто ж!

VIII

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в великом посту не успевал отговеться, батюшка на святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

— А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

— Казанской божьей матери, смоленской божьей матери, троеручицы божьей матери...

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и

только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы».

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и, только когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

— Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на успенье пили, на воздвиженье пили. На покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили пятьдесят рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк — все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и силь-

К рассказу «Человек в футляре».
Художники Кукрыниксы. 1954.

ные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки.

— Заступница, матушка! — рыдала Марья.— Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота — вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка — расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не семьдесят, а пятьдесят восемь лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей в пору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая,— с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился.

На покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

— Оно хорошо,— говорил портной.— Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

IX

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с рождества не было своего хлеба, и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной

коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил, наконец,— и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю.

В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

— Опять я одна осталася, бедная моя головушка, бедная-несчастная...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд

телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдали хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

— Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что́ милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

— Православные христиане,— запела Саша,— подайте Христа ради, что́ милость ваша, царство небесное...

ПЕЧЕНЕГ

Жмухин, Иван Абрамыч, отставной казачий офицер, служивший когда-то на Кавказе, а теперь проживающий у себя на хуторе, бывший когда-то молодым, здоровым, сильным, а теперь старый, сухой и сутулый, с мохнатыми бровями и с седыми, зеленоватыми усами,— как-то в жаркий летний день возвращался из города к себе на хутор. В городе он говел и писал у нотариуса завещание (недели две назад с ним приключился легкий удар), и теперь в вагоне все время, пока он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете сует, о бренности всего земного. На станции Провалье,— а такая есть на Донецкой дороге,— в его вагон вошел белокурый господин, средних лет, пухлый, с поношенным портфелем, и сел против. Разговорились.

— Да-с,— говорил Иван Абрамыч, задумчиво глядя в окно.— Жениться никогда не поздно. Я сам женился, когда мне было сорок восемь лет, говорили — поздно, а вышло не поздно и не рано, а так, лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро прискучает всякому, да не всякий правду скажет, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрывают ее. Иной около жены — «Маня, Маня», а если бы его воля, то он бы эту Маню в мешок да в воду. С женой скука, одна глупость. Да и с детьми не лучше, смею вас уверить. У меня их двое, подлецов. Учить их тут в степи негде, отдать в Новочеркасск в ученье — денег нет, и живут

они тут, как волчата. Того и гляди зарежут кого на дороге.

Белокурый господин слушал внимательно, отвечал на вопросы негромко и кратко и, по-видимому, был тихого, скромного нрава. Он назвался частным поверенным и сказал, что едет в деревню Дюевку по делу.

— Да ведь, это в девяти верстах от меня, господи ты боже мой! — сказал Жмухин таким тоном, как будто с ним спорили.— Но позвольте, на станции вы теперь не найдете лошадей. По-моему, для вас самое лучшее, знаете ли, сейчас поехать ко мне, у меня переночуете, знаете ли, а утром и поедете на моих лошадях, с богом.

Частный поверенный подумал и согласился.

Когда приехали на станцию, солнце уже стояло низко над степью. Всю дорогу от станции до хутора молчали: говорить мешала тряская езда. Тарантас прыгал, визжал и, казалось, рыдал, точно его прыжки причиняли ему сильную боль, и частный поверенный, которому было очень неудобно сидеть, с тоской посматривал вперед: не видать ли хутора. Проехали верст восемь, и вдали показался невысокий дом и двор, обнесенный забором из темного плитняка; крыша на доме зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза. Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев. Назывался он у соседей-помещиков и у мужиков «Печенегов хутор». Много лет назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамычем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь мой, печенег!» Отсюда и пошло «Печенегов хутор», и это прозвище еще более укрепилось, когда дети Жмухина подросли и стали совершать набеги на соседние сады и бахчи. А самого Ивана Абрамыча звали «знаете ли», так как он говорил обыкновенно очень много и часто употреблял это «знаете ли».

Во дворе около сарая стояли сыновья Жмухина: один лет девятнадцати, другой — подросток, оба босые, без шапок; и как раз в то время, когда тарантас въезжал во двор, младший высоко подбросил курицу,

которая закудахтала и полетела, описывая в воздухе дугу; старший выстрелил из ружья, и курица, убитая, ударилась о землю.

— Это мои учатся стрелять в лет,— сказал Жмухин.

В сенях приехавших встретила женщина, маленькая, худенькая, с бледным лицом, еще молодая и красивая; по платью ее можно было принять за прислугу.

— А это, позвольте представить,— сказал Жмухин,— мать моих сукиных сынов. Ну, Любовь Осиповна,— обратился он к ней,— поворачивайся, мать, угощай гостя. Ужинать давай! Живо!

Дом состоял из двух половин; в одной была «зала» и рядом с ней спальня старика Жмухина — комнаты душные, с низкими потолками и со множеством мух и ос, а в другой была кухня, в которой стряпали, стирали, кормили работников; здесь же под скамьями сидели на яйцах гусыни и индейки, и здесь же находились постели Любови Осиповны и ее обоих сыновей. Мебель в зале была некрашеная, срубленная, очевидно, плотником; на стенах висели ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины, в углу темная доска, которая когда-то была иконой.

Молодая баба, хохлушка, накрыла на стол и подала ветчину, потом борщ. Гость отказался от водки и стал есть только хлеб и огурцы.

— А ветчинки что ж? — спросил Жмухин.

— Благодарю, не ем,— ответил гость.— Я вообще не ем мяса.

— Почему так?

— Я вегетарианец. Убивать животных — это противно моим убеждениям.

Жмухин подумал минуту и потом сказал медленно, со вздохом:

— Да... Так... В городе я тоже видел одного, который не ест мяса. Это теперь такая вера пошла. Что ж? Это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварям. Грех убивать, грех,— что и говорить. Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребенок. Значит, больно!

— Конечно, больно. Животные так же страдают, как и люди.

— Это верно,— согласился Жмухин.— Я все это понимаю очень хорошо,— продолжал он, думая,— только вот, признаться, одного не могу понять: если, положим, знаете ли, все люди перестанут есть мясо, то куда денутся тогда домашние животные, например куры и гуси?

— Куры и гуси будут жить на воле, как дикие.

— Теперь понимаю. В самом деле, живут вороны и галки и обходятся же без нас. Да... И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина. Только вот, знаете ли, одного не могу понять,— продолжал Жмухин, взглянув на ветчину.— Со свиньями как быть? Куда их?

— И они так же, как все, то есть и они на воле.

— Так. Да. Но позвольте, ведь если их не резать, то они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья, и недаром ее свиньей прозвали...

Поужинали. Жмухин встал из-за стола и долго ходил по комнате и все говорил, говорил... Он любил поговорить о чем-нибудь важном и серьезном и любил подумать; да и хотелось на старости лет остановиться на чем-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать. Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба и думает, что от этого стал совершеннее; сидит он на сундуке, здоровый, пухлый, молчит и терпеливо скучает, и в сумерках, когда взглянешь на него из сеней, похож на большой булыжник, который не сдвинешь с места. Имеет человек в жизни зацепку — и хорошо ему.

Жмухин через сени вышел на крыльцо, и потом слышно было, как он вздыхал и в раздумье говорил самому себе: «Да... так». Уже темнело, и на небе показывались там и сям звезды. В комнатах еще не зажигали огня. Кто-то бесшумно, как тень, вошел в залу и остановился около двери. Это была Любовь Осиповна, жена Жмухина.

— Вы из города? — спросила она робко, не глядя на гостя.

— Да, я живу в городе.

— Может, вы по ученой части, господин, поучите нас, будьте такие добрые. Нам надо бы прошение подать.

— Куда? — спросил гость.

— У нас два сына, господин хороший, и давно пора отдавать их в ученье, а у нас никто не бывает и не с кем посоветоваться. А сама я ничего не знаю. Потому, если не учить, то их возьмут на службу простыми казаками. Нехорошо, господин! Неграмотные, хуже мужиков, и сами же Иван Абрамыч брезгают, не пускают их в комнаты. А разве они виноваты? Хоть бы младшенького отдать в ученье, право, а то так жалко! — сказала она протяжно, и голос у нее дрогнул; и казалось невероятным, что у такой маленькой и молодой женщины есть уже взрослые дети.— Ах, так жалко!

— Ничего ты, мать, не понимаешь, и не твое это дело,— сказал Жмухин, показываясь в дверях.— Не приставай к гостю со своими разговорами дикими. Уходи, мать!

Любовь Осиповна вышла и в сенях повторила еще раз тонким голоском:

— Ах, так жалко!

Гостю постлали в зале на диване и, чтобы ему не было темно, зажгли лампадку. Жмухин лег у себя в спальне. И, лежа, он думал о своей душе, о старости, о недавнем ударе, который так напугал и живо напомнил о смерти. Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой, в тишине, и тогда ему казалось, что он очень серьезный, глубокий человек и что на этом свете его занимают одни только важные вопросы. И теперь он все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьезной и глубокой, как он сам. Вот хорошо бы и ему, старику, совсем отказаться от мяса, от разных излишеств. Время, когда люди не будут убивать друг друга и животных, рано или поздно настанет, иначе и быть не может, и он вооб-

ражал себе это время и ясно представлял самого себя, живущего в мире со всеми животными, и вдруг опять вспомнил про свиней, и у него в голове все перепуталось.

— История, господи помилуй,— пробормотал он, тяжело вздыхая.— Вы спите? — спросил он.

— Нет.

Жмухин встал с постели и остановился в дверях на пороге, в одной сорочке, показывая гостю свои ноги, жилистые и сухие, как палки.

— Вот теперь, знаете ли,— начал он,— пошли разные телеграфы, телефоны и разные там чудеса, одним словом, но люди не стали лучше. Говорят, что в наше время, лет тридцать — сорок назад, люди были грубые, жестокие; но теперь разве не то же самое? Действительно, в мое время жили без церемоний. Помню, на Кавказе, когда мы целых четыре месяца стояли на одной речке без всякого дела,— я тогда еще урядником был,— произошла история, вроде как бы роман. Как раз на берегу той речки, знаете ли, где стояла наша сотня, был похоронен один князек, которого мы же убили незадолго. И по ночам, знаете ли, ходила вдова княгиня на могилку и плакала. Уж она голосит-голосит, уж она стонет-стонет, и такую на нас тоску нагоняла, что не спим да и все. Одну ночь не спим, другую не спим; ну, надоело. И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать черт знает из-за чего, извините за выражение. Взяли мы эту княгиню, высекли ее — и перестала ходить. Вот вам. Теперь, конечно, уж не та категория людей, и не секут, и живут чище, и наук стало больше, но, знаете ли, душа все та же, никакой перемены. Вот, изволите ли видеть, живет здесь у нас помещик один. У него шахты, знаете ли. Работают у него беспаспортные, разные бродяги, которым деваться некуда. По субботам надо расчет давать рабочим, а платить-то не хочется, знаете ли, денег жалко. Вот он и нашел себе такого приказчика, тоже из бродяг, хотя и в шляпе ходит. «Ты, говорит, им ничего не плати, ни копейки; они тебя будут бить и пускай, говорит, бьют, а ты терпи, я за это каждую субботу буду тебе по десяти рублей платить». Вот вечером в субботу, порядком, как водится, рабочие прихо-

дят за расчетом; приказчик им: «Нету!» Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка... Бьют, бьют его, и руками и ногами,— знаете ли, народ озверелый с голоду-то,— бьют до бесчувствия, а потом и уходят кто куда. Хозяин велит отливать приказчика водой, потом ему десять рублей в зубы, а тот и берет, да еще рад, потому, в сущности, не то, что за десять, он и за трешницу согласится хоть в петлю. Да... А в понедельник приходит новая партия рабочих; приходят, деваться некуда... В субботу опять та же история....

Гость повернулся на другой бок, лицом к спинке дивана, и пробормотал что-то.

— А вот другой пример,— продолжал Жмухин.— Как-то была тут сибирская язва, знаете ли; скотина дохла, я вам скажу, как мухи, и ветеринары тут ездили, и строго было приказано, чтобы палый скот зарывать подальше, глубоко в землю, заливать известкой и прочее, знаете ли, на основании науки. Издохла и у меня лошадь. Я со всякими предосторожностями зарыл ее и одной извести вылил на нее пудов десять. И что ж вы думаете? Мои молодцы, знаете ли, сыночки мои милые, ночью вырыли лошадь, содрали с нее шкуру и продали за три рубля. Вот вам. Значит, люди не стали лучше, и, значит, как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Вот вам. Подумать-то есть о чем! А? Как вы полагаете?

На одной стороне в окнах, в щелях ставен, вспыхивала молния. Было душно перед грозой, кусались комары, и Жмухин, лежа у себя и размышляя, охал, стонал и говорил самому себе: «Да... так»,— и уснуть было невозможно. Где-то очень-очень далеко ворчал гром.

— Вы спите?

— Нет,— ответил гость.

Жмухин встал и через залу и сени, стуча своими пятками, прошел в кухню — воды напиться.

— Хуже всего на свете, знаете ли, глупость,— говорил он немного погодя, возвращаясь с ковшом.— Моя Любовь Осиповна стоит на коленках и богу молится. Молится каждую ночь, знаете ли, и поклоны бухает, первое, чтоб детей в ученье отдать; боится, что дети пойдут на службу простыми казаками и их будут

там поперек спины шашками лупить. Но чтобы учить, надо деньги, а где их взять? Хоть лбом пол прошиби, а коли нет, так и нет. Второе, молится, потому что, знаете ли, всякая женщина думает, что несчастнее ее нет на свете. Я человек откровенный и скрывать от вас ничего не желаю. Она из бедного семейства, поповна, колокольного звания, так сказать; женился я на ней, когда ей было семнадцать лет, и ее выдали за меня больше из-за того, что было есть нечего, нужда, злыдни, а у меня все-таки, видите, земля, хозяйство, ну, как-никак, все-таки офицер; лестно ей было за меня идти, знаете ли. В первый день, как поженились, она плакала и потом все двадцать лет плакала — глаза на мокром месте. И все она сидит и думает, думает. А о чем думает, спрашивается? О чем женщина может думать? Ни о чем. Я женщину, признаться, не считаю за человека.

Частный поверенный поднялся порывисто и сел.

— Извините, мне что-то душно стало,— сказал он.— Я выйду.

Жмухин, продолжая говорить о женщинах, в сенях вынул засов, и оба вышли наружу. Как раз над двором плыла по небу полная луна, и при лунном свете дом и сараи казались белее, чем днем; и по траве между черными тенями протянулись яркие полосы света, тоже белые. Направо далеко видна степь, над нею тихо горят звезды — и все таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над степью навалились одна на другую тяжелые грозовые тучи, черные, как сажа; края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на вершинах, темные леса, море; вспыхивает молния, доносится тихий гром, и кажется, что в горах идет сражение...

Около самой усадьбы маленькая ночная сова кричит монотонно: «Сплю! сплю!»

— Который теперь час? — спросил гость.

— Второй в начале.

— Как еще далеко до рассвета, однако!

Вернулись в дом и опять легли. Надо было спать, и обыкновенно перед дождем так славно спится, но старику захотелось важных, серьезных мыслей; хоте-

лось ему не просто думать, а размышлять. И он размышлял о том, что хорошо бы, ввиду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая так незаметно и бесследно поглощает дни за днями, годы за годами; придумать бы для себя какой-нибудь подвиг, например, пойти бы пешком куда-нибудь далеко-далеко, отказаться бы от мяса, как этот молодой человек. И он опять воображал себе то время, когда не будут убивать животных, воображал ясно, отчетливо, точно сам переживал это время; но вдруг в голове опять все перепуталось и все стало неясно.

Гроза прошла мимо, но тучи захватили краем, дождь шел и тихо стучал по крыше. Жмухин встал и, охая от старости, потягиваясь, посмотрел в залу. Заметив, что гость не спит, он сказал:

— У нас на Кавказе, знаете ли, один полковник тоже был вегетарианцем. Не ел мяса, никогда не охотился и не позволял своим людям рыбу ловить. Конечно, я понимаю. Всякое животное должно жить на свободе, пользоваться жизнью; только не понимаю, как может свинья ходить где ей угодно, без присмотра...

Гость поднялся и сел. Его бледное, помятое лицо выражало досаду и усталость; видно было, что он замучился, и только кротость и деликатность души мешали ему высказать на словах свою досаду.

— Уже рассвет,— сказал он кротко.— Велите, пожалуйста, дать мне лошадь.

— Что так? Погодите, дождь пройдет.

— Нет, прошу вас,— проговорил гость умоляюще, с испугом.— Мне необходимо сейчас же.

И он стал торопливо одеваться.

Когда подали лошадь, уже восходило солнце. Дождь только что перестал, облака быстро бежали, голубых просветов становилось все больше и больше на небе. Внизу в лужицах робко отсвечивали первые лучи. Частный поверенный проходил со своим портфелем через сени, чтобы сесть в тарантас, и в это время жена Жмухина, бледная и, казалось, бледнее, чем вчера, заплаканная, смотрела на него внимательно, не мигая, с наивным выражением, как у девочки, и было видно по ее скорбному лицу, что она завидует его свободе,—

ах, с каким бы наслаждением она сама уехала отсюда! — и что ей нужно сказать ему что-то, должно быть спросить совета насчет детей. И какая жалкая! Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга, а скорее приживалка, бедная, никому не нужная родственница, ничтожество... Ее муж, суетясь, не переставая разговаривать и все забегая вперед, провожал гостя, а она пугливо и виновато жалась к стене и все ждала удобной минуты, чтобы заговорить.

— Милости просим в другой раз! — повторял старик без умолку.— Чем богаты, тем и рады, знаете ли!

Гость сел в тарантас торопливо, видимо с большим удовольствием и точно боясь, что вот-вот его задержат. Тарантас по-вчерашнему запрыгал, завизжал, застучало неистово ведро, привязанное к задку. Частный поверенный оглянулся на Жмухина с каким-то особенным выражением; было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать его печенегом или как-нибудь иначе, но кротость пересилила, он удержался и ничего не сказал. Но в воротах вдруг не вытерпел, приподнялся и крикнул громко и сердито:

— Вы мне надоели!

И скрылся за воротами.

Около сарая стояли сыновья Жмухина: старший держал ружье, у младшего был в руках серый петушок с ярким красивым гребнем. Младший изо всей силы подбросил петушка, тот взлетел выше дома и перевернулся в воздухе, как голубь; старший выстрелил, и петушок упал, как камень.

Старик, смущенный, не зная, как и чем объяснить этот странный, неожиданный окрик гостя, не спеша пошел в дом. И сидя тут за столом, он размышлял долго о теперешнем направлении умов, о всеобщей безнравственности, о телеграфе, о телефоне, о велосипедах, о том, как все это не нужно, успокоился мало-помалу, потом закусил не спеша, выпил пять стаканов чаю и лег спать.

В РОДНОМ УГЛУ

I

Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя, без одной тени и, похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает, наконец... Около станции пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску,— это так приятно после вагона,— и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой, громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием. Степь, степь — и больше ничего; вдали старый курган или ветряк; везут на волах каменный уголь... Птицы, в одиночку, низко носятся над равниной, и мерные движения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел час-другой, а все степь, степь, и все курган вдали. Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие, о прошлом не хочется думать...

За Верой Ивановной Кардиной выехали на тройке. Кучер уложил вещи и стал поправлять сбрую.

— Все, как было,— сказала Вера, оглядываясь.— В последний раз я была здесь еще девочкой, лет десять назад. Помню, выезжал за мной тогда старик Борис. Что, он жив еще?

Кучер ничего не ответил и только сердито, по-хохлацки поглядел на нее и полез на козлы.

Нужно было проехать от станции верст тридцать, и Вера тоже поддалась обаянию степи, забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно; ей, здоровой, умной, красивой, молодой — ей было только двадцать три года,— недоставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы.

Степь, степь... Лошади бегут, солнце все выше, и кажется, что тогда, в детстве, степь не бывала в июне такой богатой, такой пышной; травы в цвету — зеленые, желтые, лиловые, белые, и от них и от нагретой земли идет аромат; и какие-то странные синие птицы по дороге... Вера давно уже отвыкла молиться, но теперь шепчет, превозмогая дремоту:

— Господи, дай, чтобы мне было здесь хорошо.

А на душе покойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь. Вдруг неожиданно глубокий овраг, поросший молодым дубом и ольхой; потянуло влагой,— должно быть, ручей внизу. На этой стороне, у самого края оврага, вспорхнула с шумом стая куропаток. Вера вспомнила, что когда-то к этому оврагу ходили по вечерам гулять; значит, уже усадьба близко! И вот в самом деле виднеются вдали тополи, клуня; в стороне черный дым: это жгут старую солому. Вот тетя Даша идет навстречу и машет платком; дедушка на террасе. Боже, какая радость!

— Милая! милая! — говорила тетя, вскрикивая, как в истерике.— Приехала наша настоящая хозяйка! Пойми, ведь ты наша хозяйка, наша королева! Тут все твое! Милая, красавица, я не тетка, а твоя послушная раба!

У Веры никого не было родных, кроме дедушки и тети; мать умерла уже давно, отец, инженер, умер три месяца назад в Казани, проездом из Сибири. Дедушка был с большой седой бородой, толстый, красный, с одышкой и ходил, выпятив вперед живот и опираясь на палку. Тетя, дама лет сорока двух, одетая в модное платье с высокими рукавами, сильно стянутая в талии, очевидно, молодилась и еще хотела нравиться; ходила она мелкими шагами, и у нее при этом вздрагивала спина.

— Ты будешь нас любить?— говорила она, обнимая Веру.— Ты не гордая?

По желанию дедушки отслужили благодарственный молебен, потом долго обедали,— и для Веры началась ее новая жизнь. Ей отвели лучшую комнату, снесли туда все ковры, какие только были в доме, поставили много цветов; и когда она вечером легла в свою уютную, широкую, очень мягкую постель и укрылась шелковым одеялом, от которого пахло старым лежалым платьем, то засмеялась от удовольствия. Тетя Даша пришла на минутку, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

— Вот ты и приехала, слава богу,— сказала она, садясь на постель.— Как видишь, живем хорошо, лучше и не нужно. Только вот одно: дедушка твой плох! Беда, как плох! Задыхается и уж забываться стал. А ведь — помнишь? — какое здоровье, какая сила! Неукротимый был человек... Прежде, бывало, чуть прислуга не угодит или что, как вскочит и — «Двадцать пять горячих! Розог!» А теперь присмирел и не слыхать его. И то сказать, не те времена теперь, душечка; бить нельзя. Оно, конечно, зачем бить, но и распускать тоже не следует.

— Тетя, а их теперь бьют? — спросила Вера.

— Приказчик, случается, бьет, а я нет. Бог с ними! И дедушка твой, по старой памяти, иной раз замахнется палкой, но бить не бьет.

Тетя Даша зевнула и перекрестила рот, потом правое ухо.

— Здесь не скучно жить? — спросила Вера.

— Как тебе сказать? Помещики теперь перевелись, не живут тут; но зато понастроили кругом заводов, душечка, и тут этих инженеров, докторов, штейгеров — сила! Конечно, спектакли, концерты, но больше все карты. И к нам ездят. Бывает у нас доктор Нещапов, из завода, такой красивый, интересный! В твою фотографию влюбился. Я уж и решила: ну, думаю, это Верочкина судьба. Молодой, красивый, со средствами — партия, одним словом. Ну, да ведь и ты у меня невеста хоть куда. Фамилии хорошей, имение наше заложено, но — что ж? — зато устроено, не запущено; моя тут есть часть, но все тебе останется; я твоя

послушная раба. И покойный мой брат, папочка твой, пятнадцать тысяч оставил... Ну, однако, я вижу, у тебя глазки слипаются. Спи, деточка.

На другой день Вера долго гуляла около дома. Сад старый, некрасивый, без дорожек, расположенный неудобно, по скату, был совершенно заброшен: должно быть, считался лишним в хозяйстве. Много ужей. Удоды летали под деревьями и кричали — «у-ту-тут!» таким тоном, как будто хотели о чем-то напомнить. Внизу была река, поросшая высоким камышом, а за рекой, в полуверсте от берега,— деревня. Из сада Вера пошла в поле; глядя вдаль, думая о своей новой жизни в родном гнезде, она все хотела понять, что ждет ее. Этот простор, это красивое спокойствие степи говорили ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть; в сущности, тысячи людей сказали бы: какое счастье быть молодой, здоровой, образованной, жить в собственной усадьбе! И в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала ее, и минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто. Она молода, изящна, любит жизнь; она кончила в институте, выучилась говорить на трех языках, много читала, путешествовала с отцом,— но неужели все это только для того, чтобы в конце концов поселиться в глухой степной усадьбе и изо дня в день, от нечего делать, ходить из сада в поле, из поля в сад и потом сидеть дома и слушать, как дышит дедушка? Но что же делать? Куда деваться? И никак она не могла дать себе ответа, и когда возвращалась домой, то думала, что едва ли здесь она будет счастлива и что ехать со станции сюда гораздо интереснее, чем жить здесь.

Приехал из завода доктор Нещапов. Он был врачом, но года три назад взял на заводе пай и стал одним из хозяев и теперь не считал медицину своим главным делом, хотя и занимался практикой. Наружно это был бледный, стройный брюнет в белом жилете; понять же, что у него в душе и в голове, было трудно. Здороваясь, он поцеловал у тети Даши руку и потом то и дело вскакивал, чтобы подать стул или уступить место, все время был очень серьезен и молчал, и если начинал говорить,

то почему-то первую фразу его нельзя было расслышать и понять, хотя говорил он правильно и не тихо.

— Вы изволите играть на рояле? — спросил он у Веры и вдруг вскочил, так как она уронила платок.

Просидел он с полудня до двенадцати часов ночи молча и очень не понравился Вере; ей казалось, что белый жилет в деревне — это дурной тон, а изысканная вежливость, манеры и бледное серьезное лицо с темными бровями были приторны; и ей казалось, что постоянно молчал он потому, вероятно, что был недалек. Тетя же, когда он уехал, сказала радостно:

— Ну, что? Не правда ли, прелесть?

II

Тетя Даша занималась хозяйством. Сильно затянутая, звеня браслетами на обеих руках, она ходила то в кухню, то в амбар, то на скотный мелкими шагами, и спина у нее вздрагивала; и когда она говорила с приказчиком или с мужиками, то почему-то всякий раз надевала pince-nez. Дедушка сидел все на одном месте и раскладывал пасьянс или дремал. За обедом и за ужином он ел ужасно много; ему подавали и сегодняшнее, и вчерашнее, и холодный пирог, оставшийся с воскресенья, и людскую солонину, и он все съедал с жадностью, и от каждого обеда у Веры оставалось такое впечатление, что когда потом она видела, как гнали овец или везли с мельницы муку, то думала: «Это дедушка съест». Большею частью он молчал, погруженный в еду или пасьянс; но, случалось, за обедом, при взгляде на Веру, он умилялся и говорил нежно:

— Внучка моя единственная! Верочка!

И слезы блестели у него на глазах. Или вдруг лицо у него багровело, шея надувалась, он со злобой глядел на прислугу и спрашивал, стуча палкой:

— Почему хрену не подали?

Зимою он вел совершенно неподвижную жизнь, летом же иногда ездил в поле, чтобы взглянуть на овсы и на травы, и, вернувшись, говорил, что без него везде беспорядки, и замахивался палкой.

— Не в духе твой дедушка,— шептала тетя Даша.— Ну, да теперь ничего, а прежде не дай бог: «Двадцать пять горячих! Розог!»

Тетя жаловалась, что все обленились, никто ничего не делает и что имение не приносит никакого дохода. В самом деле, никакого сельского хозяйства не было; пахали и сеяли немного, только по привычке, и, в сущности, ничего не делали, жили праздно. Между тем весь день ходили, считали, хлопотали; беготня в доме начиналась с пяти часов утра, и постоянно слышалось «подай», «принеси», «сбегай», и прислуга обыкновенно к вечеру уже выбивалась из сил. У тети каждую неделю менялись кухарки и горничные; то она рассчитывала их за безнравственность, то они сами уходили, говоря, что замучились. Из своих деревенских никто не шел служить, и приходилось нанимать дальних. Из своих жила одна только девушка Алена и не уходила потому, что на ее жалованье кормилась дома все семья — старухи и дети. Эта Алена, маленькая, бледная, глуповатая, весь день убирала комнаты, служила за столом, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она возится, стучит сапогами и только мешает в доме; из страха, как бы ее не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду, и у нее вычитали из жалованья, а потом ее мать и бабушка приходили и кланялись тете Даше в ноги.

Раз в неделю, а иногда и чаще, приезжали гости. Тетя входила к Вере и говорила:

— Ты бы посидела с гостями, а то подумают, что ты гордая.

Вера шла к гостям и играла с ними подолгу в винт или играла на рояле, а гости танцевали; тетя, веселая, тяжело дыша от танцев, подходила к ней и шептала:

— Будь поласковей с Марьей Никифоровной.

Шестого декабря, в Николин день, приехало сразу много гостей, человек тридцать; играли в винт до поздней ночи, и многие остались ночевать. С утра опять засели за карты, потом обедали, и когда после обеда Вера пошла к себе в комнату, чтобы отдохнуть от разговоров и от табачного дыма, то и там были гости, и

она едва не заплакала с отчаяния. И когда вечером все они стали собираться домой, то от радости, что они, наконец, уезжают, она сказала:

— Вы бы еще посидели!

Гости утомляли ее и стесняли; и в то же время,— это бывало почти каждый день,— едва начинало темнеть, как ее уже тянуло из дому, и она уезжала в гости куда-нибудь на завод или к соседям-помещикам; и там игра в карты, танцы, фанты, ужины... Молодые люди, служащие на заводах и шахтах, иногда пели малороссийские песни, и очень недурно. Становилось грустно, когда они пели. Или сходились все в одну комнату и тут в сумерках говорили о шахтах, о кладах, зарытых когда-то в степи, о Саур-Могиле... Во время разговора в позднее время, случалось, вдруг доносилось «ка-ра-у-ул!». Это пьяный шел или грабили кого-нибудь по соседству в шахтах. Или же в печах завывал ветер, хлопали ставни, потом немного погодя слышался тревожный звон в церкви: это начиналась метель.

На всех вечерах, пикниках и обедах неизменно самой интересной женщиной была тетя Даша и самым интересным мужчиной доктор Нещапов. На заводах и в усадьбах читали очень мало, играли только марши и польки, и молодежь всегда горячо спорила о том, чего не понимала, и это выходило грубо. Спорили горячо и громко, но, странно, нигде в другом месте Вера не встречала таких равнодушных и беззаботных людей, как здесь. Казалось, что у них нет ни родины, ни религии, ни общественных интересов. Когда говорили о литературе или решали какой-нибудь отвлеченный вопрос, то по лицу Нещапова видно было, что это его нисколько не интересует и что уже давно, очень давно он не читал ничего и читать не хочет. Он, серьезный, без выражения, точно дурно написанный портрет, постоянно в белом жилете, по-прежнему все молчал и был непонятен; но дамы и барышни находили его интересным и были в восторге от его манер и завидовали Вере, которая ему, по-видимому, очень нравилась. И Вера всякий раз уезжала из гостей с досадой и давала себе слово сидеть дома; но проходил день, наступал вечер, и она снова спешила на завод, и так почти всю зиму.

Она выписывала книги и журналы и читала у себя в комнате. И по ночам читала, лежа в постели. Когда часы в коридоре били два или три и когда уже от чтения начинали болеть виски, она садилась в постели и думала. Что делать? Куда деваться? Проклятый, назойливый вопрос, на который давно уже готово много ответов и, в сущности, нет ни одного.

О, как это, должно быть, благородно, свято, картинно — служить народу, облегчать его муки, просвещать его. Но она, Вера, не знает народа. И как подойти к нему? Он чужд ей, неинтересен, она не выносит тяжелого запаха изб, кабацкой брани, немытых детей, бабьих разговоров о болезнях. Идти по сугробам, зябнуть, потом сидеть в душной избе, учить детей, которых не любишь,— нет, лучше умереть! И учить мужицких детей в то время, как тетя Даша получает доход с трактиров и штрафует мужиков,— какая это была бы комедия! Сколько разговоров про школы, сельские библиотеки, про всеобщее обучение, но ведь если бы все эти знакомые инженеры, заводчики, дамы не лицемерили, а в самом деле верили, что просвещение нужно, то они не платили бы учителям по 15 рублей в месяц, как теперь, и не морили бы их голодом. И школы и разговоры о невежестве — это для того только, чтобы заглушать совесть, так как стыдно иметь пять или десять тысяч десятин земли и быть равнодушным к народу. Вот про доктора Нещапова говорят дамы, что он добрый, устроил при заводе школу. Да, школу построил из старого заводского камня, рублей за восемьсот, и «многая лета» пели ему на освящении школы, а вот небось пая своего не отдаст и небось в голову ему не приходит, что мужики такие же люди, как он, и что их тоже нужно учить в университетах, а не только в этих жалких заводских школах.

И Вера чувствует злобу на себя и на всех. Она берется опять за книгу и хочет читать, но немного погодя опять садится и думает. Сделаться врачом? Но для этого нужно держать экзамен по латинскому языку, и к тому же еще у нее непобедимое отвращение к трупам и болезням. Хорошо бы стать механиком, судьей, командиром парохода, ученым, делать бы что-нибудь

такое, на что уходили бы все силы, физические и душевные, и чтобы утомляться и потом крепко спать ночью; отдать бы свою жизнь чему-нибудь такому, чтобы быть интересным человеком, нравиться интересным людям, любить, иметь свою настоящую семью... Но что делать? С чего начать?

Как-то в одно из воскресений в великом посту тетя зашла к ней рано утром, чтобы взять зонтик. Вера сидела в постели, охватив голову руками, и думала.

— Ты бы, душечка, поехала в церковь,— сказала тетя,— а то подумают, что ты неверующая.

Вера ничего не ответила.

— Я вижу, ты скучаешь, бедняжечка,— сказала тетя, опускаясь на колени перед постелью; она обожала Веру.— Признайся: скучаешь?

— Очень.

— Красавица, королева моя, я твоя послушная раба, я желаю тебе только добра и счастья... Скажи, отчего ты не хочешь идти за Нещапова? Кого же тебе еще нужно, деточка? Извини, милая, перебирать так нельзя, мы не князья... Время уходит, тебе не семнадцать лет... И не понимаю! Он тебя любит, боготворит!

— Ах, господи,— сказала Вера с досадой,— но почем я знаю? Сам он молчит, никогда не говорит ни слова.

— Он стесняется, душечка... А вдруг ты ему откажешь!

И когда потом тетя вышла, Вера стояла среди своей комнаты, не зная, одеваться ей или опять лечь. Противная постель, глянешь в окно — там голые деревья, серый снег, противные галки, свиньи, которых съест дедушка...

«В самом деле,— подумала она,— замуж, что ли!»

III

Два дня тетя ходила с заплаканным, сильно напудренным лицом и за обедом все вздыхала и посматривала на образ. И нельзя было понять, в чем ее горе. Но вот она решилась, вошла к Вере и сказала развязно:

— Это самое, деточка, надо проценты в банк взносить, а арендатор не платит. Позволь заплатить из пятнадцати тысяч, что тебе оставил папочка.

Потом целый день тетя в саду варила вишневое варенье. Алена, с красными от жара щеками, бегала то в сад, то в дом, то на погреб. Когда тетя варила варенье, с очень серьезным лицом, точно священнодействовала, и короткие рукава позволяли видеть ее маленькие, крепкие, деспотические руки, и когда, не переставая, бегала прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будет есть не она, то всякий раз чувствовалось мучительство...

В саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли, но все еще в воздухе держался этот приятный, сладковатый запах. Вера сидела на скамье и смотрела, как новый работник, молодой прохожий солдат, делал, по ее приказанию, дорожки. Он резал лопатой дерн и бросал его в тачку.

— Ты где был на службе? — спросила у него Вера.

— В Бердянске.

— А куда идешь теперь? Домой?

— Никак нет,— ответил работник.— У меня нет дома.

— Но ты где родился и вырос?

— В Орловской губернии. До службы я жил у матери, в доме вотчима; мать — хозяйка, ее уважали, и я при ней кормился. А на службе получил письмо: померла мать... Идти мне теперь домой как будто уж и неохота. Не родной отец, стало быть, и дом чужой.

— А твой родной отец умер?

— Не могу знать. Я незаконнорожденный.

В это время в окне показалась тетя и сказала:

— Иль не фо па парлé о жанс...[1] Иди, любезный, в кухню,— обратилась она к солдату.— Там расскажешь.

А потом, как вчера и всегда, ужин, чтение, бессонная ночь и бесконечные мысли все об одном. В три часа восходило солнце, Алена уже возилась в коридоре, а Вера все еще не спала и старалась читать. Послышался

---

[1] Не надо разговаривать с прислугой (от *франц.*— Il ne faut pas parler aux gens).

скрип тачки: это новый работник пришел в сад... Вера села у открытого окна с книгой, дремала и смотрела, как солдат делал для нее дорожки, и это занимало ее. Дорожки ровные, как ремень, гладкие, и весело воображать, какие они будут, когда их посыплют желтым песком.

Видно было, как в начале шестого часа из дома вышла тетя в розовом капоте, в папильотках. Она постояла на крыльце молча минуты три и потом сказала солдату:

— Возьми свой паспорт, уходи с богом. Я не могу у себя в доме держать незаконнорожденных.

В груди у Веры камнем повернулось тяжелое, злое чувство. Она негодовала, ненавидела тетю; тетя надоела ей до тоски, до отвращения... Но что делать? Оборвать ее на слове? Нагрубить ей? Но какая польза? Положим, бороться с ней, устранить ее, сделать безвредной, сделать так, чтобы дедушка не замахивался палкой, но — какая польза? Это все равно, что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змею. Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности, положение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать — все бесполезно.

Вошла Алена и, низко поклонившись Вере, начала выносить кресла, чтобы выбить из них пыль.

— Нашла время убирать,— сказала с досадой Вера.— Уйди отсюда!

Алена растерялась и от страха не могла понять, что хотят от нее, и стала быстро убирать на комоде.

— Уйди отсюда, тебе говорят! — крикнула Вера, холодея; никогда раньше она не испытывала такого тяжелого чувства.— Уйди!

Алена издала какой-то стон, словно птичий, и уронила на ковер золотые часы.

— Вон отсюда! — крикнула Вера не своим голосом, вскакивая и дрожа всем телом.— Гоните ее вон, она меня замучила! — продолжала она, быстро идя за Аленой по коридору и топоча ногами.— Вон! Розог! Бейте ее!

И потом вдруг опомнилась и опрометью, как была, непричесанная, немытая, в халате и туфлях, бросилась

вон из дому. Она добежала до знакомого оврага и спряталась там в терновнике, чтобы никого не видеть и ее бы не видели. Лежа тут на траве неподвижно, она не плакала, не ужасалась, а, глядя на небо не мигая, рассуждала холодно и ясно, что случилось то, чего нельзя забыть и простить себе в течение всей жизни.

«Нет, довольно, довольно! — думала она.— Пора прибрать себя к рукам, а то конца не будет... Довольно!»

В полдень проезжал через овраг в усадьбу доктор Нещапов. Она видела его и быстро решила, что начнет новую жизнь, заставит себя начать, и это решение успокоило ее. И, провожая глазами стройную фигуру доктора, она сказала, как бы желая смягчить суровость своего решения:

«Он славный... Проживем как-нибудь».

Она вернулась домой. Когда она одевалась, в комнату вошла тетя Даша и сказала:

— Алена тебя встревожила, душечка, я услала ее домой в деревню. Мать ее избила всю и приходила сюда, плакала...

— Тетя,— быстро проговорила Вера,— я выхожу за доктора Нещапова. Только поговорите с ним сами... я не могу...

И опять ушла в поле. И, идя куда глаза глядят, она решила, что, выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга; а это постоянное недовольство и собой и людьми, этот ряд грубых ошибок, которые горой вырастают перед тобою, едва оглянешься на свое прошлое, она будет считать своею настоящею жизнью, которая суждена ей, и не будет ждать лучшей... Ведь лучшей и не бывает! Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни... Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо...

Через месяц Вера жила уже на заводе.

НА ПОДВОДЕ

В половине девятого утра выехали из города.

Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима злая, темная, длинная была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою радостью. Вот уж тринадцать лет, как она учительницей, и не сочтешь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима,— для нее было все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы доехать.

У нее было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что на всем пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога...

О том прошлом, какое было до ее поступления в учительницы, она уже отвыкла вспоминать — и почти все забыла. Когда-то были у нее отец и мать; жили в Москве около Красных ворот, в большой квартире, но

от всей этой жизни осталось в памяти что-то смутное и расплывчатое, точно сон. Отец умер, когда ей было десять лет, потом скоро умерла мать... Был брат офицер, сначала переписывались, потом брат перестал отвечать на письма, отвык. От прежних вещей сохранилась только фотография матери, но от сырости в школе она потускнела, и теперь ничего не видно, кроме волос и бровей.

Когда отъехали версты три, старик Семен, который правил лошадью, обернулся и сказал:

— А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.

— Кто это тебе сказал?

— В трактире Ивана Ионова в газетах читали.

И опять замолчали надолго. Марья Васильевна думала о своей школе, о том, что скоро экзамен и она представит четырех мальчиков и одну девочку. И как раз, пока она думала об экзаменах, ее обогнал помещик Ханов, в коляске четверкой, тот самый, который в прошлом году экзаменовал у нее школу. Поравнявшись, он узнал ее и поклонился.

— Здравствуйте! — сказал он.— Домой изволите ехать?

Этот Ханов, мужчина лет сорока, с поношенным лицом и с вялым выражением, уже начинал заметно стареть, но все еще был красив и нравился женщинам. Он жил в своей большой усадьбе, один, нигде не служил, и про него говорили, что дома он ничего не делал, а только ходил из угла в угол и посвистывал или играл в шахматы со своим старым лакеем. Говорили про него также, что он много пил. В самом деле, в прошлом году на экзамене даже от бумаг, которые он привез с собой, пахло духами и вином. Тогда на нем все было новенькое, и Марье Васильевне он очень нравился, и, сидя рядом с ним, она все конфузилась. Она привыкла видеть у себя экзаменаторов холодных, рассудительных, а этот не помнил ни одной молитвы и не знал, о чем спрашивать, и был чрезвычайно вежлив и деликатен, и ставил одни пятерки.

— А я к Баквисту еду,— продолжал он, обращаясь к Марье Васильевне,— но, говорят, его нет дома?

С шоссе свернули на проселочную дорогу: Ханов впереди, Семен за ним. Четверка ехала по дороге, шагом, с напряжением вытаскивая из грязи тяжелый экипаж. Семен лавировал, объезжая дорогу, то по бугру, то по лугу, часто спрыгивая с телеги и помогая лошади. Марья Васильевна думала все о школе, о том, какая будет задача на экзамене — трудная или легкая. И ей было досадно на земскую управу, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки! Вот уже два года, как она просит, чтобы уволили сторожа, который ничего не делает, грубит ей и бьет учеников, но ее никто не слушает. Председателя трудно застать в управе, а если застанешь, то он говорит со слезами на глазах, что ему некогда; инспектор бывает в школе раз в три года и ничего не смыслит в деле, так как раньше служил по акцизу и место инспектора получил по протекции; училищный совет собирается очень редко и неизвестно, где собирается; попечитель — малограмотный мужик, хозяин кожевенного заведения, неумен, груб и в большой дружбе со сторожем,— и бог знает, к кому обращаться с жалобами и за справками...

«Он в самом деле красив»,— подумала она, взглянув на Ханова.

А дорога все хуже и хуже... Въехали в лес. Тут уж сворачивать негде, колеи глубокие, и в них льется и журчит вода. И колючие ветви бьют по лицу.

— Какова дорога? — спросил Ханов и засмеялся.

Учительница смотрела на него и не понимала: зачем этот чудак живет здесь? Что могут дать ему в этой глуши, в грязи, в скуке его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность? Он не получает никаких преимуществ от жизни и вот так же, как Семен, едет шагом, по отвратительной дороге, и терпит такие же неудобства. Зачем жить здесь, если есть возможность жить в Петербурге, за границей? И казалось бы, что стоит ему, богатому человеку, из этой дурной дороги сделать хорошую, чтобы не мучиться так и не видеть этого отчаяния, какое написано на лицах у кучера и Семена; но он только смеется, и, по-видимому, для него все равно и лучшей жизни ему не нужно. Он добр, мягок, наивен, не понимает этой грубой жизни, не знает ее так же, как на экзамене не

знал молитв. Жертвует он в школы одни только глобусы и искренно считает себя полезным человеком и видным деятелем по народному образованию. А кому нужны тут его глобусы!

— Держись, Васильевна! — сказал Семен.

Телега сильно накренилась — сейчас упадет; на ноги Марьи Васильевны навалилось что-то тяжелое — это ее покупки. Крутой подъем на гору, по глине; тут в извилистых канавах текут с шумом ручьи, вода точно изгрызла дорогу — и уж как тут ехать! Лошади храпят. Ханов вылез из коляски и идет по краю дороги в своем длинном пальто. Ему жарко.

— Какова дорога? — сказал он опять и засмеялся.— Этак экипаж сломать недолго.

— А кто ж вам велит в такую погоду ездить! — проговорил Семен сурово.— И сидели бы дома.

— Дома, дед, скучно. Я не люблю дома сидеть.

Около старого Семена он казался стройным, бодрым, но в походке его было что-то такое, едва заметное, что выдавало в нем существо уже отравленное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг запахло вином. Марье Васильевне стало страшно и стало жаль этого человека, погибающего неизвестно для чего и почему, и ей пришло на мысль, что если бы она была его женой или сестрой, то всю свою жизнь, кажется, отдала бы за то, чтобы спасти его от гибели. Быть женой? Жизнь устроена так, что вот он живет у себя в большой усадьбе один, она живет в глухой деревне одна, но почему-то даже мысль о том, что он и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелепой. В сущности, вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце.

«И непонятно,— думала она,— зачем красоту, эту приветливость, грустные, милые глаза бог дает слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем они так нравятся».

— Здесь нам поворачивать вправо,— сказал Ханов, садясь в коляску.— Прощайте! Всего хорошего!

И опять она думала о своих учениках, об экзамене, о стороже, об училищном совете; и когда ветер доносил

справа шум удалявшейся коляски, то эти мысли мешались с другими. Хотелось думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какого никогда не будет...

Быть женой? Утром холодно, топить печи некому, сторож ушел куда-то; ученики поприходили чуть свет, нанесли снегу и грязи, шумят; все так неудобно, неуютно. Квартира из одной комнатки, тут же и кухня. После занятий каждый день болит голова, после обеда жжет под сердцем. Нужно собирать с учеников деньги на дрова, на сторожа и отдавать их попечителю, и потом умолять его, этого сытого, наглого мужика, чтобы он, ради бога, прислал дров. А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцом, и всего она боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается сесть, и когда говорит про кого-нибудь из них, то выражается почтительно: «они». И никому она не нравится, и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых. В ее положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась!

— Держись, Васильевна!

Опять крутой подъем на гору...

В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания; и никогда она не думала о призвании, о пользе просвещения, и всегда ей казалось, что самое главное в ее деле не ученики и не просвещение, а экзамены. И когда тут думать о призвании, о пользе просвещения? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как все время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили ее подолгу только молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны; те же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своем призвании, об идейном служении, скоро утомлялись и бросали дело.

Семен выбирал, как бы проехать посуше и поближе, где лугом, где задами; но там, гляди, мужики не пускают, там попова земля, нет проезда, там Иван Ионов

купил у барина участок и окопал его канавой. То и дело поворачивали назад.

Приехали в Нижнее Городище. Около трактира, на унавоженной земле, под которой был еще снег, стояли подводы: везли большие бутыли с купоросным маслом. В трактире было много народа, всё извозчики, и пахло тут водкой, табаком и овчиной. Шел громкий разговор, хлопали дверью на блоке. За стеной в лавочке, не умолкая ни на минуту, играли на гармонике. Марья Васильевна сидела и пила чай, а за соседним столом мужики, распаренные чаем и трактирной духотой, пили водку и пиво.

— Слышь, Кузьма! — раздавались беспорядочно голоса.— Чего там! Господи благослови! Иван Дементьич, я это тебе могу! Сват, гляди!

Мужик маленького роста, с черной бородкой, рябой, уже давно пьяный, вдруг удивился чему-то и нехорошо выбранился.

— Чего ругаешься там? Ты! — отозвался сердито Семен, сидевший далеко в стороне.— Нешто не видишь: барышня!

— Барышня...— передразнил кто-то в другом углу.

— Ворона свинячая!

— Мы ничего...— сконфузился маленький мужик.— Извините. Мы, стало быть, за свои деньги, а барышня за свои... Здравствуйте!

— Здравствуй,— ответила учительница.

— И чувствительно вас благодарим.

Марья Васильевна пила чай с удовольствием и сама становилась красной, как мужики, и думала опять о дровах, о стороже...

— Сват, погоди! — доносилось с соседнего стола.— Учительша из Вязовья... знаем! Барышня хорошая.

— Порядочная!

Дверь на блоке все хлопала, одни входили, другие выходили. Марья Васильевна сидела и думала все про то же, а гармоника за стеной все играла и играла. Солнечные пятна были на полу, потом перешли на прилавок, на стену и совсем исчезли; значит, солнце уже склонилось за полдень. Мужики за соседним столом стали собираться в путь. Маленький мужик, слегка

пошатываясь, подошел к Марье Васильевне и подал ей руку; глядя на него, и другие тоже подали руку на прощанье и вышли один за другим, и дверь на блоке провизжала и хлопнула девять раз.

— Васильевна, собирайся! — окликнул Семен.

Поехали. И опять все шагом.

— Недавнушко школу строили тут, в ихнем Нижнем Городище,— сказал Семен, оборачиваясь.— Греха-то что было!

— А что?

— Будто председатель себе в карман тысячу, и попечитель тоже тысячу, и учитель пятьсот.

— Вся-то школа стоит тысячу. Нехорошо на людей клеветать, дед. Это все вздор.

— Я не знаю... Что народ, то и я.

Но было ясно, что Семен не верил учительнице. Ей крестьяне не верили; они всегда так думали, что она получает слишком большое жалованье — двадцать один рубль в месяц (было бы довольно и пяти), и что из тех денег, которые она собирала с учеников на дрова и на сторожа, бóльшую часть она оставляла себе. Попечитель думал так же, как все мужики, и сам кое-что наживал с дров и за свое попечительство получал с мужиков жалованье, тайно от начальства.

Лес, слава богу, кончился, и теперь до самого Вязовья будет ровное поле. И осталось уже немного: переехать реку, потом железнодорожную линию, а там и Вязовье.

— Куда же ты едешь? — спросила Марья Васильевна у Семена.— Поезжай правой дорогой на мост.

— Чего? И тут проедем. Глыбина не очень чтоб.

— Смотри, как бы нам лошадь не утопить.

— Чего?

— Вот и Ханов поехал на мост,— сказала Марья Васильевна, увидев далеко вправо четверку.— Это, кажется, он едет?

— О-он. Должно, не застал Баквиста. Экой дурэлом, господи помилуй, туда поехал, и зачем, тут на цельных три версты ближе.

Подъехали к реке. Летом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно

пересыхала к августу, теперь же, после половодья, это была река саженей в шесть ширины, быстрая, мутная, холодная; на берегу и у самой воды видны были свежие колеи,— значит, здесь проезжали.

— Вперед! — крикнул Семен сердито и с тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями.— Вперед!

Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод.

— Вперед! — закричала и она, поднимаясь.— Вперед!

Выехали на берег.

— И что оно такое, это самое, господи,— бормотал Семен, поправляя сбрую.— Чистое наказание с эстим земством...

Калоши и башмаки были полны воды, низ платья и шубки и один рукав были мокры, и текло с них; сахар и мука оказались подмоченными — и это было обиднее всего, и с отчаяния Марья Васильевна только всплескивала руками и говорила:

— Ах, Семен, Семен!.. Какой же ты, право!..

На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум: со станции шел курьерский поезд. Марья Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдет, и дрожала всем телом от холода. Было уже видно Вязовье — и школу с зеленой крышей и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце; и окна на станции тоже горели, и из локомотива шел розовый дым... И ей казалось, что все дрожит от холода.

Вот он — поезд; окна отливали ярким светом, как кресты на церкви, больно было смотреть. На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в

светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой:

— Мама!

И заплакала, неизвестно отчего. В это время как раз подъезжал на четверке Ханов, и она, видя его, вообразила счастье, какого никогда не было, и улыбалась, кивала ему головой, как равная и близкая, и казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество. Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжелый, странный сон, а теперь она проснулась...

— Васильевна, садись!

И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу. Четверка переехала линию, за ней Семен. Сторож на переезде снял шапку.

— А вот и Вязовье. Приехали.

У ЗНАКОМЫХ

Рассказ

Утром пришло письмо:

«Милый Миша, Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее, мы хотим Вас видеть. Умоляем Вас обе на коленях, приезжайте сегодня, покажите Ваши ясные очи. Ждем с нетерпением.

Та и *Ва.*

Кузьминки, 7 июня».

Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет десять — двенадцать назад, когда Подгорин живал в Кузьминках, называли сокращенно Та. Но кто же Ва? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романы, прогулки по вечерам и целый цветник девушек и молодых женщин, живших когда-то в Кузьминках и около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо с веснушками, которые так шли к темно-рыжим волосам,— это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она кончила на медицинских курсах и служит где-то за Тулой, на фабрике, и теперь, очевидно, приехала в Кузьминки погостить.

«Милая Ва! — думал Подгорин, отдаваясь воспоминаниям.— Какая она славная!»

Татьяна, Варя и он были почти одних лет; но тогда он был студентом, а они уже взрослыми девушками-невестами, и на него смотрели как на мальчика. И теперь, хотя он был уже адвокатом и начинал седеть, они все

еще называли его Мишей и считали молодым и говорили, что он еще ничего не испытал в жизни.

Он любил их очень, но больше, кажется, любил в своих воспоминаниях, чем так. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо и это короткое, игривое письмо, которое, вероятно, сочиняли долго, с напряжением, и когда Татьяна писала, то за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергеич... Кузьминки пошли в приданое только шесть лет назад, но уже разорены этим самым Сергеем Сергеичем, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк или по закладным, к Подгорину обращаются за советом, как к юристу, и мало того, уже два раза просили у него взаймы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег.

Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. Грустно там. Нет уже ни смеха, ни шума, ни веселых, беспечных лиц, ни свиданий в тихие лунные ночи, а главное, нет уже молодости; да и все это, вероятно, очаровательно только в воспоминаниях... Кроме Та и Ва, там есть еще На, сестра Татьяны, Надежда, которую в шутку и серьезно называли его невестой; она выросла на его глазах, рассчитывали, что он на ней женится, и одно время он был влюблен в нее и собирался сделать предложение, но вот ей уже двадцать четвертый год, а он все еще не женился...

«Как все это сложилось, однако,— думал он теперь, в смущении перечитывая письмо.— А не поехать нельзя, обидятся...»

То, что он давно уже не был у Лосевых, камнем лежало у него на совести. И, походив по комнате, подумав, он сделал над собой усилие и решил поехать к ним дня на три, отбыть эту повинность и потом быть свободным и покойным по крайней мере до будущего лета. И, собираясь после завтрака на Брестский вокзал, он сказал прислуге, что вернется через три дня.

От Москвы до Кузьминок было два часа езды и потом от станции на лошадях минут двадцать. Уже со станции виден был лес Татьяны и три высоких, узких дачи, которые начал строить и не достроил Лосев, пускавшийся в первые годы после женитьбы на разные аферы. Разорили его и эти дачи, и разные хозяйствен-

ные предприятия, и частые поездки в Москву, где он завтракал в «Славянском базаре», обедал в «Эрмитаже» и кончал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган (это называл он «встряхнуться»). Подгорин сам и выпивал, иногда помногу, и бывал у женщин без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия, и им овладевало брезгливое чувство, когда в его присутствии этому отдавались со страстью другие, и он не понимал людей, которые на Живодерке чувствуют себя свободнее, чем дома, около порядочных женщин, и не любил таких людей; ему казалось, что всякая нечистота пристает к ним, как репейник. И Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, и в его обществе не раз испытывал брезгливое чувство...

Тотчас за лесом его встретили Сергей Сергеич и Надежда.

— Дорогой мой, что же это вы нас забыли? — говорил Сергей Сергеич, целуясь с ним три раза и потом держа его за талию обеими руками. — Вы нас совсем разлюбили, дружище.

У него были крупные черты, толстый нос, негустая русая борода; волосы он зачесывал набок, по-купечески, чтобы казаться простым, чисто русским. Он, когда говорил, дышал собеседнику прямо в лицо, а когда молчал, то дышал носом, тяжело. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышать, все выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид. Рядом с ним Надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была светлая блондинка, бледная, с добрыми, ласковыми глазами, стройная; красивая или нет — Подгорин понять не мог, так как знал ее с детства и пригляделся к ее наружности. Теперь она была в белом платье, с открытой шеей, и это впечатление белой, длинной, голой шеи было для него ново и не совсем приятно.

— Мы с сестрой ждем вас с утра, — сказала она. — У нас Варя, и тоже ждет вас.

Она взяла его под руку и вдруг засмеялась без причины и издала легкий, радостный крик, точно была внезапно очарована какою-то мыслью. Поле с цветущей

рожью, которое не шевелилось в тихом воздухе, и лес, озаренный солнцем, были прекрасны; и было похоже, что Надежда заметила это только теперь, идя рядом с Подгориным.

— Я приехал к вам на три дня, — сказал он. — Простите, раньше никак не мог выбраться из Москвы.

— Нехорошо, нехорошо, забыли нас совсем, — говорил Сергей Сергеич с добродушной укоризной. — Jamais de ma vie![1] — сказал он вдруг и щелкнул пальцами.

У него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору, и при этом щелкать пальцами. И всегда он подражал кому-нибудь; если закатывал глаза, или небрежно откидывал назад волосы, или впадал в пафос, то это значило, что накануне он был в театре или на обеде, где говорили речи. Теперь он шел, как подагрик, мелкими шагами, не сгибая колен, — должно быть, тоже подражал кому-то.

— Знаете, Таня не верила, что вы приедете, — сказала Надежда. — У меня же и у Вари было предчувствие; я почему-то знала, что вы приедете именно с этим поездом

— Jamais de ma vie! — повторил Сергей Сергеич.

В саду на террасе поджидали дамы. Десять лет назад Подгорин — он был тогда бедным студентом — преподавал Надежде математику и историю за стол и квартиру; и Варя, курсистка, кстати брала у него уроки латинского языка. А Таня, тогда уже красивая, взрослая девушка, ни о чем не думала, кроме любви, и хотела только любви и счастья, страстно хотела, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи. И теперь, когда ей было уже более тридцати лет, такая же красивая, видная, как прежде, в широком пеньюаре, с полными, белыми руками, она думала только о муже и о своих двух девочках, и у нее было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, но все же она себе на уме, все же она на страже своей любви и своих прав на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа и детей.

---

[1] Никогда в жизни! (*франц.*)

Она любила сильно и, казалось ей, была любима взаимно, но ревность и страх за детей мучили ее постоянно и мешали ей быть счастливой.

После шумной встречи на террасе все, кроме Сергея Сергеича, пошли в комнату Татьяны. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета. Подгорина усадили в старое кресло у окна, Надежда села у его ног, на низкой скамеечке. Он знал, что кроме ласковых попреков, шуток, смеха, которые слышались теперь и так напоминали ему прошлое, будет еще неприятный разговор о векселях и закладных, — этого не миновать, — и подумал, что, пожалуй, было бы лучше поговорить о делах теперь же, не откладывая; отделаться поскорее и — потом в сад, на воздух...

— Не поговорить ли нам сначала о делах? — сказал он. — Что у вас тут в Кузьминках новенького? Все ли благополучно в датском королевстве?

— Нехорошо у нас в Кузьминках, — ответила Татьяна и печально вздохнула. — Ах, наши дела так плохи, так плохи, что хуже, кажется, и быть не может, — сказала она и в волнении прошлась по комнате. — Имение наше продается, торги назначены на седьмое августа, уже везде публикации, и покупатели приезжают сюда, ходят по комнатам, смотрят... Всякий теперь имеет право входить в мою комнату и смотреть. Юридически это, быть может, справедливо, но это меня унижает, оскорбляет глубоко. Платить нам нечем и взять взаймы уже негде. Одним словом, ужасно, ужасно! Клянусь вам,— продолжала она, останавливаясь среди комнаты, голос ее дрожал, и из глаз брызнули слезы,— клянусь вам всем святым, счастьем моих детей, без Кузьминок я не могу! Я здесь родилась, это мое гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу, я умру с отчаяния.

— Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите,— сказал Подгорин.— Все обойдется. Ваш муж будет служить, вы войдете в новую колею, будете жить по-новому.

— Как вы можете это говорить! — крикнула Татьяна; теперь она казалась очень красивой и сильной, и то,

что она каждую минуту была готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа, детей и гнездо, было выражено на ее лице и во всей фигуре особенно резко.— Какая там новая жизнь! Сергей хлопочет, ему обещали место податного инспектора где-то там в Уфимской или Пермской губернии, и я готова куда угодно, хоть в Сибирь, я готова жить там десять, двадцать лет, но я должна знать, что рано или поздно я все-таки вернусь в Кузьминки. Без Кузьминок я не могу. И не могу и не хочу. Не хочу! — крикнула она и топнула ногой.

— Вы, Миша, адвокат,— сказала Варя,— вы крючок, и это ваше дело посоветовать, что делать.

Был только один ответ, справедливый и разумный: «ничего нельзя сделать», но Подгорин не решился сказать это прямо и пробормотал нерешительно:

— Надо будет подумать... Я подумаю.

В нем было два человека. Как адвокату ему случалось вести дела грубые, в суде и с клиентами он держался высокомерно и выражал свое мнение всегда прямо и резко, с приятелями покучивал грубо, но в своей личной, интимной жизни, около близких или давно знакомых людей он обнаруживал необыкновенную деликатность, был застенчив и чувствителен и не умел говорить прямо. Достаточно было одной слезы, косого взгляда, лжи или даже некрасивого жеста, как он весь сжимался и терял волю. Теперь Надежда сидела у его ног, и ее голая шея ему не нравилась, и это его смущало, даже хотелось уехать домой. Как-то, год назад, он встретился с Сергеем Сергеичем у одной барыни на Бронной, и теперь ему неловко было перед Татьяной, точно он сам участвовал в измене. А этот разговор о Кузьминках поставил его в большое затруднение. Он привык к тому, что все щекотливые и неприятные вопросы решались судьями, или присяжными, или просто какой-нибудь статьей закона; когда же вопрос предлагали ему лично, на его разрешение, то он терялся.

— Миша, вы наш друг, все мы вас любим, как своего,— продолжала Татьяна,— и я вам скажу откровенно: на вас вся надежда. Научите, бога ради, что нам

делать? Может быть, нужно подать куда-нибудь прошение? Может быть, еще не поздно перевести имение на имя Нади или Вари?.. Что делать?

— Выручайте, Миша, выручайте,— сказала Варя, закуривая.— Вы всегда были умницей. Вы мало жили, еще ничего не испытали в жизни, но у вас на плечах хорошая голова... Вы поможете Тане, я знаю.

— Надо подумать... Может быть, придумаю что-нибудь.

Пошли гулять в сад, потом в поле. Гулял и Сергей Сергеич также. Он взял Подгорина под руку и все уводил его вперед, видимо собираясь поговорить с ним о чем-то, вероятно о плохих делах. А идти рядом с Сергеем Сергеичем и говорить с ним было мучительно. Он то и дело целовался, и все по три раза, брал под руку, обнимал за талию, дышал в лицо, и казалось, что он покрыт сладким клеем и сейчас прилипнет к вам; и это выражение в глазах, что ему что-то нужно от Подгорина, что он о чем-то сейчас попросит, производило тягостное впечатление, как будто он прицеливался из револьвера.

Зашло солнце, стало темнеть. По линии железной дороги там и сям зажглись огни, зеленые, красные... Варя остановилась и, глядя на эти огни, стала читать:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их!..

— Как дальше? Ах, боже мой, забыла все!

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной...

Она читала великолепным грудным голосом, с чувством; на лице у нее загорелся живой румянец, и на глазах показались слезы. Это была прежняя Варя, Варя-курсистка, и, слушая ее, Подгорин думал о прошлом и вспоминал, что и сам он, когда был студентом, знал наизусть много хороших стихов и любил читать их.

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит...

Но дальше Варя не помнила... Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась, и после ее чтения зеленые и красные огни стали казаться печальными...

— Эх, забыла!

Зато Подгорин вдруг вспомнил,— как-то случайно уцелело у него в памяти со студенчества,— и прочел тихо, вполголоса:

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную,—
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...
Жаль только...

— Жаль только,— перебила его Варя, вспомнив,— жаль только, жить в эту пору прекрасную уже не придется ни мне, ни тебе!

И она засмеялась и хлопнула его рукой по плечу.

Вернулись домой и сели ужинать. Сергей Сергеич небрежно ткнул угол салфетки за ворот, подражая кому-то.

— Давайте выпьем,— сказал он, наливая водки себе и Подгорину.— Мы, старые студенты, умели и выпить, и красно говорить, и дело делать. Пью за ваше здоровье, дружище, а вы выпейте за здоровье старого дуралея-идеалиста и пожелайте ему, чтобы он так идеалистом и умер. Горбатого могила исправит.

Татьяна все время за ужином посматривала нежно на мужа, ревнуя и беспокоясь, как бы он не съел или не выпил чего-нибудь вредного. Ей казалось, что он избалован женщинами, устал,— это ей нравилось в нем, и в то же время она страдала. Варя и Надя также были нежны с ним и смотрели на него с беспокойством, точно боялись, что он вдруг возьмет и уйдет от них. Когда он хотел налить себе вторую рюмку, Варя сделала сердитое лицо и сказала:

— Вы отравляете себя, Сергей Сергеич. Вы нервный, впечатлительный человек и легко можете стать алкоголиком. Таня, вели убрать водку.

Вообще Сергей Сергеич имел большой успех у женщин. Они любили его рост, сложение, крупные черты лица, его праздность и его несчастья. Они говорили, что

он очень добр, и потому расточителен; он идеалист, и потому непрактичен; он честен, чист душой, не умеет приспособляться к людям и обстоятельствам, и потому ничего не имеет и не находит себе определенных занятий. Ему они верили глубоко, обожали его и избаловали его своим поклонением, так что он сам стал верить, что он идеалист, непрактичен, честен, чист душой и что он на целую голову выше и лучше этих женщин.

— Что же вы не похвалите моих девочек? — говорила Татьяна, глядя с любовью на своих двух девочек, здоровых, сытых, похожих на булки, и накладывая им полные тарелки рису.— Вы только вглядитесь в них! Говорят, что все матери хвалят своих детей, но, уверяю вас, я беспристрастна, мои девочки необыкновенные. Особенно старшая.

Подгорин улыбался ей и девочкам, но ему было странно, что эта здоровая, молодая, неглупая женщина, в сущности такой большой, сложный организм, всю свою энергию, все силы жизни расходует на такую несложную, мелкую работу, как устройство этого гнезда, которое и без того уже устроено.

«Может быть, это так и нужно,— думал он,— но это не интересно и не умно».

— Он ахнуть не успел, как на него медведь насел,— сказал Сергей Сергеич и щелкнул пальцами.

Поужинали. Татьяна и Варя посадили Подгорина в гостиной на диване и стали говорить с ним вполголоса, опять о делах.

— Мы должны выручить Сергея Сергеича,— сказала Варя,— это наша нравственная обязанность. Он имеет свои слабости, он небережлив, не думает о черном дне, но это оттого, что он очень добр и щедр. Душа у него совсем детская. Если дать ему миллион, то через месяц же у него ничего не останется, все раздаст.

— Правда, правда,— сказала Татьяна, и слезы потекли у нее по щекам.— Я настрадалась с ним, но должна сознаться, это чудный человек.

И обе они, Татьяна и Варя, не могли удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть Подгорина:

— А ваше поколение, Миша, уже не то!

«А при чем тут поколение? —подумал Подгорин.— Ведь Лосев старше меня лет на шесть, не больше...»

— Не легко жить на этом свете,— сказала Варя и вздохнула.— Человеку постоянно угрожает какая-нибудь потеря. То хотят отнять у тебя имение, то заболел кто-нибудь из близких и боишься, как бы он не умер,— и так изо дня в день. Но что делать, друзья мои. Надо без ропота подчиняться высшей воле, надо помнить, что на этом свете ничто не случайно, все имеет свои отдаленные цели. Вы, Миша, еще мало жили и мало страдали, и вы будете смеяться надо мной; смейтесь, но я все-таки скажу: в пору моих самых жгучих тревог у меня было несколько случаев ясновидения, и это произвело в моей душе переворот, и теперь я знаю, что ничто не случайно и все, что происходит в нашей жизни, необходимо.

Как эта Варя, уже седая, затянутая в корсет, в модном платье с высокими рукавами, Варя, вертящая папиросу длинными худыми пальцами, которые почему-то дрожат у нее, Варя, легко впадающая в мистицизм, говорящая так вяло и монотонно,— как она не похожа на Варю-курсистку, рыжую, веселую, шумную, смелую...

«И куда оно все девалось!» — думал Подгорин, слушая ее со скукой.

— Спойте, Ва, что-нибудь,— сказал он ей, чтобы прекратить этот разговор об ясновидении.— Когда-то вы хорошо пели.

— Э, Миша, что было, то быльем поросло.

— Ну, из Некрасова прочтите.

— Все забыла. Давеча это у меня нечаянно вышло.

Несмотря на корсет и высокие рукава, было заметно, что она нуждалась и у себя на фабрике за Тулой жила впроголодь. И было очень заметно, что она заработалась; тяжелый, однообразный труд и это ее постоянное вмешательство в чужие дела, заботы о других переутомили и состарили ее, и Подгорин, глядя теперь на ее печальное, уже поблекшее лицо, думал, что, в сущности, следовало бы помочь не Кузьминкам и не Сергею Сергеичу, за которых она так хлопочет, а ей самой.

Высшее образование и то, что она стала врачом, казалось, не коснулись в ней женщины. Она так же, как Татьяна, любила свадьбы, роды, крестины, длинные разговоры о детях, любила страшные романы с благоприятной развязкой, в газетах читала только про пожары, наводнения и торжественные церемонии; ей очень хотелось, чтобы Подгорин сделал предложение Надежде, и если бы это случилось, то она расплакалась бы от умиления.

Он не знал, произошло ли это случайно, или так устроила Варя,— он остался один с Надеждой, но одно подозрение, что за ним наблюдают и что от него чего-то хотят, стесняло и смущало его, и возле Надежды он чувствовал себя так, как будто его посадили вместе с ней в одну клетку.

— Пойдемте в сад,— сказала она.

Они пошли в сад: он — недовольный, с досадным чувством, не зная, о чем говорить с ней; а она — радостная, гордая его близостью, очевидно довольная, что он проживет здесь еще три дня, и полная, быть может, сладких грез и надежд. Ему было неизвестно, любит ли она его, но он знал, что она привыкла и привязалась к нему уже давно и все еще видит в нем своего учителя, и что теперь у нее на душе происходит то же, что когда-то происходило у ее сестры Татьяны, то есть она думает только о любви, о том, как бы поскорее выйти замуж, иметь мужа, детей и свой угол. Чувство дружбы, которое бывает так сильно в детях, она сохранила до сих пор, и очень возможно, что она только уважала Подгорина и любила как друга, влюблена же была не в него, а в эти свои мечты о муже и детях.

— Становится темно,— сказал он.

— Да. Луна восходит теперь поздно.

Они ходили все по одной аллее, около дома. Подгорину не хотелось идти в глубь сада: там темно, пришлось бы взять Надежду под руку, быть очень близко к ней. На террасе двигались какие-то тени, и ему казалось, что это Татьяна и Варя наблюдают за ним.

— Мне нужно с вами посоветоваться,— сказала Надежда, останавливаясь.— Если Кузьминки продадут,

то Сергей Сергеич поедет служить, и тогда наша жизнь должна измениться совершенно. Я не поеду с сестрой, мы расстанемся, потому что я не хочу быть бременем для ее семьи. Надо работать. Я поступлю в Москве куда-нибудь, буду зарабатывать, помогать сестре и ее мужу. Вы поможете мне советом, не правда ли?

Совершенно незнакомая с трудом, она теперь была воодушевлена мыслью о самостоятельной трудовой жизни, строила планы будущего — это было написано на ее лице, и та жизнь, когда она будет работать и помогать другим, казалась ей прекрасной, поэтичной. Он видел близко ее бледное лицо и темные брови и вспоминал, какая это была умная, сметливая ученица, с какими хорошими задатками и как приятно было давать ей уроки. И теперь, вероятно, это была не просто барышня, которая хочет жениха, а умная, благородная девушка, доброты необыкновенной, с кроткой, мягкой душой, из которой, как из воска, можно слепить все что угодно, и, попади она в подходящую среду, из нее вышла бы превосходная женщина.

«Отчего бы и не жениться на ней в самом деле?» — подумал Подгорин, но тотчас же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому.

В гостиной за роялью сидела Татьяна, и ее игра живо напоминала прошлое, когда в этой самой гостиной играли, пели и танцевали до глубокой ночи, при открытых окнах, и птицы в саду и на реке тоже пели. Подгорин развеселился, стал шалить, протанцевал и с Надеждой и с Варей, потом пел. Его стесняла мозоль на ноге, и он попросил позволения надеть туфли Сергея Сергеича и, странное дело, в туфлях почувствовал себя своим человеком, родным («Точно зять...»—мелькнуло у него в мыслях), и ему стало еще веселей. Глядя на него, все ожили, повеселели, точно помолодели; у всех лица засияли надеждой: Кузьминки спасены! Ведь это так просто сделать: стоит только придумать что-нибудь, порыться в законах или Наде выйти за Подгорина... И, очевидно, дело уже идет на лад. Надя, розовая, счастливая, с глазами, полными слез, в ожидании чего-то необыкновенного, кружилась в танце, и белое платье ее надувалось, и видны были ее маленькие, красивые ноги

в чулках телесного цвета... Варя, очень довольная, взяла Подгорина под руку и сказала ему вполголоса, с значительным выражением:

— Миша, не бегите своего счастья. Берите его, пока оно само дается вам в руки, а потом и сами побежите за ним, да уж будет поздно, не догоните.

Подгорину хотелось обещать, обнадежить, и уже он сам верил, что Кузьминки спасены и что это так просто сделать.

— «И бу-удешь ты царицей ми-ира...» — запел он, становясь в позу, но вдруг вспомнил, что ничего не может сделать для этих людей, решительно ничего, и притих, как виноватый.

И потом сидел в углу молча, поджимая ноги, обутые в чужие туфли.

Глядя на него, и остальные поняли, что сделать уже ничего нельзя, и притихли. Закрыли рояль. И все заметили, что уже поздно, пора спать, и Татьяна погасила в гостиной большую лампу.

Подгорину была приготовлена постель в том самом флигеле, где он жил когда-то. Сергей Сергеич пошел проводить его, держа высоко над головой свечу, хотя уже восходила луна и было светло. Они шли по аллее между кустами сирени, и у обоих под ногами шуршал гравий.

— Он ахнуть не успел, как на него медведь насел,— сказал Сергей Сергеич.

И Подгорину казалось, что эту фразу он слышал уже тысячу раз. Как она ему надоела! Когда пришли во флигель, Сергей Сергеич достал из своего просторного пиджака бутылку и две рюмки и поставил их на стол.

— Это коньяк,— сказал он.— Номер ноль-ноль. Там в доме Варя, пить при ней нельзя, сейчас начнет об алкоголизме, а здесь нам вольготно. Коньяк великолепный.

Сели. Коньяк в самом деле оказался хорошим.

— Давайте выпьем сегодня основательно,— продолжал Сергей Сергеич, закусывая лимоном.— Я, старый бурш, люблю иногда встряхнуться. Это необходимо.

А в глазах было все то же выражение, что ему что-то нужно от Подгорина и что он о чем-то сейчас попросит.

— Выпьем, душа моя,— продолжал он, вздыхая,— а то уж очень тяжко стало. Нашему брату-чудаку конец пришел, крышка. Идеализм теперь не в моде. Теперь царит рубль, и если хочешь, чтобы не спихнули с дороги, то распластайся перед рублем и благоговей. Но я не могу. Уж очень претит!

— Когда назначены торги? — спросил Подгорин, чтобы переменить разговор.

— На седьмое августа. Но я вовсе не рассчитываю, дорогой мой, спасать Кузьминки. Недоимка скопилась громадная, и имение не приносит никакого дохода, только убытки каждый год. Не стоит того... Тане, конечно, жаль, это ее родовое, а я, признаться, даже рад отчасти. Я совсем не деревенский житель. Мое поле — большой, шумный город, моя стихия — борьба!

Он говорил еще, но все не то, что хотел, и зорко следил за Подгориным, как бы выжидая удобного момента. И вдруг Подгорин увидел близко его глаза, почувствовал на лице его дыхание...

— Дорогой мой, спасите меня! — проговорил Сергей Сергеич, тяжело дыша.— Дайте мне двести рублей! Я вас умоляю!

Подгорин хотел сказать, что он сам стеснен в деньгах, и подумал, что лучше эти двести рублей отдать какому-нибудь бедняку или просто даже проиграть в карты, но страшно сконфузился и, чувствуя себя в этой маленькой комнатке с одной свечой, как в ловушке, желая отделаться поскорее от этого дыхания, от мягких рук, которые держали его за талию и, казалось, уже прилипли, стал быстро искать в карманах свою записную книжку, где были деньги.

— Вот...— пробормотал он, вынимая сто рублей.— Остальные потом. Больше при мне ничего нет. Видите, я не умею отказывать,— продолжал он с раздражением, начиная сердиться.— У меня несносный бабий характер. Только, пожалуйста, потом возвратите мне эти деньги. Я сам нуждаюсь.

— Благодарю вас. Благодарю, дружище!

— И, ради бога, перестаньте воображать, что вы

идеалист. Вы такой же идеалист, как я индюк. Вы просто легкомысленный, праздный человек, и больше ничего.

Сергей Сергеич глубоко вздохнул и сел на диван.

— Вы, дорогой мой, сердитесь,— сказал он,— но если бы вы знали, как мне тяжело! Я переживаю теперь ужасное время. Дорогой мой, клянусь, мне не себя жаль, нет! Мне жаль жены и детей. Если бы не дети и не жена, то я давно бы уже покончил с собой.

И вдруг плечи и голова у него затряслись, и он зарыдал.

— Этого еще недоставало,— сказал Подгорин, в волнении ходя по комнате и чувствуя сильную досаду.— Ну вот, что прикажете делать с человеком, который наделал массу зла и потом рыдает? Эти ваши слезы обезоруживают, я не в силах ничего сказать вам. Вы рыдаете, значит вы правы.

— Я сделал массу зла? — спросил Сергей Сергеич, поднимаясь и с удивлением глядя на Подгорина.— Дорогой мой, вы ли это говорите? Я сделал массу зла?! О, как вы меня мало знаете! Как вы меня мало понимаете!

— Прекрасно, пусть я вас не понимаю, только, пожалуйста, не рыдайте. Это противно.

— О, как вы меня мало знаете! — повторял Лосев совершенно искренно.— Как вы меня мало знаете!

— Посмотрите на себя в зеркало,— продолжал Подгорин,— вы уже не молодой человек, скоро будете стары, пора же наконец одуматься, отдать себе хоть какой-нибудь отчет, кто вы и что вы. Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, ломанья, кривлянья — неужели у вас у самого голова еще не закружилась и не надоело так жить? Тяжело с вами! Скучно с вами до одурения!

Сказавши это, Подгорин вышел из флигеля и хлопнул дверью. Едва ли это не в первый раз в жизни он был искренен и говорил то, что хотел.

Немного погодя он уже жалел, что был так суров. Какая польза говорить серьезно или спорить с человеком, который постоянно лжет, много ест, много пьет, тратит много чужих денег и в то же время убежден, что он идеалист и страдалец? Тут имеется дело с глупостью

или со старыми дурными привычками, которые крепко въелись в организм, как болезнь, и уже неизлечимы. Во всяком случае, негодование и суровые попреки тут бесполезны, и скорее нужно смеяться; одна хорошая насмешка сделала бы гораздо больше, чем десяток проповедей!

«Проще же вовсе не обращать внимания,— подумал Подгорин,— а главное, не давать денег».

А погодя еще немного он уже не думал ни о Сергее Сергеиче, ни о своих ста рублях. Была тихая, задумчивая ночь, очень светлая. Когда в лунные ночи Подгорин смотрел на небо, то ему казалось, что бодрствуют только он да луна, все же остальное спит или дремлет; и на ум не шли ни люди, ни деньги, и настроение мало-помалу становилось тихим, мирным, он чувствовал себя одиноким на этом свете, и в ночной тишине звук его собственных шагов казался ему таким печальным.

Сад был обнесен белым каменным забором. В стороне, обращенной в поле, на правом углу стояла башня, построенная очень давно, еще в крепостное право. Низ был каменный, а верх деревянный с площадкой, с конической крышей и с длинным шпилем, на котором чернел флюгер. Внизу были две двери, так что из сада можно было пройти в поле, и снизу вверх на площадку вела лестница, которая скрипела под ногами. Под лестницей были свалены старые поломанные кресла, и лунный свет, проникая теперь в дверь, освещал эти кресла, и они со своими кривыми, задранными вверх ножками, казалось, ожили к ночи и кого-то подстерегали здесь в тишине.

Подгорин взошел по лестнице на площадку и сел. Тотчас за забором была межевая канава с валом, а дальше было поле, широкое, залитое лунным светом. Подгорин знал, что как раз прямо, верстах в трех от усадьбы, был лес, и теперь ему казалось, что он видит вдали темную полосу. Кричали перепела и дергачи; и изредка со стороны леса доносился крик кукушки, которая тоже не спала.

Послышались шаги. Кто-то шел по саду, приближаясь к башне.

Залаяла собака.

— Жук! — тихо позвал женский голос.— Жук, назад!

Слышно было, как внизу вошли в башню, и через минуту на валу показалась черная собака, старая знакомая Подгорина. Она остановилась и, глядя вверх, в ту сторону, где сидел Подгорин, дружелюбно замахала хвостом. А потом немного погодя из черной канавы, как тень, поднялась белая фигура и тоже остановилась на валу. Это была Надежда.

— Что ты там видишь? — спросила она у собаки и стала смотреть вверх.

Она не видела Подгорина, но, вероятно, чувствовала его близость, так как улыбалась, и ее бледное лицо, освещенное луной, казалось счастливым. Черная тень от башни, тянувшаяся по земле далеко в поле, неподвижная белая фигура с блаженной улыбкой на бледном лице, черная собака, тени обеих — и все вместе точно сон...

— Там кто-то есть...— тихо проговорила Надежда.

Она стояла и ждала, что он сойдет вниз или позовет ее к себе и наконец объяснится, и оба они будут счастливы в эту тихую прекрасную ночь. Белая, бледная, тонкая, очень красивая при лунном свете, она ждала ласки; ее постоянные мечты о счастье и любви истомили ее, и уже она была не в силах скрывать своих чувств, и ее вся фигура, и блеск глаз, и застывшая счастливая улыбка выдавали ее сокровенные мысли; а ему было неловко, он сжался, притих, не зная, говорить ли ему, чтобы все по обыкновению разыграть в шутку, или молчать, и чувствовал досаду, и думал только о том, что здесь, в усадьбе, в лунную ночь, около красивой, влюбленной, мечтательной девушки он так же равнодушен, как на Малой Бронной,— и потому, очевидно, что эта поэзия отжила для него так же, как та грубая проза. Отжили и свидания в лунные ночи, и белые фигуры с тонкими талиями, и таинственные тени, и башни, и усадьбы, и такие «типы», как Сергей Сергеич, и такие, как он сам, Подгорин, со своей холодной скукой, постоянной досадой, с неуменьем приспособляться к действительной жизни, с неуменьем брать от нее то, что она может дать, и с томительной, ноющей жаждой того, чего

нет и не может быть на земле. И теперь, сидя здесь, на этой башне, он предпочел бы хороший фейерверк, или какую-нибудь процессию при лунном свете, или Варю, которая опять прочла бы «Железную дорогу», или другую женщину, которая, стоя на валу, там, где стоит теперь Надежда, рассказывала бы что-нибудь интересное, новое, не имеющее отношения ни к любви, ни к счастью, а если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда...

— Никого нет,— сказала Надежда.

И, постояв еще минуту, она пошла по направлению к лесу, тихо, понурив голову. Собака побежала впереди. И Подгорин долго еще видел белое пятно.

«Как это все сложилось, однако...» — повторял он мысленно, возвращаясь к себе во флигель.

Он не мог себе представить, о чем он будет завтра говорить с Сергеем Сергеичем, с Татьяной, как будет держать себя с Надеждой, и послезавтра тоже,— и заранее испытывал смущение, страх и скуку. Чем наполнить эти длинные три дня, которые он обещал прожить здесь? Ему припомнились разговор об ясновидении и фраза Сергея Сергеича: «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»,— вспомнил он, что завтра, в угоду Татьяне, придется улыбаться ее сытым, пухлым девочкам,— и решил уехать.

В половине шестого на террасе большого дома показался Сергей Сергеич в бухарском халате и в феске с кисточкой. Подгорин, не теряя ни минуты, пошел к нему и стал прощаться.

— Мне необходимо быть в Москве к десяти часам,— говорил он, не глядя на него.— Я совершенно забыл, что меня будут ждать у нотариуса. Отпустите меня, пожалуйста. Когда ваши встанут, скажите им, что я извиняюсь, страшно жалею...

Он не слышал, что говорил ему Сергей Сергеич, и торопился, и все оглядывался на окна большого дома, боясь, как бы дамы не проснулись и не задержали его. Ему было стыдно этой своей нервности. Он чувствовал, что в Кузьминках он уже в последний раз и больше

сюда не приедет, и, уезжая, оглянулся несколько раз на флигель, в котором когда-то было прожито так много хороших дней, но на душе у него было холодно, не стало грустно...

Дома у себя на столе он увидел прежде всего записку, которую получил вчера. «Милый Миша,— прочел он.— Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее...» И почему-то ему вспомнилось, как Надежда кружилась в танце, как раздувалось ее платье и видны были ноги в чулках телесного цвета...

А минут через десять он уже сидел за столом и работал и уже не думал о Кузьминках.

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин.— Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в

своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера,— кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или

читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо.

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах,— ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло,— и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице,— знаете, маленьком лице, как у хорька,— он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем го-

роде стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я,— продолжал Буркин,— в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле,— пища не постная, но и нельзя сказать чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

— Много уж *их* нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.

— Очень уж шумят у нас в классах,— говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству.— Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая,— одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала,— всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!».

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить,— тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду

такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать...— пояснила свою мысль директорша.— Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну, вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко.— Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да

и возраст принять во внимание: тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была не дурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно,— голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик,— проговорил Иван Иваныч.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится,— говорил он мне со слабой кривой улыбочкой,— и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему.—Женитесь, вот и все.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность...

чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом чего доброго попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Scandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю,— говорил он нам, пожимая плечами,— не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому,— это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу,— выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы,— кричит она,— вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

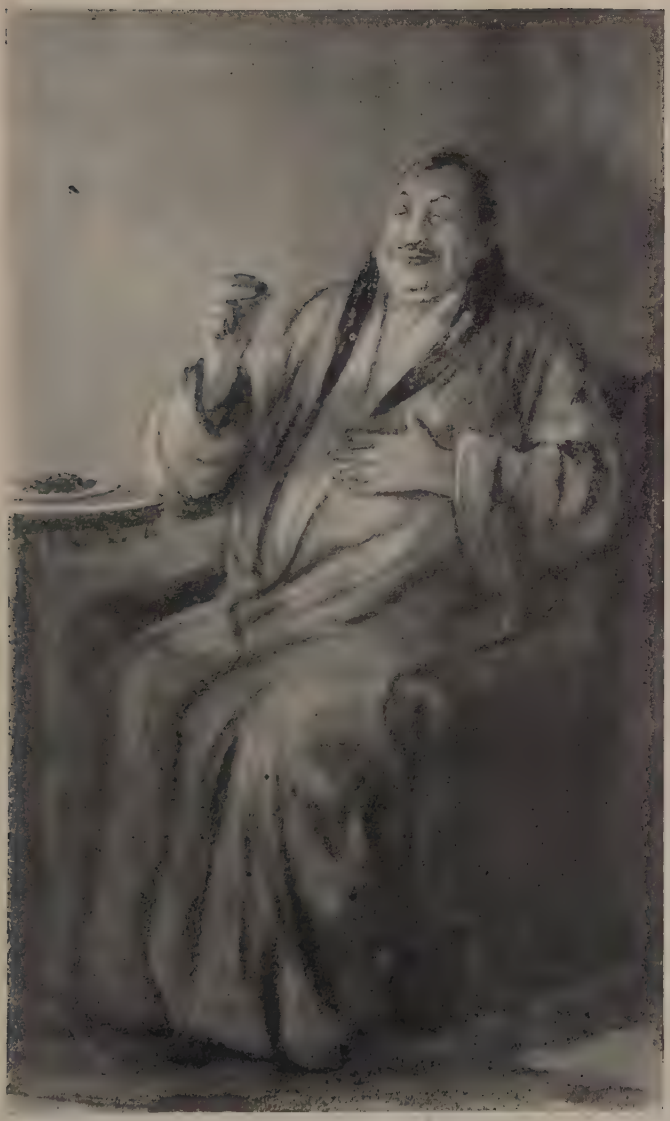
— Позвольте, что же это такое? — спросил он.— Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я.— И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию.— Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз



К рассказу «Крыжовник».
Художник Т. Шишмарева. 1954.

в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу,— проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови: лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке,— напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же, собственно, вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел.—

А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать,— сказал он.— И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой.— Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно,— сказал он, выходя из передней на площадку лестницы.— Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя,— ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал: спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия,— чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть,— сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть,— повторил Иван Иваныч.— А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот, если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать,— сказал Буркин. — До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит,— сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут,—проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок,— и тебя же

называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена,— нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч,— сказал учитель.— Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

КРЫЖОВНИК

Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия,— сказал Буркин,— вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь,— сказал Буркин.— Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом,— сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа,— говорил Алехин, входя за ними в переднюю.— Вот не ожидал! Пелагея,— обратился он к гор-

ничной,— дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся,— говорил он, раздеваясь.— Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь...— проговорил Иван Иваныч значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся...— повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой...— повторял он, наслаждаясь.— Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

— Ах, боже мой...— говорил он.— Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алехин, но

также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата,— начал он,— я, Иван Иваныч, и другой — Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на

зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворешни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства,— говорил он бывало.— Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: a) барский дом, b) людская, c) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с тою же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни, да года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе

умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится: в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы,— сказал Буркин.

— После смерти жены,— продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты,— брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки,— и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед,— того и гляди хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы, и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь?— спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами, и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат «ура», и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться,— говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «Мы, дворяне», «Я как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный

крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами,— он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который, наконец, получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это

общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину,— и все обстоит благополучно.

В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив,— продолжал Иван Иваныч, вставая.— Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина.— Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам, или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч! — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами — говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что́ только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с рез-

ными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

О ЛЮБВИ

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

— Как зарождается любовь, — сказал Алехин, — почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло́, — тут у нас все зовут его мурло́м, — поскольку в любви важны вопросы личного счастья — все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное,

что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, — это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

— Совершенно верно, — согласился Буркин.

— Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или не честно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

— Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, — начал Алехин, — с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду рабо-

тать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке,— какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, все юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку, и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу:

— Дмитрий, как же это так?

Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

— Вы похудели,— сказала она. — Вы были больны?

— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память, и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

— Но сегодня у вас вялый вид,— повторила она.— Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и, если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

— Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что, точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу; и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей,— понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог

увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или, просто, если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, — и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили

о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

— Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

— Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял,

что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, — оно было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы, и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным

луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — dites que l'on nous donne du thé [1].

[1] скажи, чтобы нам дали чаю (*франц.*).

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, малопомалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать...

— Недурственно...—тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы

приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду,— сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно»,— подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

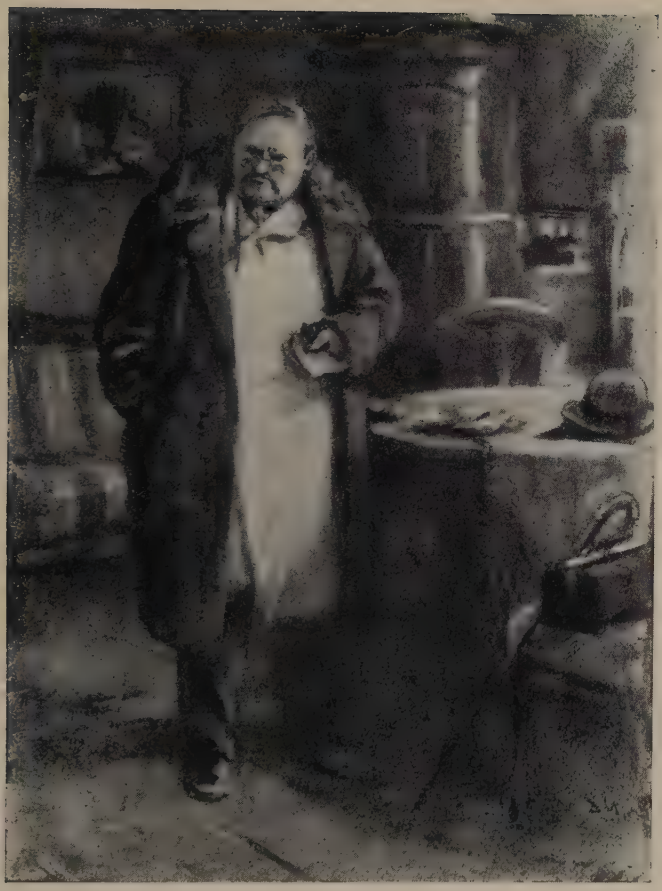
— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле,— говорил он, идя за ней,— потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю,— продолжал Старцев,— а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.



К рассказу «Ионыч».
Художник Д. Миньков. 1954.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с —ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись?— спросил он теперь.— Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ»,— ответила Котик.— А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому.— Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера,— прочел Старцев,— будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно,— подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности,— думал он.— Котик тоже странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет»,— и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое,— мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с

осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота,— уже было темно, как в осеннюю ночь,— потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах,— сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало»,— думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну, что ж? — думал он.— И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней,— продолжал кусочек,— то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну, что ж? — думал он. — В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего,— сказал Иван Петрович,— поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску,— он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище,—начал Старцев.—Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно,— сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас,— выговорил наконец Старцев,— будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч,— сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав.— Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но...— она встала и продолжала стоя,— но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно.

Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех...— у нее слезы навернулись на глазах,— я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено,— он не ожидал отказа,— и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским

больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу,—

это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; както не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно, — сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, — продолжала она нервно, — я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, — бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу

привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А нука, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е. Т.».

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Иоычем. «Куда это Иоыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Иоыча?»

Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о́ пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то чего доброго рассердится вдруг и станет стучать палкой о́ пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За Королевым выслали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!», «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце,— отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое неве-

жество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор,— говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шепот.— Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в pince-nez, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое

сердцебиение, что все в доме не спали; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая,— рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой.— Доктора говорят — нервы, но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, не причесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам,— начал Королев,— пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку,— большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение,— сказала она.— Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Королев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце, как следует,— сказал он,— все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ла-

сковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты опять... ты опять,— говорила она, прижимая к себе дочь.— Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Королев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, стоит ли плакать? — сказал он ласково.— Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал:

«Замуж бы ее пора...»

— Наш фабричный доктор давал ей кали-броматы,— сказала гувернантка,— но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного,— сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери.— Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса,— сказал он,— надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам.— Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога,— продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь,— переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно... На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза; у Лялькова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шепот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйте закусить! — позвала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро

кушала и говорила, поглядывая на него через pince-nez:

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные, и когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины,— сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцать лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии,— говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие.— Пожалуйста, кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно, и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет и в сыром воздухе ясно обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровы, и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, корен-

ная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно...— думал он, глядя на багровые окна.— Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...» Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...» Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...» И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами и рабочими и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но все же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается,— это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы. но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев.

— Жак... жак...— раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой,— жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло все кругом.

Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Королев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите,— сказал он.— На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он.

Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стуки? — спросил он.

— Не знаю. Меня тут все беспокоит,— ответила она и задумалась.— Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат,— продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво,— я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Королев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они

так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев.— Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот,— правы они или нет,— будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно,— сказал Королев и засмеялся.— Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако,— сказал он.— Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами,— продолжал он, пожимая ей руку.— Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила и все с таким выражением, как

будто хотела сказать ему что-то особенное, важное,— только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке.

ДУШЕЧКА

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием.— Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше,— и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую, наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» — и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и когда под утро он возвращался

домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние, улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она.— Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки,

хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славненький!— говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы.— Какой ты у меня хорошенький!

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом.— Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька.— Ванечка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду и, как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь.— Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что

с нею шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна,— говорил он степенно, с сочувствием в голосе,— и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов,— говорила она покупателям и знакомым.— Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками.— Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка,

кругляк, тес, шелевка, безымянка, решотник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И все вы дома или в конторе,— говорили знакомые.— Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васечкой некогда по театрам ходить,— отвечала она степенно.— Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо,— говорила Оленька знакомым,— слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васечкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало.

Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси'вас господи,— говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы.— Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная...

И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось все понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа.— Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но

о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володечка, о чем же мне говорить?

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на

Улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома, и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно?

Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом,— и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости.— Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться,— рассказывал он.— Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму,— заволновалась Оленька и опять заплакала.— Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми гла-

зами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки.— Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется,— прочел он,— часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши...— повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька,— говорит она печально,— вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два боль-

ших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, нетвердо выучил басню,— говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу.— Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться,— рассказывает она на базаре.— Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках,— то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур.... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова,— думает она, начиная дрожать всем телом.— Мать требует Сашу к себе в Харьков... О, господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу»,— думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я ттебе! Пошел вон! Не дерись!

НОВАЯ ДАЧА

I

В трех верстах от деревни Обручановой строился громадный мост. Из деревни, стоявшей высоко на крутом берегу, был виден его решетчатый остов, и в туманную погоду и в тихие зимние дни, когда его тонкие железные стропила и все леса кругом были покрыты инеем, он представлял живописную и даже фантастическую картину. Через деревню проезжал иногда на беговых дрожках или в коляске инженер Кучеров, строитель моста, полный, плечистый, бородатый мужчина в мягкой, помятой фуражке; иногда в праздники приходили босяки, работавшие на мосту; они просили милостыню, смеялись над бабами и, случалось, уносили что-нибудь. Но это бывало редко; обыкновенно же дни проходили тихо и спокойно, как будто постройки не было вовсе, и только по вечерам, когда около моста светились костры, ветер слабо доносил песню босяков. И днем иногда слышался печальный металлический звук: дон... дон... дон...

Как-то к инженеру Кучерову приехала его жена. Ей понравились берега реки и роскошный вид на зеленую долину с деревушками, церквами, стадами, и она стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли и выстроил здесь дачу. Муж послушался. Купили двадцать десятин земли и на высоком берегу, на полянке, где раньше бродили обручановские коровы, построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами, с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвивался флаг,— построили в какие-нибудь три месяца

и потом всю зиму сажали большие деревья, и когда наступила весна и все зазеленело кругом, в новой усадьбе были уже аллеи, садовник и двое рабочих в белых фартуках копались около дома, бил фонтанчик, и зеркальный шар горел так ярко, что было больно смотреть. И уже было название у этой усадьбы: Новая дача.

В ясное, теплое утро, в конце мая, в Обручаново к здешнему кузнецу Родиону Петрову привели перековывать двух лошадей. Это из Новой дачи. Лошади были белые, как снег, стройные, сытые и поразительно похожие одна на другую.

— Чистые лебеди! — проговорил Родион, глядя на них с благоговением.

Его жена Степанида, дети и внуки вышли на улицу, чтобы посмотреть. Мало-помалу собралась толпа. Подошли Лычковы, отец и сын, оба безбородые с рождения, с опухшими лицами и без шапок. Подошел и Козов, высокий худой старик с длинной узкой бородой, с палкой крючком; он все подмигивал своими хитрыми глазами и насмешливо улыбался, как будто знал что-то.

— Только что белые, а что в них? — сказал он.— Поставь моих на овес, такие же будут гладкие. В соху бы их да кнутом...

Кучер только посмотрел на него с презрением, но не сказал ни слова. И пока потом в кузнице разводили огонь, кучер рассказывал, покуривая папиросы. Мужики узнали от него много подробностей: господа у него богатые; барыня Елена Ивановна раньше, до замужества, жила в Москве бедно, в гувернантках; она добрая, жалостливая и любит помогать бедным. В новом имении, рассказывал он, не будут ни пахать, ни сеять, а будут только жить в свое удовольствие, жить только для того, чтобы дышать чистым воздухом. Когда он кончил и повел лошадей назад, за ним шла толпа мальчишек, лаяли собаки, и Козов, глядя вслед, насмешливо подмигивал.

— То-оже помещики! — говорил он.— Дом построили, лошадей завели, а самим небось есть нечего. То-оже помещики!

Козов как-то сразу возненавидел и новую усадьбу, и белых лошадей, и сытого красивого кучера. Это был человек одинокий, вдовец; жил он скучно (работать

ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами), деньги на пропитание получал от сына, служившего в Харькове в кондитерской, и с раннего утра до вечера праздно бродил по берегу или по деревне, и если видел, например, что мужик везет бревно или удит рыбу, то говорил: «Это бревно из сухостоя, трухлявое», или: «В такую погоду не будет клевать». В засуху он говорил, что дождей не будет до самых морозов, а когда шли дожди, то говорил, что теперь все погниет в поле, все пропало. И при этом все подмигивал, как будто знал что-то.

В усадьбе по вечерам жгли бенгальские огни и ракеты, и мимо Обручанова проходила на парусах лодка с красными фонариками. Однажды утром приехала на деревню жена инженера Елена Ивановна с маленькой дочерью в коляске с желтыми колесами, на паре темно-гнедых пони; обе, мать и дочь, были в соломенных шляпах с широкими полями, пригнутыми к ушам.

Это было как раз в навозницу, и кузнец Родион, высокий, тощий старик, без шапки, босой, с вилами через плечо, стоял около своей грязной, безобразной телеги и, оторопев, смотрел на пони, и видно было по его лицу, что он раньше никогда не видел таких маленьких лошадей.

— Кучериха приехала! — слышался кругом шепот.— Гляди, Кучериха приехала!

Елена Ивановна посматривала на избы, как бы выбирая, потом остановила лошадей около самой бедной избы, где в окнах было столько детских голов — белокурых, темных, рыжих. Степанида, жена Родиона, полная старуха, выбежала из избы, платок у нее сполз с седой головы, она смотрела на коляску против солнца, и лицо у нее улыбалось и морщилось, точно она была слепая.

— Это твоим детям,— сказала Елена Ивановна и подала ей три рубля.

Степанида вдруг заплакала и поклонилась в землю; Родион тоже повалился, показывая свою широкую, коричневую лысину, и при этом едва не зацепил вилами свою жену за бок. Елена Ивановна сконфузилась и поехала назад.

II

Лычковы, отец и сын, захватили у себя на лугу двух рабочих лошадей, одного пони и мордатого альгаузского бычка и вместе с рыжим Володькой, сыном кузнеца Родиона, пригнали в деревню. Позвали старосту, набрали понятых и пошли смотреть на потраву.

— Ладно, пускай! — говорил Козов, подмигивая.— Пуска-ай! Пускай теперь повертятся, инженеры-то. Суда нет, думаешь? Ладно! За урядником послать, акт составить!..

— Акт составить! — повторил Володька.

— Этого так оставить я не желаю! — кричал Лычков-сын, кричал все громче и громче, и от этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше.— Моду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете полного права обижать народ! Крепостных теперь нету!

— Крепостных теперь нету! — повторил Володька.

— Жили мы без моста,— проговорил Лычков-отец мрачно,— не просили, зачем нам мост? Не желаем!

— Братцы, православные! Этого так оставить нельзя!

— Ладно, пуска-ай! — подмигивал Козов.— Пускай теперь повертятся! То-оже помещики!

Повернули назад в деревню, и, пока шли, Лычков-сын все время бил себя кулаком по груди и кричал, и Володька тоже кричал, повторяя его слова. А в деревне между тем около породистого бычка и лошадей собралась целая толпа. Бычок был сконфужен и глядел исподлобья, но вдруг опустил морду к земле и побежал, выбрыкивая задними ногами; Козов испугался и замахал на него палкой, и все захохотали. Потом скотину заперли и стали ждать.

Вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, некормленые и непоеные, возвращались домой, понурив головы, как виноватые, точно их вели на казнь.

Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька переплыли на лодке реку и отправились на ту сторону в село Кряково, где был кабак, и долго там

гуляли. Было слышно, как они пели и как кричал молодой Лычков. В деревне бабы не спали всю ночь и беспокоились. Родион тоже не спал.

— Нехорошее дело,— говорил он, ворочаясь с боку на бок и вздыхая.— Осерчает барин, тягайся потом... Обидели барина... ох, обидели, нехорошо...

Как-то мужики, и Родион в их числе, ходили в свой лес делить покос, и когда возвращались домой, им встретился инженер. Он был в красной кумачовой рубахе и в высоких сапогах; за ним следом, высунув длинный язык, шла легавая собака.

— Здравствуйте, братцы! — сказал он.

Мужики остановились и поснимали шапки.

— Я давно уже хочу поговорить с вами, братцы,— продолжал он.— Дело вот в чем. С самой ранней весны каждый день у меня в саду и в лесу бывает ваше стадо. Все вытоптано, свиньи изрыли луг, портят в огороде, а в лесу пропал весь молодняк. Сладу нет с вашими пастухами; их просишь, а они грубят. Каждый день у меня потрава, и я ничего, я не штрафую вас, не жалуюсь, между тем вы загнали моих лошадей и бычка, взяли пять рублей. Хорошо ли это? Разве это по-соседски? — продолжал он, и голос у него был такой мягкий, убедительный и взгляд не суровый.— Разве так поступают порядочные люди? Неделю назад кто-то из ваших срубил у меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу в Ереснево, и теперь мне приходится делать три версты кругу. За что же вы вредите мне на каждом шагу? Что я сделал вам дурного, скажите, бога ради? Я и жена изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии, мы помогаем крестьянам, как можем. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не отказывает в помощи, это ее мечта быть полезной вам и вашим детям. Вы же за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою.

Повернулся и ушел. Мужики постояли еще немного, надели шапки и пошли. Родион, который понимал то, что ему говорили, не так, как нужно, а всегда как-то по-своему, вздохнул и сказал:

— Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой...

До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были дома, всегда сидели рядом и по улице всегда ходили рядом, ели, пили и спали всегда вместе, и чем старше становились, тем сильнее любили друг друга. В избе у них было тесно, жарко, и везде были дети — на полу, на окнах, на печке... Степанида, несмотря на пожилые годы, еще рожала, и теперь, глядя на кучу детей, трудно было разобрать, где Родионовы и где Володькины. Жена Володьки— Лукерья, молодая, некрасивая баба с глазами навыкате и с птичьим носом, месила в кадке тесто; сам Володька сидел на печи, свесив ноги.

— По дороге около Никитовой гречи того... инженер с собачкой...— начал Родион, отдохнув, почесывая себе бока и локти.— Платить, говорит, надо... Монетой, говорит... Монетой не монетой, а уж по гривеннику со двора надо бы. Уж очень обижаем барина. Жалко мне...

— Жили мы без моста,— сказал Володька, ни на кого не глядя,— и не желаем.

— Чего там! Мост казенный.

— Не желаем.

— Тебя и не спросят. Чего ты!

— «Не спросят»...— передразнил Володька.— Нам ездить некуда, на что нам мост? Нужно, так и на лодке переплывем.

Кто-то со двора постучал в окно так сильно, что, казалось, задрожала вся изба.

— Володька дома? — послышался голос Лычковасына.— Володька, выходи, пойдем!

Володька прыгнул с печки и стал искать свою фуражку.

— Не ходи, Володя,— проговорил Родион несмело.— Не ходи с ними, сынок. Ты у нас глупый, словно ребенок малый, а они тебя добру не научат. Не ходи!

— Не ходи, сынок! — попросила Степанида и заморгала глазами, собираясь заплакать.— Небось в кабак зовут.

— «В кабак»...— передразнил Володька.

— Опять пьяный вернешься, ирод собачий! — сказала Лукерья, глядя на него со злобой.— Иди, иди, и чтоб ты сгорел от водки, сатана бесхвостая!

— Ну, ты молчи! — крикнул Володька.

— Выдали меня за дурака, сгубили меня, сироту несчастную, пьяница рыжий...— заголосила Лукерья, утирая лицо рукой, которая была вся в тесте.— Глаза бы мои на тебя не глядели!

Володька ударил ее по уху и вышел.

III

Елена Ивановна и ее маленькая дочь пришли в деревню пешком. Они прогуливались. Как раз было воскресенье, и на улицу повыходили бабы и девушки в своих ярких платьях. Родион и Степанида, сидевшие на крыльце рядышком, кланялись и улыбались Елене Ивановне и ее девочке уже как знакомым. И из окон смотрело на них больше десятка детей; лица выражали недоумение и любопытство, слышался шепот:

— Кучериха пришла! Кучериха!

— Здравствуйте,— сказала Елена Ивановна и остановилась; она помолчала и спросила: — Ну, как поживаете?

— Живем ничего, благодарить бога,— ответил Родион скороговоркой.— Известно, живем.

— Какая наша жизнь! — усмехнулась Степанида.— Сами видите, барыня, голубушка, бедность! Всего семейства четырнадцать душ, а добытчиков двое. Одно звание — кузнецы, а приведут лошадь ковать, угля нет, купить не на что. Замучились, барыня,— продолжала она и засмеялась,— и-их как замучились!

Елена Ивановна села на крыльце и, обняв свою девочку, задумалась о чем-то, и у девочки тоже, судя по ее лицу, бродили в голове какие-то невеселые мысли; в раздумье она играла нарядным кружевным зонтиком, который взяла из рук у матери.

— Бедность!— сказал Родион.— Заботы много, работаем — конца-краю не видать. Вот дождя бог не дает... Неладно живем, что говорить.

— В этой жизни вам тяжело,— сказала Елена Ивановна,— зато на том свете вы будете счастливы.

Родион не понял ее и в ответ только кашлянул в кулак. А Степанида сказала:

— Барыня, голубушка, богатому и на том свете ладно. Богатый свечи ставит, молебны служит, богатый нищим подает, а мужик что? Лба перекрестить некогда, сам нищий-разнищий, уж где там спасаться. И грехов много от бедности, да с горя все, как псы, лаемся, хорошего слова не скажем, и чего не бывает, барыня-голубушка,— не дай бог! Должно, нет нам счастья ни на том, ни на этом свете. Все счастье богатым досталось.

Она говорила весело; очевидно, давно уже привыкла говорить о своей тяжелой жизни. И Родион тоже улыбался; ему было приятно, что у него старуха такая умная, словоохотливая.

— Это только так кажется, что богатым легко,— сказала Елена Ивановна.— У каждого человека свое горе. Вот мы, я и мой муж, живем не бедно, у нас есть средства, но разве мы счастливы? Я еще молода, но у меня уже четверо детей; дети все болеют, я тоже больна, постоянно лечусь.

— А какая в тебе болезнь? — спросил Родион.

— Женская. У меня нет сна, не дают покою головные боли. Я вот сижу, говорю, а в голове нехорошо, слабость во всем теле, и я согласна, пусть лучше самый тяжелый труд, чем такое состояние. И душа тоже неспокойна. Постоянно боишься за детей, за мужа. У каждой семьи есть свое какое-нибудь горе, есть оно и у нас. Я не дворянка. Дед мой был простой крестьянин, отец торговал в Москве и тоже был простой человек. А у моего мужа родители знатные и богатые. Они не хотели, чтобы он женился на мне, но он ослушался, поссорился с ними, и вот они до сих пор не прощают нас. Это беспокоит мужа, волнует, держит в постоянной тревоге; он любит свою мать, очень любит. Ну, и я беспокоюсь. Душа болит.

Около избы Родиона уже стояли мужики и бабы и слушали. Подошел и Козов и остановился, потряхивая своей длинной, узкой бородкой. Подошли Лычковы, отец и сын.

— И то сказать, нельзя быть счастливым и довольным, если не чувствуешь себя на своем месте,— продолжала Елена Ивановна.— Каждый из вас имеет свою полосу, каждый из вас трудится и знает, для чего трудится; муж мой строит мосты, одним словом, у каждого свое место. А я? Я только хожу. Полосы у меня своей нет, я не тружусь и чувствую себя как чужая. Все это я говорю, чтобы вы не судили по наружному виду; если человек одет богато и имеет средства, то это еще не значит, что он доволен своей жизнью.

Она встала, чтобы уходить, и взяла за руку дочь.

— Мне у вас здесь очень нравится,— сказала она и улыбнулась, и по этой слабой, несмелой улыбке можно было судить, как она в самом деле нездорова, как еще молода и как хороша собой; у нее было бледное, худощавое лицо с темными бровями и белокурые волосы. И девочка была такая же, как мать, худощавая, белокурая и тонкая. Пахло от них духами.

— И река нравится, и лес, и деревня...— продолжала Елена Ивановна.— Я могла бы прожить тут всю жизнь, и мне кажется, здесь бы я выздоровела и нашла свое место. Мне хочется, страстно хочется помогать вам, быть вам полезной, близкой. Я знаю вашу нужду, а то, чего не знаю, чувствую, угадываю сердцем. Я больна, слаба, и для меня, пожалуй, уже невозможно изменить свою жизнь, как я хотела бы. Но у меня есть дети, я постараюсь воспитать их так, чтобы они привыкли к вам, полюбили вас. Я буду внушать им постоянно, что их жизнь принадлежит не им самим, а вам. Только прошу вас убедительно, умоляю, доверяйте нам, живите с нами в дружбе. Мой муж добрый, хороший человек. Не волнуйте, не раздражайте его. Он чуток ко всякой мелочи, а вчера, например, ваше стадо было у нас в огороде, и кто-то из ваших сломал плетень у нас на пасеке, и такое отношение к нам приводит мужа в отчаяние. Прошу вас,— продолжала она умоляющим голосом и сложила руки на груди,— прошу, относитесь к нам как добрые соседи, будем жить в мире! Сказано ведь, худой мир лучше доброй ссоры, и не купи имение, а купи соседа. Повторяю, мой муж добрый человек, хороший; если все будет благополучно, то мы, обещаю вам, сделаем все,

что в наших силах; мы починим дороги, мы построим вашим детям школу. Обещаю вам.

— Оно, конечно, благодарим покорно, барыня,— сказал Лычков-отец, глядя в землю,—вы образованные, вам лучше знать. А только вот в Ересневе Воронов, богатый мужик, значит, обещал выстроить школу, тоже говорил — я вам да я вам, и поставил только сруб да отказался, а мужиков потом заставили крышу класть и кончать, тысяча рублей пошла. Воронову-то ничего, он только бороду гладит, а мужичкам оно как будто обидно.

— То был ворон, а теперь грач налетел,— сказал Козов и подмигнул.

Послышался смех.

— Не надо нам школы,— проговорил Володька угрюмо.— Наши ребята ходят в Петровское и пускай. Не желаем.

Елена Ивановна как-то оробела вдруг. Она побледнела, осунулась, вся сжалась, точно к ней прикоснулись чем-то грубым, и пошла, не сказав больше ни слова. И шла все быстрей и быстрей, не оглядываясь.

— Барыня! — позвал Родион, идя за ней.— Барыня, погоди-ка, что я тебе скажу.

Он шел за ней следом, без шапки, и говорил тихо, как будто просил милостыню:

— Барыня! Погоди, что я тебе скажу.

Вышли из деревни, и Елена Ивановна остановилась в тени старой рябины, около чьей-то телеги.

— Не обижайся, барыня,— сказал Родион.— Чего там! Ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тут, потерпишь, и все обойдется. Народ у нас хороший, смирный... народ ничего, как перед истинным тебе говорю. На Козова да на Лычковых не гляди, и на Володьку не гляди, он у меня дурачок: кто первый сказал, того и слушает. Прочие народ смирный, молчат... Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, вступиться, значит, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет. Не обижайся... потерпи... Чего там!

Елена Ивановна смотрела на широкую спокойную реку, о чем-то думала, и слезы текли у нее по щекам. И Родиона смущали эти слезы, он сам едва не плакал.

— Ты ничего...— бормотал он.— Потерпи годика два. И школу можно, и дороги можно, а только не сразу... Хочешь, скажем к примеру, посеять на этом бугре хлеб, так сначала выкорчуй, выбери камни все, да потом вспаши, ходи да ходи... И с народом, значит, так... ходи да ходи, пока не осилишь.

От избы Родиона отделилась толпа и пошла по улице в эту сторону к рябине. Запели песню, заиграла гармоника. И подходили всё ближе и ближе...

— Мама, уедем отсюда!— сказала девочка, бледная, прижимаясь к матери и дрожа всем телом.— Уедем, мама!

— Куда?

— В Москву... Уедем, мама!

Девочка заплакала. Родион совсем смутился, лицо у него сильно вспотело. Он вынул из кармана огурец, маленький, кривой, как полумесяц, весь в ржаных крошках, и стал совать его девочке в руки.

— Ну, ну...— забормотал он, хмурясь сурово.— Возьми-кась огурчика, покушай... Плакать не годится, маменька прибьет... дома отцу пожалится... Ну, ну...

Они пошли дальше, а он все шел позади них, желая сказать им что-нибудь ласковое и убедительное. И, видя, что обе они заняты своими мыслями и своим горем и не замечают его, он остановился и, заслоняя глаза от солнца, смотрел им вслед долго, пока они не скрылись в своем лесу.

IV

Инженер, по-видимому, стал раздражителен, мелочен и в каждом пустяке уже видел кражу или покушение. Ворота у него были на запоре даже днем, а ночью в саду ходили два сторожа и стучали в доску, и уже из Обручанова никого не брали на поденную. Как нарочно, кто-то (из мужиков или босяков — неизвестно) снял с телеги новые колеса и обменил их на старые, потом, немного погодя, унесли две уздечки и клещи, и даже в деревне начался ропот. Стали говорить, что надо бы сделать обыск у Лычковых и у Володьки, и тогда клещи и уздечки нашлись у инженера в саду под забором: кто-то подбросил.

Как-то шли толпой из леса, и опять по дороге встретился инженер. Он остановился и, не поздоровавшись, глядя сердито то на одного, то на другого, начал:

— Я просил не собирать грибов у меня в парке и около двора, оставлять моей жене и детям, но ваши девушки приходят чуть свет, и потом не остается ни одного гриба. Проси вас или не проси,— это все равно. Просьба, и ласки, и убеждение, вижу, все бесполезно.

Он остановил свой негодующий взгляд на Родионе и продолжал:

— Я и жена относились к вам как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать. Больше ничего не остается!

И, сделав над собой усилие, сдерживая свой гнев, чтобы не сказать еще чего-нибудь лишнего, он повернул и пошел дальше.

Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой.

— Да...— начал он, отдохнув.— Идем сейчас, а барин Кучеров навстречу... Да... Девок чуть свет видел... Отчего, говорит, грибов не несут... жене, говорит, и детям. А потом глядит на меня и говорит: я, говорит, с женой тебя призирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел... Дай бог здоровья... Пошли им господи...

Степанида перекрестилась и вздохнула.

— Господа добрые, простоватые...— продолжал Родион.— «Призирать будем...» — при всех обещал. На старости лет и... оно бы ничего... Вечно бы за них бога молил... Пошли царица небесная...

На воздвиженье, 14 сентября, был храмовой праздник. Лычковы, отец и сын, еще с утра уезжали на ту сторону и вернулись к обеду пьяные; они ходили долго по деревне, то пели, то бранились нехорошими словами, потом подрались и пошли в усадьбу жаловаться. Сначала вошел во двор Лычков-отец с длинной осиновой палкой в руках; он нерешительно остановился и снял шапку. Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай.

— Что тебе? — крикнул инженер.

— Ваше высокоблагородие, барин...— начал Лычков и заплакал.— Явите божескую милость, вступитесь... Житья нет от сына... Разорил сын, дерется... ваше высокоблагородие...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с палкой; он остановился и вперил пьяный, бессмысленный взгляд на террасу.

— Не мое дело разбирать вас,— сказал инженер.— Ступай к земскому или к становому.

— Я везде был... прошение подавал...— проговорил Лычков-отец и зарыдал.— Куда мне теперь идти? Значит, он меня теперь убить может? Он, значит, все может? Это отца-то? Отца?

Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стукали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрели во двор, и лица у всех были серьезные. Это пришли мужики, чтобы поздравить с праздником, но, увидев Лычковых, посовестились и не вошли во двор.

На другой день утром Елена Ивановна уехала с детьми в Москву. И пошел слух, что инженер продает свою усадьбу...

V

К мосту давно пригляделись, и уже трудно было представить себе реку на этом месте без моста. Кучи мусора, оставшиеся с постройки, уже давно поросли травой, про босяков забыли, и вместо «Дубинушки» слышится теперь почти каждый час шум проходящего поезда.

Новая дача давно продана; теперь она принадлежит какому-то чиновнику, который в праздники приезжает сюда из города с семейством, пьет на террасе чай и потом уезжает обратно в город. У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он, как очень важный чиновник, хотя состоит только в чине коллежского секретаря, и когда мужики ему кланяются, то он не отвечает.

В Обручанове все постарели; Козов уже умер, у Родиона в избе стало детей еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут по-прежнему бедно.

Ранней весной обручановские пилят дрова около станции. Вот они после работы идут домой, идут не спеша, друг за другом; широкие пилы гнутся на плечах, отсвечивает в них солнце. В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки. На Новой даче тихо, нет ни души, и только золотые голуби, золотые оттого, что их освещает солнце, летают над домом. Всем— и Родиону, и обоим Лычковым, и Володьке — вспоминаются белые лошади, маленькие пони, фейерверки, лодка с фонарями, вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила в деревню и так ласково говорила. И всего этого точно не было. Все, как сон или сказка.

Они идут нога за ногу, утомленные, и думают...

В их деревне, думают они, народ хороший, смирный, разумный, бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором? Почему с новым владельцем живут в мире, а с инженером не ладили?

И не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат, и только Володька что-то бормочет.

— Что ты? — спрашивает Родион.

— Жили без моста...— говорит Володька мрачно.— Жили мы без моста и не просили... и не надо нам.

Ему никто не отвечает, и идут дальше молча, понурив головы.

ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ

Исправляющий должность судебного следователя и уездный врач ехали на вскрытие в село Сырню. По дороге их захватила метель, они долго кружили и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно. Остановились на ночлег в земской избе. Тут же, в земской избе, по случайности, находился и труп, труп земского страхового агента Лесницкого, который три дня назад приехал в Сырню и, расположившись в земской избе и потребовав себе самовар, застрелился совершенно неожиданно для всех; и то обстоятельство, что он покончил с жизнью как-то странно, за самоваром, разложив на столе закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство; понадобилось вскрытие.

Доктор и следователь в сенях стряхивали с себя снег, стуча ногами, а возле стоял сотский Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. Сильно пахло керосином.

— Ты кто? — спросил доктор.

— Цоцкай...— ответил сотский.

Он и на почте так расписывался: цоцкай.

— А где же понятые?

— Должно, чай пить пошли, ваше высокоблагородие.

Направо была чистая комната, «приезжая», или господская, налево — черная, с большой печью и полатями.

Доктор и следователь, а за ними сотский, держа лампочку выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу, у самых ножек стола, лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабом свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны еще новые резиновые калоши, и все тут было нехорошо, жутко: и темные стены, и тишина, и эти калоши, и неподвижность мертвого тела. На столе был самовар, давно уже холодный, и вокруг него свертки, должно быть с закусками.

— Стреляться в земской избе — как это бестактно! — проговорил доктор.— Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя дома, где-нибудь в сарае.

Он, как был, в шапке, в шубе и в валенках, опустился на скамью; его спутник, следователь, сел напротив.

— Эти истерики и неврастеники большие эгоисты,— продолжал доктор с горечью.— Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то шуршит газетой; когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей жене, не стесняясь вашим присутствием; и когда ему приходит охота застрелиться, то вот он стреляется в деревне, в земской избе, чтобы наделать всем побольше хлопот. Эти господа при всех обстоятельствах жизни думают только о себе. Только о себе! Потому-то старики так и не любят этого нашего «нервного века».

— Мало ли чего не любят старики,— сказал следователь, зевая.— Вы вот укажите старикам на то, какая разница между прежними и теперешними самоубийствами. Прежний, так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний — жизнь надоела, тоска... Что лучше?

— Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в земской избе.

— Уж такое горе,— заговорил сотский,— такое горе, чистое наказание. Народ очень беспокоится, ваше высокоблагородие, уж третью ночь не спят. Ребята плачут. Надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся... Как бы в потемках барин не примерещился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как вечер, мимо избы не ходят в одиночку, а так, всё табуном. И понятые тоже...

Доктор Старченко, мужчина средних лет, с темной бородой, в очках, и следователь Лыжин, белокурый, еще молодой, кончивший только два года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника, сидели молча, задумавшись. Им было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать, а был еще только шестой час, и им представлялись длинный вечер, потом длинная, темная ночь, скука, неудобство их постелей, тараканы, утренний холод; и, прислушиваясь к метели, которая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как все это не похоже на жизнь, которой они хотели бы для себя и о которой когда-то мечтали, и как оба они далеки от своих сверстников, которые теперь в городе ходят по освещенным улицам, не замечая непогоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. О, как дорого они дали бы теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровке в Москве, послушать порядочного пения, посидеть час-другой в ресторане...

— У-у-у-у! — пела метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно, должно быть вывеска на земской избе.— У-у-у-у!

— Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться,— сказал Старченко, поднимаясь.— Еще шестой час, спать рано, я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живет фон Тауниц, всего три версты от Сырни. Поеду к нему, проведу там вечер. Сотский, ступай скажи ямщику, чтобы не распрягал. А вы как? — спросил он у Лыжина.

— Не знаю. Должно быть, спать лягу.

Доктор запахнулся в шубу и вышел. Слышно было, как он разговаривал с ямщиком, как на озябших лошадях вздрагивали бубенчики. Уехал.

— Тебе, барин, здесь ночевать не годится,— сказал сотский,— иди в ту половину. Там не чисто, да уж одну ночь ничего. Я сейчас самовар возьму у мужика, заставлю, потом этого навалю тебе сена, спи, ваше высокоблагородие, с богом.

Немного погодя следователь сидел в черной половине за столом и пил чай, а сотский Лошадин стоял у двери и говорил. Это был старик за шестьдесят лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый,

на лице наивная улыбка, глаза слезились, и все он почмокивал, точно сосал леденец. Он был в коротком полушубке и в валенках и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, по-видимому, вызывала в нем жалость и потому, вероятно, он говорил ему «ты».

— Старшина Федор Макарыч приказывал, как приедет становой или следователь, чтобы ему доложить,— говорил он.— Значит, такое дело, надо идти теперь... До волости четыре версты, метель, снегу намело — страсть, пожалуй, придешь туда не раньше, как в полночь. Ишь гудет как.

— Старшина мне не нужен,— сказал Лыжин.— Ему тут нечего делать.

Он с любопытством посматривал на старика и спросил:

— Скажи, дед, сколько лет ты ходишь сотским?

— Сколько? Да уж лет тридцать. После воли через пять лет стал ходить, вот и считай. С того время каждый день хожу. У людей праздник, а я все хожу. На дворе Святая, в церквах звон, Христос воскресе, а я с сумкой. В казначейство, на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Ношу пакеты, повестки, окладные листы, письма, бланки разные, ведомости, и значит, господин хороший, ваше высокоблагородие, нынче такие бланки пошли, чтобы цыфри записывать,— желтые, белые, красные,— и всякий барин, или батька, или богатый мужик беспременно записать должен раз десять в год, сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или пудов ржи, сколько овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые. Конечно, пиши что хочешь, тут одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потом опять ходи и собирай. Вот, к примеру сказать, барина потрошить не к чему, сам знаешь, пустое дело, только руки поганить, а ты вот потрудился, ваше высокоблагородие, приехал, потому форма; ничего тут не поделаешь. Тридцать лет хожу по форме. Летом оно ничего, тепло, сухо, а зимой или осенью оно неудобно. Случалось, и утопал и замерзал — всего бывало. И в лесу сумку отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был...

— За что под судом?

— За мошенничество.

— То есть как за мошенничество?

— А так, значит, писарь Хрисанф Григорьев подрядчику чужие доски продал, обманул, значит. Я был при этом деле, меня за водкой в трактир посылали; ну, со мной писарь не делился, даже стаканчика не поднес, но как я по нашей бедности, по видимости, значит, человек не надежный, не стоющий, то нас обеих судили; его в острог, а меня, дал бог, оправдали по всем правам. В суде такую бумагу читали. И все в мундирах. На судето. Я так тебе скажу, ваше высокоблагородие, наша служба для непривычного — не приведи бог, погибель сущая, а для нас ничего. Когда не ходишь, так даже ноги болят. И дома для нас хуже. Дома в волости писарю печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почисть.

— А сколько ты получаешь жалованья? — спросил Лыжин.

— Восемьдесят четыре рубля в год.

— Небось ведь и доходишки есть. Не без того?

— Какие наши доходишки! Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются все. Ты ему бумагу принес — обижается, шапку перед ним снял — обижается. Ты говорит, не с того крыльца зашел, ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет, болван, говорит, сукин сын. Есть, конечно, и добрые, да что с них возьмешь, только насмехаются и разные прозвания. К примеру, барин Алтухин; и добрый и, глядишь, чверезый, в своем уме, а как увидит, так и кричит, сам не понимает что. Прозвание мне такое дал. Ты, говорит...

Сотский проговорил какое-то слово, но так тихо, что нельзя было разобрать.

— Как? — спросил Лыжин.— Ты повтори.

— Администрация! — громко повторил сотский.— Давно уж так зовет, лет шесть. Здравствуй, администрация! Но я ничего, пускай, бог с ним. Случается, какая барыня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога, ну, выпьешь за ее здоровье. А больше мужики подают; мужики — те душевней, бога боятся: кто хлебца, кто

щец даст похлебать, кто и поднесет. Старосты чайком потчуют в трактире. Вот сейчас понятые пошли чай пить. «Лошадин, говорят, побудь тут за нас, постереги»,— и по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчерась дали пятиалтынничек и стаканчик поднесли.

— А тебе разве не страшно?

— Страшно, барин, да ведь наше дело такое — служба, никуда от ней не уйдешь. Летось веду арестанта в город, а он меня — по шее! по шее! по шее! А кругом поле, лес,— куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина, Лесницкого, я еще эканького помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недощотовой, а они, господа Лесницкие, от нас не больше, как в версте, и того меньше, межа с межой. И была у господина Лесницкого сестра девица, богобоязливая и милосердная. Помяни, господи, душу рабы твоей Юлии, вечная память. Замуж не пошла, а когда помирала, то все свое добро поделила; на монастырь записала сто десятин, да нам, обществу крестьян деревни Недощотовой, на помин души, двести, а братец ейный, барин-то, бумагу спрятал, сказывают, в печке сжег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу, ан — нет, погоди, на свете неправдой не проживешь, брат. Барин потом на духу лет двадцать не был, его от церкви отшибало, значит, и без покаяния помер, лопнул. Толстючий был. Так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережи-то, все за долги забрали, все как есть; ну, в науках далеко не пошел, ничего не может, и председатель земской управы, дядя его, «возьму-ка, думает, его, Сережу-то, к себе в агенты, пускай страхует, дело немудрое». А барин молодой, гордый, тоже хочется, да пошире, да повидней, да повольготней, ну, обидно, значит, в тележонке трепаться по уезду, с мужиками разговаривать; ходит и все в землю глядит, глядит и молчит; окликнешь его у самого уха: «Сергей Сергеич»! — а он оглянется этак: «А?» — и опять глядит в землю. А теперь, видишь, руки на себя наложил. Нескладно, ваше высокоблагородие, неправильно это самое и не поймешь, что оно такое на свете, господи милостивый. Сказать, отец был богатый, а ты бедный, обидно, это конечно, ну, да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо, у меня, ваше высоко-

благородие, были две лошади, три коровы, овец штук двадцать держал, а пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, а казенная, и теперь, в нашей Недощотовой, ежели говорить, мой дом что ни на есть хуже. У Мокея было четыре лакея, а теперь Мокей сам лакей. У Петрака было четыре батрака, а теперь Петрак сам батрак.

— Отчего же ты обеднял? — спросил следователь.

— Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, так пьют, что сказать нельзя, не поверишь.

Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить; и сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, «не стоющих» стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятиалтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь. Потом наскучило слушать, и он приказал принести сена для постели. В приезжей стояла железная кровать с подушкой и одеялом, и ее можно было принести оттуда, но возле нее почти три дня лежал покойник (который, быть может, садился на нее перед смертью), и теперь на ней было бы неприятно спать...

«Еще только половина восьмого,— подумал Лыжин, взглянув на часы.— Как это ужасно!»

Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы как-нибудь скоротать время, он лег и укрылся пледом. Лошадин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз, почмокивая и вздыхая, все топтался у стола, наконец взял свою лампочку и вышел; и, глядя сзади на его длинные седые волосы и согнутое тело, Лыжин подумал: «Точно колдун в опере».

Стало темно. Должно быть, за облаками была луна, так как ясно были видны окна и снег на рамах.

— У-у-у-у! — пела метель.— У-у-у-у!

— Ба-а-а-тюшки! — провыла баба на чердаке или так только послышалось.— Ба-а-а-тюшки мои-и!

— Ббух! — ударилось что-то снаружи о стену.— Трах!

Следователь прислушался: никакой бабы не было, выл ветер. Было прохладно, и он сверх пледа накрылся еще шубой. Греясь, он думал о том, как все это — и метель, и изба, и старик, и мертвое тело, лежавшее в соседней комнате,— как все это было далеко от той жизни, какой он хотел для себя, и как все это было чуждо для него, мелко, неинтересно. Если бы этот человек убил себя в Москве или где-нибудь под Москвой и пришлось бы вести следствие, то там это было бы интересно, важно и, пожалуй, даже было бы страшно спать по соседству с трупом; тут же, за тысячу верст от Москвы, все это как будто иначе освещено, все это не жизнь, не люди, а что-то существующее только «по форме», как говорит Лошадин, все это не оставит в памяти ни малейшего следа и забудется, едва только он, Лыжин, выедет из Сырни. Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония; когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например, следователем по особо важным делам или прокурором окружного суда, быть светским львом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве, здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметною ролью и только ждешь одного от жизни — скорее бы уйти, уйти. И Лыжин мысленно носился по московским улицам, заходил в знакомые дома, виделся с родными, товарищами, и сердце у него сладко сжималось при мысли, что ему теперь двадцать шесть лет и что если он вырвется отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не поздно и останется еще впереди целая жизнь. И, впадая в забытье, когда уже у него стали путаться мысли, он воображал длинные коридоры московского суда, себя, говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то все гудит:

— У-у-у! У-у-у!

— Ббух! Трах! — раздалось опять.— Бух!

И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами, черноволосый, худой, бледный; у него было неприятное выражение глаз, какое бывает у людей, которые долго спали после обеда, и оно портило его тонкий, умный

профиль; и высокие сапоги, в которых он был, не шли к нему, казались грубыми. Бухгалтер представил: «Это наш земский агент».

«Так это был Лесницкий... вот этот самый...» — соображал теперь Лыжин.

Он вспомнил тихий голос Лесницкого, вообразил его походку, и ему показалось, что возле него ходит теперь кто-то, ходит точно так же, как Лесницкий.

Вдруг стало страшно, похолодела голова.

— Кто здесь? — спросил он с тревогой.

— Цоцкай.

— Что тебе тут нужно?

— Я, ваше высокоблагородие, спроситься. Вы сказали давеча, старшина не нужен, да я боюсь, не осерчал бы. Приказывал прийтить. Сходить нешто?

— Ну тебя! Надоел... — проговорил с досадой Лыжин и опять укрылся.

— Не осерчал бы... Пойду, ваше высокоблагородие, счастливо оставаться.

И Лошадин вышел. В сенях покашливали и говорили вполголоса. Должно быть, понятые вернулись.

«Завтра отпустим этих бедняков пораньше...— думал следователь.— Начнем вскрытие, как только рассветет».

Он стал забываться, как вдруг опять чьи-то шаги, но не робкие, а быстрые, шумные. Хлопнула дверь, голоса, чирканье спичкой...

— Вы спите? Вы спите? — спрашивал торопливо и сердито доктор Старченко, зажигая спичку за спичкой; он был весь покрыт снегом, и от него веяло холодом.— Вы спите? Вставайте, поедем к фон Тауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедемте, там по крайней мере поужинаете, уснете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасные, мы в двадцать минут докатим.

— А который теперь час?

— Четверть одиннадцатого.

Лыжин, сонный, недовольный, надел валенки, шубу, шапку и башлык и вместе с доктором вышел наружу. Мороза большого не было, но дул сильный, пронзительный ветер и гнал вдоль улицы облака снега, кото-

рые, казалось, бежали в ужасе; под заборами и у крылец уже навалило высокие сугробы. Доктор и следователь сели в сани, и белый кучер перегнулся к ним, чтобы застегнуть полость. Обоим было жарко.

— Трогай!

Поехали по деревне. «Бразды пушистые взрывая...» — думал вяло следователь, глядя, как пристяжная работала ногами. Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал угрюмо; должно быть, соскучился, пока стоял около земской избы, и теперь тоже думал о покойнике.

— А у Тауница,— сказал Старченко,— когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я это вас с собой не взял.

На выезде из деревни, на повороте, кучер вдруг крикнул во все горло:

— С дороги!

Промелькнул какой-то человек; он стоял по колена в снегу, сойдя с дороги, и смотрел на тройку; следователь видел палку крючком и бороду и на боку сумку, и ему показалось, что это Лошадин, и даже показалось, что он улыбается. Мелькнул и исчез.

Дорога шла сначала по краю леса, потом по широкой лесной просеке; мелькали и старые сосны, и молодой березняк, и высокие молодые, корявые дубы, одиноко стоявшие на полянах, где недавно срубили лес, но скоро все смешалось в воздухе, в облаках снега; кучер говорил, что он видит лес, следователю же не было видно ничего, кроме пристяжной. Ветер дул в спину.

Вдруг лошади остановились.

— Ну, что еще? — сердито спросил Старченко.

Кучер молча слез с козел и стал бегать вокруг саней, наступая на пятки; делал он круги все больше и больше, все удаляясь от саней, и было похоже, что он танцует; наконец, вернулся и стал сворачивать вправо.

— С дороги сбился, что ли? — спросил Старченко.

— Ничего-о-о...

Вот какая-то деревушка, ни одного огонька в ней. Опять лес, поле, опять сбились с дороги и кучер слезал с козел и танцевал. Тройка понесла по темной аллее,

понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку саней. Здесь деревья шумели гулко, страшно, и не было видно ни зги, точно неслись куда-то в пропасть, и вдруг ударил в глаза яркий свет подъезда и окон, раздался добродушный, заливчатый лай, голоса... Приехали.

Пока внизу в передней снимали шубы и валенки, наверху играли на рояле «Un petit verre de Cliquot»[1], и было слышно, как дети топали ногами. На приезжих сразу пахнуло теплом, запахом старых барских покоев, где, какая бы ни была погода снаружи, живется так тепло, чисто, удобно.

— Вот и прекрасно,— говорил фон Тауниц, толстяк с невероятно широкой шеей и с бакенами, пожимая следователю руку.— Вот и прекрасно. Милости прошу, очень рад познакомиться. Мы ведь с вами немножко коллеги. Когда-то я был товарищем прокурора, но не долго, всего два года; приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен, одним словом. Милости прошу,— продолжал он, очевидно сдерживая свой голос, чтобы не говорить громко; он и гости поднимались наверх.— Жены у меня нет, умерла, а это, рекомендую, мои дочери.— И, обернувшись, он крикнул вниз громовым голосом: — Скажите там Игнату, чтобы завтра подавал к восьми часам!

В зале находились его четыре дочери, молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные, и их кузина с детьми, тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тотчас же стал просить спеть что-нибудь, и две барышни долго уверяли, что они не умеют петь и что у них нет нот, потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit verre de Cliquot», и дети запрыгали, топая в такт ногами. И Старченко запрыгал. Все хохотали.

Потом дети прощались, уходя спать. Следователь смеялся, танцевал кадриль, ухаживал, а сам думал: не сон ли все это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская

[1] «Стаканчик Клико» (*франц.*).

обстановка, голоса понятых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги, и вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех — такое превращение казалось ему сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он все думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя; и ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь в глуши, в провинции, вдали от культурной среды, где ничто не случайно, все осмысленно, законно и, например, всякое самоубийство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятна и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе.

За ужином шел разговор о Лесницком.

— Он оставил жену и ребенка,— говорил Старченко.— Неврастеникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак; я отнял бы у них право и возможность размножать себе подобных. Производить на свет нервнобольных детей — это преступление.

— Несчастный молодой человек,— говорил фон Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой.— Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы наконец решиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь. В каждой семье может случиться такое несчастье, и это ужасно. Трудно это переносить, нестерпимо...

И все девушки слушали молча, с серьезными лицами, глядя на отца. Лыжин чувствовал, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но он ничего не мог придумать и сказал только:

— Да, самоубийства — явление нежелательное.

Он спал в теплой комнате, в мягкой постели, укрытый одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства; быть может, это оттого, что в соседней комнате долго разговаривали доктор и фон Тауниц и вверху над потолком и в печке

метель шумела так же, как в земской избе, и так же выла жалобно:

— У-у-у-у!

У Тауница года два назад умерла жена, и он до сих пор еще не помирился с этим и, о чем бы ни говорил, всякий раз вспоминал о жене; и в нем уже не осталось ничего прокурорского.

«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» — думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стену его сдержанный, точно сиротский голос.

Следователь спал непокойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме Тауница и не в мягкой чистой постели, а все еще в земской избе на сене, и слышит, как вполголоса говорят понятые; ему казалось, что Лесницкий близко, в пятнадцати шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запыленных сапогах подходил к конторке бухгалтера. «Это наш земский агент...» Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:

— Мы идем, мы идем, мы идем.

Старик был похож на колдуна в опере, и оба в самом деле пели, точно в театре:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...

Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть что-то общее в жизни. Не идут ли они и в жизни бок о бок, держась друг за друга? Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно

одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку,— это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенною мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно.

Он лег и стал засыпать; и вдруг опять они идут вместе и поют:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы.

То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином, с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь.., И опять:

— Мы идем, мы идем, мы идем...

Точно кто стучит молотком по вискам.

Утром проснулся он рано, с головною болью, разбуженный шумом; в соседней комнате фон Тауниц говорил громко доктору:

— Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе! Вы не спорьте, а спросите лучше у

кучера: он не повезет вас в такую погоду и за миллион.

— Но ведь только три версты,— говорил доктор умоляющим голосом.

— Да хоть полверсты. Коли нельзя, так и нельзя. Выедете только за ворота, там ад кромешный, в одну минуту собьетесь с дороги. Ни за что не отпущу, как вам угодно.

— Надо быть, к вечеру утихнет,— сказал мужик, топивший печь.

И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую все видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стуки и думал мрачно:

«Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель и больше ничего...»

В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам.

«А Лесницкий лежит,— думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах.— Лесницкий лежит, понятые ждут...»

Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец ужинали. День прошел, легли спать.

Ночью под утро все успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли.

У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкай, Илья Лошадин, без шапки, со старой кожаной сум-

кой через плечо, весь в снегу; и лицо было красное, мокрое от пота. Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани и укрыть им ноги, посмотрел на него сурово и сказал:

— Что ты тут стоишь, старый черт? Пошел вон отсюда.

— Ваше высокоблагородие, народ беспокоится...— заговорил Лошадин, улыбаясь наивно, во все лицо, и, видимо, довольный, что наконец увидел тех, кого так долго ждал.— Народ очень беспокоится, ребята плачут... Думали, ваше благородие, что вы опять в город уехали. Явите божескую милость, благодетели наши...

Доктор и следователь ничего не сказали, сели в сани и поехали в Сырню.

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых,— соображал Гуров,— то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается,— сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — и когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж,— в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым,— должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она

не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки»,— подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше,— сказал он.— Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам...— проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких,— как, например, его жена,— которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло по крайней мере полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров.— Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же,— говорила я себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю,— сказал он тихо,— что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас...— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно...— бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц,— сказал Гуров.— Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож,— посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве,— сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда

вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю,— говорила она Гурову.— Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать,— говорила она.— Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал

легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север,— думал Гуров, уходя с платформы.— Пора!»

III

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только из-

редка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс, или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь»,— думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая.

Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокойно,— думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер.— Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях»,— думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет

ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная.— О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите...— проговорил он вполголоса, торопясь.— Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его.— Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя.—Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать...— продолжала Анна Сергеевна шепотом.— Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива... Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей жен-

ской болезни,— и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег,— говорил Гуров дочери.— Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи,— все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера;

она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он.— Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу»,— подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая,— говорил он,— поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову.— Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

НА СВЯТКАХ

I

— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо.

Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула: ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью — и все думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого.

Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел все дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.

И теперь — это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне — Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела, и фыркала, и как будто даже говорила: «флю-флю-флю». Было душно.

— Что писать? — спросил опять Егор.

— Чего! — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони! Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

— Есть. Стреляй дальше.

— А еще поздравляем с праздником рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа... царя небесного.

Василиса подумала и переглянулась со стариком.

— Чего и вам желаем от господа... царя небесного... — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!

— Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще? — спросил он.

Старики молчали.

— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.

— Он из солдат, батюшка, тебе известно, — ответил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах.

— Вот тут написано... — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. — От Ефимьи получили, еще бог знает когда. Может, их уж и на свете нет.

Егор подумал немного и стал быстро писать.

«В настоящее время, — писал он, — как судба ваша через себе определила на Военое Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военного Ведомства».

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?

«Обратите внемание,— продолжал Егор писать,— в 5 томе Военых Постановлений. Солдат есть Имя обчшее, Знаменитое. Солдатом называется Перьвейшый Генерал и последней Рядовой...»

Старик пошевелил губами и сказал тихо:

— Внучат поглядеть, оно бы ничего.

— Каких внучат? — спросила старуха и поглядела на него сердито.— Да, может, их и нету!

— Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!

«И поэтому Вы можете судить,— торопился Егор,— какой есть враг Иноземный и какой Внутреный. Перьвейшый наш Внутреный Враг есть: Бахус».

Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение и в целебную силу воды.

Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.

— Ничего, гладко...— сказал он,— дай бог здоровья. Ничего...

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

— У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо.

До станции было одиннадцать верст.

II

Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на Новый год так же, как в обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги, и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним — почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал:

— С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!

— Спасибо, любезный. И тебя также.

И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал):

— А в этой комнате что?

— Кабинет для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребенка; другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати.

Войдя в свою комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал:

— Должно, из деревни.

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется.

— Это от бабушки, от дедушки...— говорила она.— Из деревни... Царица небесная, святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал, письма где-то завалялись.

— А в поле зайчики бегают,— причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика.— Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, бога боятся... И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда царица небесная, заступница-матушка!

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни одного слова.

Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери.

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.

— А в этой комнате что? — спросил он, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко:

— Душ Шарко, ваше превосходительство!

В ОВРАГЕ

I

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

— Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.

Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали.

В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики — три ситцевых и одна кожевенная — находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фаб-

рики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин.

Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.

У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыскном отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку, и старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте.

У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку. Аксинья, едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала; и, что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:

— Ай-да невестушка! Ай-да красавица, матушка...

Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке, в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки; послышались под окнами жалобные, певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.

— Тут мамаша взяли две осьмушки чаю,— сообщил он потом отцу.— Куда это записать?

Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.

— Варварушка, ежели тебе, матушка,— сказал он ласково,— понадобится что в лавке, то ты бери. Бери себе на здоровье, не сомневайся.

И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:

— Вы, мамаша, ежели что нужно,— берите!

В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет

дела ни до солонины, ни до водки; милостыня ее действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине.

Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких, ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже пятьдесят шесть лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший, чистый сюртук и в дрожки был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами; он ненавидел мужиков и брезговал ими, и если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно:

— Что стал там? Проходи дальше!

Или кричал, если то был нищий:

— Бог дасьть!

Он уезжал по делам; жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала и как сердились покупатели, которых она обижала; и в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай; раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко.

В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых Старших, Хрыминых Младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и в волостное правление, но там он скоро перестал

действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал:

— Да, теперь нам без телефона будет трудновато.

Хрымины Старшие постоянно судились с Младшими, иногда и Младшие ссорились между собою и начинали судиться, и тогда их фабрика не работала месяц, два, пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины Младшие устраивали катанье, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице, около своей лавки; Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару.

Вечером, после катанья, когда ложились спать, во дворе у Младших играли на дорогой гармонике, и если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеево уже не казалось ямой.

II

Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги, в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности».

Внизу каждого письма было нацарапано, точно испорченным пером: «Анисим Цыбукин», и под этим опять тем же превосходным почерком: «Агент».

Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил:

— Вот, не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что ж, пускай! Кто к чему приставлен.

Как-то перед масленицей пошел сильный дождь с крупой; старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь — Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату беспокойный и чем-то встревоженный, и таким оставался потом все время; и держал себя как-то развязно. Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду; она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.

— Как же это такое, батюшки? — говорила она.— Этих-тех, парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает, ох-тех-те...

Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков.

Решили женить Анисима.

— Ох-тех-те!.. Младшего брата давно оженили,— говорила Варвара,— а ты все без пары, словно петух на базаре. По-каковски это? Этих-тех, оженишься, бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, а жена останется дома помощницей-те. Без порядку-те живешь, парень, и все порядки, вижу, забыл. Ох-тех-те, грех один с вами, с городскими.

Когда Цыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность; при слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные, пухлые щеки, точно он надувал их; глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал; и к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал:

— Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые.

Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала

К рассказу «В овраге».
Художник С. Бойм. 1954.

одна вдова; у нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех ее ужасная бедность; рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе «так», а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево.

Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски — доверчиво и с любопытством.

Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться, это — ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни.

— Нет приданого — и мы без внимания,— говорил старик тетке,— для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле — золотые руки.

Липа стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мной, что хотите: я вам верю», а ее мать Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то, еще в молодости, один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно:

— Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно.

А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей, исхудалой груди, отвечала:

— Что вы, помилуйте-с... Много вами довольны-с.

После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро, на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды,— был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно.

III

В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье — светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать.

Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.

Степенно помолившись богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксинье — двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином; вероятно, на каждой

станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе.

— Ничего, благодарить бога, живут хорошо,— говорил Анисим.— Только вот у Ивана Егорова происшествие в семейной жизни: померла его старуха Софья Никифоровна. От чахотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера, по два с полтиной с персоны. И виноградное вино было. Которые мужики,— наши земляки,— и за них тоже по два с полтиной. Ничего не ели. Нешто мужик понимает соус!

— Два с полтиной!—сказал старик и покачал головой.

— А что же? Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого, компания соберется, выпьешь — ан глядишь, уже рассвет, и пожалуйте по три или по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтоб после всего кофий с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочка-с.

— И все врет,— проговорил старик в восхищении.— И все врет!

— Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет. И если б рассказать, мамаша,— весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре,— какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки — весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, мамаша, и он это чувствует и все за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке: мужик рубаху продает.— Стой, рубаха краденая! — И верно, так и выходит: рубаха краденая.

— Откуда же ты знаешь? — спросила Варвара.

— Ниоткуда, глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней: краденая, и все тут. У нас в сыскном так уж и говорят: «Ну, Анисим пошел вальдшнепов стрелять!» Это зна-

чит — искать краденое. Да... Украсть всякий может, да вот как сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негде.

— А в нашем селе у Гунторевых на прошлой неделе угнали барана и двух ярок,— сказала Варвара и вздохнула.— И поискать некому... Ох-тех-те...

— Что ж? Поискать можно. Это ничего, можно.

Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба.

В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады, и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точа нож о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая кухарка от Хрыминых Младших. Аксинья, завитая, без платья, в корсете, в новых скрипучих ботинках, носилась по двору, как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, божба; прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное.

— За невестой поехали!

Звонки заливались и замирали далеко за деревней... В третьем часу побежал народ: опять послышались звонки, везут невесту! Церковь была полна, горело паникадило, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили Липу, ей казалось, что певчие своими громкими голосами стучат по ее голове, как молотками; корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока,— глядит и не понимает. Анисим, в черном сюртуке, с красным шнурком вместо гал-

стука, задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства; когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками; ему так памятны каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши.

Послышался тревожный детский плач:

— Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!

— Тише там! — крикнул священник

Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ; около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, изо всей силы, вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик плотник Елизаров, высокий, худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым:

— Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и царица небесная вас не оставит.— Он припал к плечу старика и всхлипнул.— Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости! — проговорил он тонким голоском и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко, басом: — Хо-хо-хо! И эта хороша у тебя невестка! Все, значит, в ней на месте, все гладенько, не громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много.

Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже его звали Костылем. Быть может, оттого, что больше сорока лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом,— он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности: не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже потрогал.

После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали, все в один голос,— и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой кружилась голова.

Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить и то плакал, то хохотал.

— Деточки, деточки, деточки...— бормотал он быстро.— Аксиньюшка матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные...

Он пил мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки.

Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей и, точно хищная птица, косилась на тарелки и хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы.

Липа сидела окаменелая, все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих

пор не знал, какой у нее голос; и теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив:

— У меня есть друг, по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!

Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато,— никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался; уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба:

— Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!

Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины Младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадриль, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг вприсядку; зеленая Аксинья только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и Костыль крикнул:

— Эй, внизу плинтус оторвали! Деточки!

У Аксиньи были серые, наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета.

Но вот и сам старик Цыбукин вышел на средину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения:

— *Сам* вышел! *Сам*!

Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые там, во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все — и его богатство и обиды.

— Молодчина Григорий Петров! — слышалось в толпе.— Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощанье певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:

— Свадьба две тысячи стоила.

Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:

— Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!

Он выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руку домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли.

IV

Прошло пять дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти.

— Мало с нами пожил,— сказала она.— Заскучал небось? Ох-тех-те... Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно; старик сказывал: две тысячи пошло. Одно слово, живем, как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как — и боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем — на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у лю-

дей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?

— Кто к чему приставлен, мамаша.

— Да ведь умирать надо? Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом!..

— А вы бы сами поговорили.

— Ну-ну! Я ему свое, а он мне, как ты, в одно слово: кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У бога суд праведный.

— Конечно, никто не станет разбирать,— сказал Анисим и вздохнул.— Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Чего уж там разбирать!

Варвара посмотрела на него с удивлением, и засмеялась, и всплеснула руками. Оттого, что она так искренно удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился.

— Бог, может, и есть, а только веры нет,— сказал он.— Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала, и, пока меня венчали, я все думал: есть бог! А как вышел из церкви — и ничего. Да и откуда мне знать, есть бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик украл; он украл, а шкурки-то у папаши... Вот вам и вера!

Анисим подмигнул глазом и покачал головой.

— И старшина тоже не верит в бога,— продолжал он,— и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, и в самом деле Страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам так кажется, будто он чай

пьет и больше ничего, а я, чай-то чаем, вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь — и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть бог или нет... Ну-с, мамаша, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом.

Анисим поклонился Варваре в ноги.

— Благодарим вас за все, мамаша,— сказал он.— Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен.

Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал:

— Меня Самородов впутал в одно дело: богат буду или пропаду. Ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя.

— Ну, вот, что там! Ох-тех-те... Бог милостив. А ты бы, Анисим, этих-тех, жену бы свою приласкал, а то глядите друг на дружку надутые оба; хоть бы усмехнулись, право.

— Да, какая-то она чудна́я...— сказал Анисим и вздохнул.— Не понимает ничего, молчит все. Молода очень, пускай подрастет.

У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан.

Старик Цыбукин разбежался, и сел молодцевато, и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиньей и с братом. На крыльце стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка, чуть-чуть.

— Прощай,— сказал он.

И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно; лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым.

Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад, на село. Был теплый, ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху и внизу, пели жаворонки. Анисим ог-

лядывался на церковь, стройную, беленькую — ее недавно побелили,— и вспомнил, как пять дней назад молился в ней; оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым.

На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить.

— Я угощаю! — сказал Анисим.

Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику: вот-де какой у меня сын.

— Остался бы ты, Анисим, дома, при деле,— сказал он,— цены бы тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног.

— Никак нельзя, папаша.

Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке.

Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, Липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой, поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок.

Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крякнул.

— Да, и невестки же у тебя, Григорий Петров, бог тебе послал! — сказал он.— Не бабы, а чистый клад!

V

Восьмого июля, в пятницу, Елизаров, по прозванию Костыль, и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника — Казанской божией матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая все отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.

— А-аа!..— удивлялся Костыль, слушая Липу.— А-а!.. Ну-у?

— Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница,— говорила Липа.— Сяду себе в уголочке и все чай пью с вареньем. Или с Варварой Николаевной вместе пьем, а оне что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много — четыре банки. «Кушай, говорят, Липа, не сомневайся».

— А-аа!.. Четыре банки!

— Богато живут. Чай с белой булкой; и говядины тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. И-и, как страшно!

— Чего ж тебе страшно, деточка? — спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.

— Первое, как свадьбу сыграли, Анисима Григорьича боялась. Они ничего, не обижали, а только, как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась и бога молила. А теперь Аксиньи боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глазы у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины Младшие ее сбивают: «У вашего старика, говорят, есть землица Бутёкино, десятин сорок, землица, говорят, с песочком и вода есть, так ты, говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорое. Вчерась за обедом Аксинья и говорит старику: «Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не понравилось. «Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем вместе». А она глазами метнула, зубами заскриготела... Подали оладьи — не ест!

— А-аа!..— удивился Костыль.— Не ест!

— И скажи, сделай милость, когда она спит! — продолжала Липа.— С полчасика поспит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает: не сожгли б чего мужики, не украли б чего... Страшно с ней, Илья Макарыч! А Хрымины Младшие после свадьбы и спать не

ложились, а поехали в город судиться; и народ болтает, будто через Аксинью все. Два брата пообещались ей завод построить, а третий обижается; а фабрика с месяц стояла, и мой дяденька Прохор без работы по дворам корочки сбирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что пахать пошел или дрова пилить, что́ срамиться! «Отбился, говорит, я от хрестианской работы, ничего, говорит, не умею, Липынька!..»

Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками. И идти с ним рядом было трудно.

У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его: прочен ли. Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло счастьем: она была сегодня в церкви, как люди, потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас! С ней это бывало редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувши, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще: вероятно, подбирали грибы.

— Эй, девки-и! — кричал Елизаров.— Эй, красотки!

В ответ слышался смех.

— Костыль идет! Костыль! Старый хрен!

И эхо тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных труб, сверкнул крест на колокольне: это было село, «то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Вот почти уже и дома; оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы обуться; с ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то Уклеево со своими вербами, белой церковью и речкой казалось красивым, тихим, и мешали только крыши фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный, дикий цвет. Видна была на той стороне по скату рожь — и копны, и снопы там-сям, точно раски-

данные бурей, и только что скошенная, в рядах; и овес уже поспел и теперь на солнце отсвечивал, как перламутр. Была страда. Сегодня праздник, завтра, в субботу, убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник; каждый день погромыхивал дальний гром; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на поле, каждый думал о том, дал бы бог вовремя убраться с хлебом, и было весело, и радостно, и непокойно на душе.

— Косари нынче до́роги,— сказала Прасковья.— Рубль сорок в день!

А с ярмарки из Казанского народ все шел и шел; бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята... То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь и точно была рада, что ее не продали, то вели за рога корову, которая упрямилась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно.

— А наши фабриканты что-то не в себе...— сказал Елизаров.— Беда! Костюков осерчал на меня. «Много, говорит, тесу пошло на карнизы». Как много? Сколько надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я его не с кашей ем, тес-то. «Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван, такой-сякой! Не забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал!» Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не был в подрядчиках, все равно каждый день чай пил. «Все, говорит, вы жулики»... Я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмяк. «Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии, старше тебя,— ты смолчать должен». Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше,

то сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после, значит, разговору, я и думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!

Костыль подумал и добавил:

— Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше.

Солнце уже зашло, и над рекой, в церковной ограде и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни, и когда казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть, Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных, кротких душ,— быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо.

Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.

— Дедушка-а! — говорил за воротами косарь, как бы дразня.— Заплати хоть половину! Дедушка-а!

И тотчас же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно... Костыль сел тоже чай пить.

— Были мы, значит, на ярмарке,— начал он рассказывать.— Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе господи. И случай такой вышел, нехороший: кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, купцу. А полтинник фальшивый,— продолжал Костыль и оглянулся; ему хотелось говорить шепотом, но

говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно.— А полтинник, выходит, фальшивый. Спрашивают: где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял... Кликнули урядника, повели... Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору...

— Дедушка-а! — дразнил все тот же голос за воротами.— Дедушка-а!

Наступило молчание.

— Ах, деточки, деточки, деточки...— быстро забормотал Костыль и встал; его одолевала дремота.—Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать. Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо!

И, уходя, он сказал:

— Умирать, должно, пора!

И всхлипнул. Старик Цыбукин не допил своего чаю, но еще посидел, подумал; и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам Костыля, бывшего уже далеко на улице.

— А Сашка-кузнец, чай, наврал,— сказала Аксинья, угадав его мысли.

Он пошел в дом и немного погодя вернулся со свертком; развернул — и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос; потом бросил другой...

— Рубли-то взаправду фальшивые...— проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая.— Это те... Анисим тогда привез, его подарок. Ты, дочка, возьми,— зашептал он и сунул ей в руки сверток,— возьми, брось в колодец... Ну их! И гляди, чтоб разговору не было. Чего бы не вышло... Убирай самовар, туши огонь...

Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни; только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого, и когда приходила, то робко жалась в сенях, улыбалась просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется — в кухне или сарае, и каждый день мыла полы или

стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко, у Хрыминых Младших играли на дорогой гармонике... Прасковья и Липа стали засыпать.

И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны; у входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель.

— Тут, пожалуй, прохладней...— проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю.

Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все — и при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и послышались опять шаги: в дверях показался старик, весь белый.

— Аксинья! — позвал он.— Ты здесь, что ли?

— Ну! — отозвалась она сердито.

— Я тебе давеча сказал, чтоб бросила деньги в колодец. Ты бросила?

— Вот еще, добро в воду бросать! Я косарям отдала...

— Ах, боже мой! — проговорил старик в изумлении и в испуге.— Озорная ты баба... Ах, боже мой!

Он всплеснул руками и ушел и, пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.

— И зачем ты отдала меня сюда, маменька! — проговорила Липа.

— Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено.

И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле

только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.

И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.

VI

Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме; и когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда.

Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла или, как говорил глухой, «зашкорубла»; и сам старик Цыбукин потемнел как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим: «Бог дасьть!» Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему, что следует; и три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей, и старик замучился.

Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошения, пожертвовал куда-то хоругвь. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «душа меру знает» и с длинной ложечкой.

— Похлопотать-те, похлопотать-те путем некому,— говорила Варвара.— Ох-тех-те... Попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам... До суда бы хоть выпустили бы! Что парня томить-то!

Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали

в лавке. Затеяли новое дело — кирпичный завод в Бутёкине, и Аксинья ездила туда почти каждый день, в тарантасе; она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила, кланяясь:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

И бежала к нему опрометью и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

А он задирал свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова.

Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом, слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями; выехал и старый работник, получивший тоже повестку.

Суд был в четверг. Но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась: не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении:

— Ты вырастешь большо-ой, большой! Будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем!

— Ну-у! — обиделась Варвара.— Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет!..

Липа запела тихо, но немного погодя забылась и опять:

— Вырастешь большо-ой, большой, мужик будешь, вместе на поденку пойдем!

— Ну-у! Заладила!

Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила:

— Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? — продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез.— Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю

его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает.

Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то...

— Решение прав и всего состояния,— громко сказал он,— и в Сибирь, в каторжную работу на шесть лет.

Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья; она только что отпускала керосин, и в одной руке держала бутылку, в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги.

— А папаша где? — спросила она шепелявя.

— На станции,— ответил работник.— «Ужо, говорит, будет потемней, тогда приеду».

И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличие:

— И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьич, соколик ясный...

Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке, изо всей силы напрягая голос:

— Бу-удет тебе, Степанида, бу-удет! Не томи, Христа ради!

Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.

Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча; не ужинал.

— Похлопотать-те некому...— начала Варвара, когда они остались вдвоем.— Говорила я, чтоб господ попросить,— не послушали тогда... Прошение бы...

— Хлопотал я! — сказал старик и махнул рукой.— Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал. «Ничего, говорит, теперь нельзя, поздно». И сам Анисим так говорит: поздно. А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; задаток ему дал... Погожу еще недельку, а там опять поеду. Что бог даст.

Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал:

— Должно, нездоров я. В голове того... туманится. Мысли мутятся.

Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо:

— С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими... И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатыч, все, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька как выпьет, то смеется: «Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие». Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.

— Ну, вот, бог с тобой!

— Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров.

— Что говорить, все под богом ходим... Ох-тех-те...— проговорила Варвара и покачала головой.— Надо б об этом подумать бы, Петрович... Неровен час, что случится, человек ты не молодой. Помрешь, и гляди, без тебя б внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят! Отца, считай так, уже нет, мать молодая, глупая... Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петрович, право! Подумай! — продолжала убеждать Варвара. — Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра поезжай и напиши бумагу, Чего ждать?

— А я забыл про внучка-то...— сказал Цыбукин.— Надо поздороваться. Так ты говоришь: мальчик ничего? Ну, что ж, пускай растет. Дай бог!

Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.

— Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай,— сказал он.— И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова...— Он перекрестил ребенка.— И внучка береги. Сына нет, так внучек остался.

Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей.

VII

Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксинье, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика.

— Не стану я больше работать на вас! — крикнула она громко и вдруг зарыдала. Выходит, я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется: «Гляди, говорят, Цыбукины какую себе работницу нашли!» Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отец и мать.

Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева; лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы.

— Не желаю я больше служить! — продолжала она.— Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой,— так это мне, а как землю дарить,— так это каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть подавится, я уйду домой! Найдите себе другую дуру, ироды окаянные!

Старик ни разу в жизни не бранил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно; и теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы.

— Ой, что ж это, батюшки? — бормотала она в ужасе.— Что ж это она кричит? Ох-тех-те... Народ-то услышит! Потише бы... Ой, потише бы!

— Отдали каторжанке Бутёкино,— продолжала Аксинья кричать,— отдайте ей теперь все,— мне от вас ничего не надо! Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я, будет с меня! Грабили и прохожих и проезжих, разбойники, грабили старого и малого! А кто водку продавал без патента? А фальшивые деньги? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами — и теперь уж я не нужна стала!

Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор.

— Пускай народ глядит! — кричала Аксинья.— Я вас осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах наваляетесь! Эй, Степан! — позвала она глухого.— Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем, с арестантами я не хочу жить! Собирайся!

Во дворе на протянутых веревках висело белье; она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала.

— Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара.— Что же она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте, ради Христа небесного!

— Ну, ба-а-ба! — говорили у ворот.— Вот так ба-а-ба! Расходилась — страсть!

Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье,

задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе...

— Отдай сюда! — проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку.— Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть!

Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела...

— Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.

VIII

Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе; она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

— Чего же тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении.— Чего же тебе?

Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

— Не пьет...— сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!

— Бу-у! — кричала выпь. — Бу-у!

И вдруг ясно послышалась человеческая речь:

— Запрягай, Вавила!

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы,— одна с бочкой, другая пониже, с мешками, и два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив назад руки. Заворчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал:

— Словно кто идет по дороге.

— Шарик, молчи! — крикнул другой на собаку.

И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала:

— Бог в помощь!

Старик подошел к ней и ответил не сразу:

— Здравствуй!

— Ваша собачка не порвет, дедушка?

— Ничего, иди. Не тронет.

— Я в больнице была,— сказала Липа, помолчав.— Сыночек у меня там помер. Вот домой несу.

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо:

— Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! — сказал он, обернувшись к спутнику.— Ты бы поживей!

— Твоей дуги нету,— сказал парень.— Не видать.

— Прямой ты Вавила!

Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать,— сказал он.— Всякой матери свое дите жалко.

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал,— и тотчас же стало очень темно; видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы,

и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебе далече ли?

— В Уклеево.

— Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

Вавила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

— Мой сыночек весь день мучился,— сказала Липа.— Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как,— сказал старик.— Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает.

— Мне, дедушка, идти пешком легче. А теперь сердце трясется.

— Ничего. Сиди.

Старик зевнул и перекрестил рот.

— Ничего...— повторил он.— Твое горе с полгоря. Жизнь долгая,— будет еще и хорошего и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны.— Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком

шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме,— если помер, то царство ему небесное,— глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия! — сказал он, и опять посмотрел в стороны, и оглянулся.

— Дедушка,— спросила Липа,— когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?

— А кто ж его знает! Вот спросим Вавилу,— он в школу ходил. Теперь всему учат. Вавила! — позвал старик.

— А!

— Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?

Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил:

— Девять дён. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать дён.

— Почему ты знаешь?

— Тринадцать дён в печке стучало.

— Ну, ладно. Трогай,— сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил.

Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась в овраг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка.

Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли: все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик; он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова и только чмокал губами.

— Эх, Липа,— проговорил он,— не уберегла ты внучка...

Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка.

— И мальчик-то был хорошенечкий...— приговаривала она.— Ох-тех-те... Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая...

Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство ели много и с такою жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

— Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное.

И, только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.

— Ну, что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась.— Замолчи!

Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

— Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой.— Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!

— Ну, ну, ну!..— засуетился старик.— Аксюта, угомонись, матушка... Плачет, понятное дело... дите померло...

— Понятное дело...— передразнила его Аксинья.— Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!..— передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.

На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери.

IX

В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые, на окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто.

Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, на самом же деле все перешло в руки Аксиньи; она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо; оттого, что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до двадцати четырех рублей за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день.

Аксинья вошла в долю с Хрыминым, и их фабрика теперь называется так: «Хрымины Младшие и К°». Открыли около станции трактир, и уже играют на дорогой гармонике не на фабрике, а в этом трактире, и сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины Младшие подарили золотые часы, и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху.

В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда, когда она утром едет к себе на завод, с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей:

— Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна!

Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, както, продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил:

— Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидеться, чтобы нам никто не помешал?

— Да когда вам угодно!

И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет.

Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отли-

чить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит; уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит:

— А наш вчерась опять лег не евши.

И говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко.

В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть, и будто он кормится подаянием; одни рады, другие жалеют.

Варвара еще больше пополнела и побелела и попрежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съедать до новых ягод; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать.

Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжко, помогите, ради Христа».

Однажды — это было в ясный осенний день, перед вечером — старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.

— Дети должны кормить стариков, поить... чти отца твоего и мать,— говорил Яков с раздражением,— а она, невестка-то, выгнала свекра из цобственного дома.

Старику ни поесть, ни попить — куда пойдет? Третий день не евши.

— Третий день! — удивился Костыль.

— Вот так сидит, все молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд,— ее б в суде не похвалили.

— Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав.

— Чего?

— Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть...

— Из собственного дома,— продолжал Яков с раздражением.— Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукин слушал и не шевелился.

— Собственный дом, или чужой, все равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались...— сказал Костыль и засмеялся.— Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, все: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а все говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.

— Муж-то глухой, глупый,— продолжал Яков, не слушая Костыля,— так, дурак дураком, все равно что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой — и то не поймет.

Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.

Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно

отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.

— Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев Костыля.— Здравствуй, голубчик!

— Здравствуй, Липынька! — обрадовался Костыль.— Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хохо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные.

Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.

АРХИЕРЕЙ

I

Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские — походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и — плакал.

Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, все — и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Ераки на, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав,— это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали,— доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

— Маменька? Когда она приехала?

— Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

— Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

— Они велели, ваше преосвященство, доложить,— продолжал келейник,— что придут завтра. С ними девочка, должно внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

— Который теперь час?

— Двенадцатый в начале.

— Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет и — как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, блеянье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном,— о, как сладко думать об

этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смирный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбранил ее: «Ах ты ослица Иегудиилова!», и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная,— Betula kinderbalsamica secuta [1]. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел

---

[1] Набор разноязычных слов, означающий примерно: лечебная детская секущая береза.

на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесячно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

— Моя мать приехала... — вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему семьдесят лет, живет он в монастыре, в шестнадцати верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

— Отец Сисой! — позвал преосвященный.

Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

— Не спится мне,— сказал преосвященный, садясь.— Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

— Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: «О господи, прости меня, грешного!»

— У Еракина нынче электричество зажигали,— сказал он.— Не ндравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака

— Не ндравится! — повторил он, уходя.— Не ндравится, бог с ним совсем!

II

На другой день, в вербное воскресение, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и наконец поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

— Уже девять лет, как мы не видались,— говорила старуха,— а вчера в монастыре как поглядела на вас— господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели, и бородка длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И, несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты, или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей,— рассказывала она,— вот эта Катя самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал, это, и помер дня за три до успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

— А как Никанор? — спросил преосвященный про своего старшего брата.

— Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а, благодарить бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

— Николаша мертвецов режет,— сказала Катя и пролила воду себе на колени.

— Сиди, деточка, смирно,— заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан.— Кушай с молитвой.

— Сколько времени мы не видались! — сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке.— Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

— Благодарим вас.

— Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

— Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить...

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

— У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матуш-

ка, все равно что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

— Значит, богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это...

И то и дело «чаю напившись», или «напимшись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было тридцать два года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить все и уехать за границу.

— А потом что? — спросил Сисой в соседней комнате.

— А потом чай пили...— ответила Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у вас борода зеленая! — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

— Господи боже мой, наказание с этой девочкой!— проговорил громко Сисой, рассердившись.— Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

— Эва,— удивился он,— вы уже спите, преосвященнейший?

— Что такое?

— Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

— У меня жар...— проговорил преосвященный и сел.— В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

— Вот так... вот так...— говорил он.— Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того — как его? — протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе... Вот так... Не ндравится!

III

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проведовал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы, писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была не легка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки,

а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко,— с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

— Дай бог, чтоб! — говорил он, уходя.— Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! — думал он, прислушиваясь к пению.— Как хорошо!»

IV

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине,

тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни, в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? Тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

— Чистое наказание с этой девочкой, господи, прости меня, грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

— Ты, Катя? — спросил он.— Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?

— Я не слышу,— ответила Катя и прислушалась.

— Вот сейчас кто-то прошел.

— Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

— Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? — спросил он, помолчав.

— Да. Учится.

— А он добрый?

— Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

— А отец твой от какой болезни умер?

— Папаша были слабые и худые-худые, и вдруг —

горло. И я тогда захворала и брат Федя, — у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

— Ваше преосвященство, — проговорила она тонким голоском, уже горько плача, — дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

— Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

— Не покушаете ли супчику?

— Нет, благодарю... — ответил он. — Не хочется.

— А вы, похоже, нездоровы... как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день — и боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, святая не за горами, отдохнете, бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, — пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным... Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

— Ваше преосвященство! — окликнул он.

— Что?

— Лошади поданы, пора к страстям господним.

— Который час?

— Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое евангелие «Ныне прославися сын человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор — одному богу известно.

Отец его был дьякон, дед — священник, прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает...

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

— Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил он.— А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не ндравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в бога... Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

— Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

— Мне бы потолковать с вами... все никак не соберусь,— проговорил преосвященный тихо, через силу.— Я ведь тут никого и ничего не знаю.

— До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

— Какой я архиерей? — продолжал тихо преосвященный.— Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит все это... давит...

— Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал:

— Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и сла-

бее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! — думал он.— Как хорошо!»

Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик,— заговорила она,— родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

— Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! — говорила старуха.— Что с тобой? Родной мой!

— Не беспокойте владыку,— проговорил Сисой сердито, проходя через комнату.— Пущай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках,— одним словом, было ве-

село, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

РАССТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ

I

В доме уездного предводителя Бондарева, Михаила Ильича, шла всенощная. Служил молодой священник, полный блондин с длинными кудрями и с широким носом, похожий на льва. Пели только дьячок и письмоводитель.

Михаил Ильич, серьезно больной, неподвижно сидел в кресле, бледный, с закрытыми глазами, точно мертвец. Жена его Вера Андреевна стояла рядом, склонив голову набок, в ленивой и покорной позе человека, равнодушного к религии, но обязанного стоять и изредка креститься. Александр Андреевич Яншин, родной брат Веры Андреевны, и его жена Леночка стояли позади кресла и тоже рядом. Был канун троицы. В саду тихо шумели деревья, и прекрасная вечерняя заря горела попраздничному, захватив полнеба.

Слышался ли в открытые окна трезвон городских и монастырских колоколов, кричал ли на дворе павлин, или кашлял кто-нибудь в передней, всем невольно приходило на мысль, что Михаил Ильич серьезно болен, что доктора приказали, как только ему станет легче, везти его за границу, но что изо дня в день ему становилось то лучше, то хуже, ничего нельзя было понять, а время шло, неопределенность наскучила. Яншин еще на пасху приехал сюда, чтобы помочь сестре везти мужа за границу; но вот уж он прожил здесь со своей женой почти два месяца, вот уж служится при нем чуть ли не третья

всенощная, а будущее все еще в тумане, и ничего нельзя понять. И никто бы не мог поручиться, что этот кошмар не будет тянуться до осени...

Яншин был недоволен и скучал. Ему надоело каждый день собираться за границу, и уж хотелось домой, к себе в Новоселки. Правда, и дома невесело, но зато там нет этой просторной залы с четырьмя колоннами по углам, нет белых кресел с золотистой обивкой, желтых портьер, люстры и всей этой мещанской безвкусицы, претендующей на великолепие, нет эха, повторяющего ночью каждый твой шаг, а главное — нет этого болезненного, желтого, пухлого лица с закрытыми глазами. Дома можно смеяться, говорить глупости, громко ссориться с женой или с матерью, одним словом — жить, как хочешь; а здесь, точно в пансионе, ходи на цыпочках, шепчись, говори только умное, или вот стой и слушай всенощную, которая служится не из религиозного чувства, а, как говорит сам Михаил Ильич, по традиции... И ничто так не утомляет и не принижает, как это состояние, когда приходится смиряться перед человеком, которого в глубине души считаешь ничтожеством, и нянчиться с больным, которого не жаль...

Яншин думал еще об одном обстоятельстве: в прошлую ночь жена Леночка объявила ему, что она беременна. Эта новость была интересна только потому, что вносила в вопрос о поездке еще новую смуту. Как теперь быть? Везти ли Леночку с собой за границу, или же отправить ее к матери в Новоселки? Но путешествовать в ее положении было бы неудобно, а домой она ни за что не поедет, так как не ладит со своею свекровью и не согласится жить в деревне одна, без мужа.

«Или мне воспользоваться этим предлогом и вместе с нею уехать домой? — думал Яншин, стараясь не слушать дьячка. — Нет, неловко оставлять тут Веру одну... — решил он, взглянув на стройную фигуру своей сестры. — Но как же быть?»

Он думал и спрашивал себя: «Как же быть?» — и его жизнь представлялась ему крайне сложной и запутанной. Все эти вопросы о поездке, сестре, жене, зяте и проч., каждый в отдельности, быть может, решились бы очень легко и удобно, но все они были спутаны вместе и похо-

дили на невылазное болото, и стоило решить только какой-нибудь один, чтобы от этого еще пуще запутались другие.

Когда священник, перед тем как читать евангелие, обернулся и сказал: «Мир всем!» — больной Михаил Ильич вдруг открыл глаза и задвигался в кресле.

— Саша! — позвал он.

Яншин быстро подошел к нему и нагнулся.

— Мне не нравится, как он служит... — сказал Михаил Ильич вполголоса, но так, что слова его ясно пронеслись по зале; дыхание у него было тяжелое, со свистом и хрипом. — Я уйду отсюда. Проводи меня, Саша.

Яншин помог ему подняться и взял его под руку.

— Ты останься, милая, — сказал Михаил Ильич слабым, просящим голосом жене, которая хотела взять его под руку с другой стороны. — Останься! — повторил он с раздражением, взглянув на ее равнодушное лицо. — Я и так дойду!

Священник стоял с раскрытым евангелием и ждал. Среди наступившей тишины ясно послышалось стройное хоровое пение мужских голосов. Пели где-то за садом, должно быть на реке. И вышло очень мило, когда вдруг зазвонили в соседнем монастыре и этот мягкий, мелодичный звон смешался с пением. У Яншина сжалось сердце от сладкого предчувствия чего-то хорошего, и он едва не забыл, что ему нужно вести больного. Посторонние звуки, прилетевшие в залу, почему-то напомнили ему, как мало в его теперешней жизни наслаждения и свободы, и как мелки, ничтожны и неинтересны задачи, которые он с таким напряжением решал каждый день от утра до ночи. Когда он повел больного и прислуга, сторонясь и давая дорогу, поглядывала с мрачным любопытством, с каким обыкновенно в деревнях глядят на мертвое тело, он вдруг почувствовал ненависть, тяжелую, острую ненависть к пухлому, бритому, актерскому лицу больного, к его рукам воскового цвета, к плюшевому халату, к дыханию, к стуку его черной палки... От этого чувства, которое он теперь испытывал впервые за все время, пока жил, и которое так неожиданно захватило его, у него похолодели голова и ноги

и сильно застучало сердце. Ему страстно захотелось, чтобы Михаил Ильич умер сию же минуту, чтоб он вскрикнул в последний раз и хлопнулся о пол, но в одно мгновение он вообразил себе эту смерть и с ужасом отвернулся от нее... Когда вышли из залы, он хотел уж не смерти больного, а жизни для себя: оторвать бы руки от теплой подмышки и бежать, бежать, бежать без оглядки...

Постель для Михаила Ильича была устроена в кабинете на турецком диване. В спальне больному казалось жарко и неудобно.

— Что-нибудь одно: будь попом или гусаром! — сказал он, тяжело опускаясь на диван. — Что за манеры! Ах, боже мой... Я бы такого ферта-попа в дьячки разжаловал.

Глядя на его капризное, несчастное лицо, Яншин хотел возразить ему, сказать какую-нибудь дерзость, сознаться в своей ненависти, но вспомнил приказ докторов — не волновать больного, и промолчал. Впрочем, не в докторах дело. Чего бы только нельзя было наговорить и накричать, если бы с этим ненавистным человеком не была связана навеки и безнадежно судьба сестры Веры? У Михаила Ильича была манера постоянно выпячивать вперед сжатые губы и двигать ими в стороны, точно он сосал леденец, и это движение бритых и полных губ раздражало теперь Яншина.

— Ты, Саша, иди туда... — сказал Михаил Ильич. — Ты здоров и, кажется, равнодушен к церкви... Для тебя все равно, кто бы ни служил. Иди.

— Но ты ведь тоже равнодушен к церкви... — тихо проговорил Яншин, сдерживая себя.

— Нет, я верую в провидение и признаю церковь.

— Вот именно. Как мне кажется, в религии тебе нужны не бог и не истина, а такие слова, как «провидение», «свыше»...

Яншин хотел прибавить: «иначе бы сегодня ты не оскорбил так священника», но замолчал. Ему казалось, что он уже позволил себе сказать и без того слишком много.

— Иди, пожалуйста! — проговорил нетерпеливо Михаил Ильич, который не любил, когда с ним не согла-

шались или говорили о нем самом.— Я никого не желаю стеснять... Я знаю, как тяжело сидеть около больного... Знаю, брат! Всегда говорил и буду говорить: нет тяжелее и святее труда, как труд сиделки. Иди, сделай милость!

Яншин вышел из кабинета. Спустившись к себе вниз, он надел пальто и шляпу и через парадную дверь прошел в сад. Был уже девятый час. Наверху пели канон. Пробираясь между клумб, розовых кустов, голубых из гелиотропа вензелей V и М (то есть Вера и Михаил) и мимо множества чудесных цветов, которые в этой усадьбе никому не доставляли удовольствия, а росли и цвели, вероятно, тоже «по традиции», Яншин спешил и боялся, как бы не окликнула его сверху жена. Она легко могла его увидеть. Но вот он, пройдя немного парком, вышел на еловую аллею, длинную и темную, сквозь которую по вечерам бывает виден закат. Тут старые, дряхлые ели всегда, даже в тихую погоду, издают легкий, суровый шум, пахнет смолой, и ноги скользят по сухим иглам.

Яншин шел и думал о том, что ненависть, которая сегодня во время всенощной так неожиданно овладела им, уже не оставит его, и с нею придется считаться; она вносила в его жизнь еще новое осложнение и обещала мало хорошего. Но от елей, спокойного, далекого неба и от праздничной зари веяло миром и благодатью. Он с удовольствием прислушивался к своим шагам, которые одиноко и глухо раздавались в темной аллее, и уж не спрашивал себя: «Как же быть?»

Почти каждый вечер он ходил на станцию получать газеты и письма, и это, пока он жил у зятя, было его единственным развлечением. Почтовый поезд приходил в три четверти десятого, именно в то время, когда дома начиналась нестерпимая вечерняя скука. В карты играть было не с кем, ужинать не давали, спать не хотелось, и потому приходилось поневоле или сидеть около больного, или же читать вслух Леночке переводные романы, которые она очень любила. Станция была большая, с буфетом и с книжным шкафом. Можно было закусить, выпить пива, посмотреть книги... Больше же всего Яншину нравилось встречать поезд и завидовать пассажи-

рам, которые куда-то ехали и, казалось ему, были счастливее, чем он.

Когда он пришел на станцию, то на платформе уже гуляла в ожидании поезда та публика, которую он привык видеть здесь каждый вечер. Тут были дачники, жившие около станции, два-три офицера из города, какой-то помещик со шпорой на правой ноге и с догом, который ходил за ним, печально опустив голову. Дачники и дачницы, очевидно хорошо знакомые между собой, громко разговаривали и смеялись. Как всегда, больше всех был оживлен и громче всех смеялся дачник инженер, очень полный мужчина лет сорока пяти, с бакенами и с широким тазом, одетый в ситцевую рубаху навыпуск и плисовые шаровары. Когда он, выпятив вперед свой большой живот и поглаживая бакены, проходил мимо Яншина и ласково взглядывал на него своими маслеными глазами, то Яншину казалось, что этот человек живет с большим аппетитом. У инженера было даже особенное выражение на лице, которое нельзя было иначе прочесть, как только: «Ах, как вкусно!» Фамилия у него была нескладная, тройная, и Яншин помнил ее только потому, что инженер, любивший громко поговорить о политике и поспорить, часто клялся и говорил:

— Не будь я Битный-Кушле-Сувремович!

Говорили, что он был большой весельчак, хлебосол и страстный винтер. Яншину давно уже хотелось познакомиться с ним, но подойти к нему и заговорить он не решался, хотя догадывался, что тот был не прочь от знакомства... Гуляя одиноко по платформе и слушая дачников, Яншин всякий раз почему-то вспоминал, что ему уже тридцать один год и что, начиная с двадцати четырех лет, когда он кончил в университете, он ни одного дня не прожил с удовольствием: то тяжба с соседом из-за межи, то у жены выкидыш, то кажется, что сестра Вера несчастна, то вот Михаил Ильич болен и нужно везти его за границу; он соображал, что все это будет продолжаться и повторяться в разных видах без конца и что в сорок и пятьдесят лет будут такие же заботы и мысли, как и в тридцать один, одним словом, из этой твердой скорлупы ему не выйти уже до самой смерти. Надо уметь обманывать себя, чтобы думать иначе. И ему

хотелось перестать быть устрицей хотя на один час; хотелось заглянуть в чужой мир, увлечься тем, что не касалось его лично, поговорить с посторонними для него людьми, хотя бы с этим толстым инженером или с дачницами, которые в вечерних сумерках все были так красивы, веселы, а главное — молоды.

Пришел поезд. Помещик с одной шпорой встретил полную пожилую даму, которая обняла его и несколько раз повторила взволнованным голосом: «Alexis!» По всей вероятности, это была его мать. Он церемонно, точно балетный jeune premier[1], звякнув шпорой, предложил ей руку и сказал носильщику бархатным, слащавым баритоном:

— Будьте так любезны, получите наш багаж!

Скоро поезд ушел... Дачники получили свои газеты и письма и разошлись по домам. Наступила тишина... Яншин погулял еще немного по платформе и пошел в залу I класса. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел порцию телятины и выпил пива. Церемонные, изысканные манеры помещика со шпорой, его слащавый баритон и вежливость, в которой было так мало простоты, произвели на него неотвязчивое, болезненное впечатление. Он вспоминал его длинные усы, доброе и неглупое, но какое-то странное, непонятное лицо, его манеру потирать руки, как будто было холодно, и думал о том, что если полная пожилая дама действительно мать этого человека, то, вероятно, она очень несчастна. Ее взволнованный голос говорил только одно слово: «Alexis!», но робкое, растерянное лицо и любящие глаза договаривали все остальное...

II

Вера Андреевна видела в окно, как уходил ее брат. Она знала, что он идет на станцию, и вообразила себе еловую аллею всю до конца, потом спуск к реке, широкий вид и то впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на нее реки, заливные луга, а за ними станция и березовый лес, где жили дачники, а направо

---

[1] театральное амплуа первого любовника (*франц.*).

вдали уездный городок и монастырь с золотыми главами... Потом она вообразила опять аллею, темноту, свой страх и стыд, знакомые шаги и все то, что может повториться опять, быть может даже сегодня... И она вышла из залы на минутку, чтобы распорядиться насчет чаю для батюшки, и, придя в столовую, достала из кармана письмо в твердом конверте и с заграничной маркой, согнутое вдвое. Это письмо было принесено ей минут за пять до всенощной, и она успела уже прочесть его два раза.

«Милая моя, дорогая, мучение мое, тоска моя», — прочитала она, держа письмо в обеих руках и давая им обеим упиваться прикосновением к этим милым, горячим строкам. «Милая моя, — начала она опять с первого слова, — дорогая, мучение мое, тоска моя, ты пишешь убедительно, но я все-таки не знаю, что мне делать. Ты тогда сказала, что, *наверное*, уезжаешь в Италию, и я, как сумасшедший, поскакал вперед, встретить тебя здесь и любить мою милую, мою радость. Я думал, что здесь ты уже не будешь в лунные ночи бояться, как бы мою тень не увидели из окна твой муж или брат. Здесь я гулял бы с тобою по улицам, и ты не боялась бы, что Рим или Венеция узнают о том, что мы любим друг друга. Прости, мое сокровище, но есть Вера робкая, малодушная, нерешительная; есть другая Вера — равнодушная, холодная, гордая, которая при посторонних называет меня «вы» и делает вид, что едва замечает меня. Я хочу, чтобы меня любила эта другая, эта гордая и прекрасная... Я не хочу быть филином, который имеет право наслаждаться только вечером и ночью. Дай мне света! Потемки гнетут меня, милая, и эта наша любовь урывками и украдкой держит меня впроголодь, и я раздражен, страдаю, бешусь... Ну, одним словом, я думал, что моя Вера, не первая, а другая, здесь, за границей, где от надзора легче укрыться, чем дома, — даст мне хоть один час полной, настоящей любви, без оглядки, чтобы я хоть один раз, как следует, почувствовал себя любовником, а не контрабандистом, чтобы ты, когда обнимаешь, не говорила: «Мне уже пора!» Я думал так, но вот прошел уже целый месяц, как я живу во Флоренции, тебя нет, и ничего неизвестно. Ты пишешь: «В этом

месяце мы едва ли выберемся». Что же это такое? Отчаяние мое, что ты делаешь со мной?! Пойми, я без тебя не могу, не могу, не могу!!! Говорят, Италия прекрасна; но мне скучно, я точно в изгнании, и моя сильная любовь томится как ссыльная. Мой каламбур, скажешь, не смешон, но ведь зато я смешон, как шут. Я мечусь то в Болонью, то в Венецию, то в Рим и все смотрю, нет ли в толпе женщины, похожей на тебя. От скуки я по пяти раз обошел уже все картинные галереи и музеи, и видел на картинах только тебя одну. В Риме я с одышкою взбираюсь на Monte Pincio и смотрю оттуда на Вечный город, но вечность, красота, небо — все сливается у меня в один образ с твоим лицом и в твоем платье. А здесь, во Флоренции, я хожу по лавкам, где продают скульптуру, и когда никого не бывает в лавке, обнимаю статуи, и мне кажется, что это я тебя обнимаю. Ты нужна мне сейчас, сию минуту... Вера, я безумствую, но прости, я не могу, я завтра уеду к тебе... Это письмо лишнее, ну, да пусть! Милая, значит, решено: я завтра еду».

ПИСЬМО

«Многоуважаемая Мария Сергеевна! Посылаю Вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите. Обращаю Ваше внимание на страницы 17—42, 92, 93 и 112, особенно на те места, которые я подчеркнул карандашом. Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуется в этой неуклюжести! В одной фразе три раза «который» и два раза «видимо», фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой, но какой фонтан бьет из-под этих «которых», какая прячется под ними гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда! Вы читаете и видите между строк, как в поднебесье парит орел и как мало он в это время заботится о красоте своих перьев. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны знать привычных, определенных форм. Их форма — свобода, не стесняемая никакими соображениями о «которых» и «видимо». Когда я пишу к Вам, меня всякий раз стесняют и раздражают мои малейшие погрешности в слоге, а это значит, что я не художник, что во мне слово преобладает над образами и настроением.

Пожалуйста, прочтите книгу. Я читал ее вчера весь день, у меня захватывало дух, и я чувствовал, как новые элементы жизни, каких я раньше не знал, входили в существо моего сердца. С каждой новой страницей я становился богаче, сильнее, выше! Я изумлялся, плакал от

восторга, гордился и в это время глубоко, мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта, и мне казалось, что каждая из этих могучих, стихийных страниц создана *недаром*, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь, соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море... Не верю, тысячу раз не верю, чтоб природа, в которой все целесообразно, относилась безучастно к тому, что составляет самую прекрасную и самую разумную, сильную, непобедимую часть ее, именно ту часть, которая создается помимо ее воли гением человека. Я чувствую, что, кажется, пишу чепуху, смейтесь, но не мешайте мне бредить, мечтать, говорить сказки. Вы не можете представить, как радостно и весело писать даже пустой бред, когда знаешь, что на эти строчки будут глядеть Ваши добрые глаза.

Вчера я так увлекся книгой, что даже не обрадовался приезду Травникова, которого я люблю. Он приехал ко мне с головной болью и не в духе. После больших операций у него всегда болит голова — отравляется парами карболовой кислоты. Он стал расспрашивать меня о моей ноге, а я в ответ прочел ему те 20 строк, которые я подчеркнул на 92 странице, и у нас завязался литературный спор. Травников сказал:

— Время, которое я потратил на чтение философии, поэзии и беллетристики, я считаю потерянным. У них много претензий, но они не объяснили и не осветили мне ни одного явления, и за это я их не люблю. Все в них субъективно, а потому наполовину они — ложь, а наполовину — ни то ни се, середка между ложью и правдой. Мнение, что без них нельзя обойтись, — предрассудок; они, как театр и цирк, служат только для развлечения, и я читаю их теперь только для развлечения. Отдаю я предпочтение тем авторам, у которых меньше претензий, а в этом отношении самые удобные книги — французские романы.

— А кто нас учит мыслить, позвольте вас спросить? — сказал я.

— Тот, кто говорит правду, а поэзия и романы не говорят правды.

И так далее, все в таком роде. Извольте тут спорить! Упрямый, предубежденный человек. Заговорили о красоте.

— Красота приятна, — сказал он, — и служит только для удовольствия, потому-то без нее трудно обходиться. Кто же ищет в ней не удовольствия, а правды или знания, того она подкупает, обманывает и сбивает с толку, как мираж. Когда я имел неосторожность учиться у красоты мыслить, то она делала из меня пьяного и слепого. Так, читая «Фауста», я не замечал, что Маргарита — убийца своего ребенка; в байроновском «Каине» для меня были бесконечно симпатичны и сам Каин и черт... Да мало ли?

Он сдавил свою больную голову руками, прислонился ею к столу и проговорил вяло:

— Красота, талант, высокое, прекрасное, художественное — все это очень мило, но условно, не поддается логическому определению и из всего этого не извлечешь ни одного непреложного закона. Как сказал кто-то до потопа, что соловей любовник розы, что дуб могуч, а повилика нежна, ну, мы и верим... А почему верим?

Я стал, по обыкновению, горячиться и говорить не то, что нужно.

— Не понимаю, что вы сердитесь? — сказал он, поднимая голову. — Что оскорбительного в том, что искусства служат только для развлечения? Милый мой, я хотел бы быть даже плохим писателем, чтобы только уметь развлекать своими книжками больных и заключенных. Разве мала заслуга писателя в том, что вы сегодня целый день веселы? Впрочем, душа моя, у меня невыносимо голова болит. Может быть, вы и правы. Ничего не знаю.

Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления! Да разве молния, когда блестит, объясняет что-нибудь? Не она должна объяснять нам, а мы должны объяснять ее. Хороши бы мы были, если бы вместо того, чтобы объяснять электричество, стали отрицать его только на том основании, что оно нам многого не объясняет. А ведь поэзия и все так называемые изящные искусства — это те же грозные, чудесные явления при-

роды, которые мы должны научиться объяснять, не дожидаясь, когда они сами станут объяснять нам что-нибудь. Как жаль и обидно, что даже умные, хорошие люди на каждое явление смотрят с специальной, предвзятой, слишком личной точки зрения. Травникова, например, мучает специальный вопрос о боге и целях жизни; искусства не решают этого вопроса, не объясняют, что будет за гробом, и Травников считает их за это предрассудком, низводит их на степень простого развлечения, без которого нетрудно обойтись, и раз даже в присутствии Вашей матушки сказал как бы в шутку, что они составляют один из видов «наследственного греха». В этом отношении не напоминает ли он Вам одну нашу общую знакомую, которая отрицает медицину и науки вообще только потому, что доктора плохо пляшут мазурку? Вино сладко, вкусно и веселит сердце, но этого недостаточно: наверное, найдется такой портной, который станет отрицать его на том основании, что оно не выводит пятен и не может служить вместо скипидара.

Но довольно философствовать. Моя нога находится в прежнем положении. Травников настаивает на операции, но я не соглашаюсь. Природа сама стремится к исцелению, и я сильно рассчитываю на это ее свойство. Авось дело обойдется и без операции. Скука ужасная, и если бы не книги, то я бы, кажется, по целым дням плакал от скуки. Жить в восьми верстах от Вас и не иметь права поехать к Вам — ведь это инквизиция!

Вчера у Зелениных была Ваша матушка и заезжала к нам. Распекала меня вместе с отцом за то, что я ушел из духовной академии. Все в один голос уверяют меня, что я поступил неумно. Может быть, это и так. Я и сам не знаю, зачем я ушел из академии, но не знаю также, зачем бы я и продолжал оставаться там. Меня томит жажда жизни, и я бегу оттуда, где ее нет или где она скроена не на мой вкус. Жизнь моя — это вы все, которых я так безгранично люблю. Я не могу, чтобы не видеть Вашего прекрасного, кроткого, сияющего добротой лица и чтобы хотя раз в месяц не слышать Вашего голоса; я не могу, чтоб не видеть Вашей великодушной матери и всей Вашей жизнерадостной, милосердной,

богом благословенной семьи, которая так же близка моей душе, как мои братья и отец. Мне нужно каждый день видеть около себя моего старого отца-страдальца и слышать каждую ночь, как он не спит и думает вслух о моем брате-каторжнике. Мне нужно, чтобы раз в два или три месяца приходил к нам из монастыря мой сумасшедший брат-монах только затем, чтобы, сверкая глазами, проклясть в моем присутствии цивилизацию и уйти назад. Жизнь моя не полна, если я хотя раз в неделю не вижу Травникова, которого я люблю тем сильнее, чем глубже засасывается он в тину, куда влечет его жадная, неумолимая, мучительная мысль. Он во что бы то ни стало хочет веры. Он хочет и ищет бога, ищет день и ночь и находит одну только пропасть, в которую чем дольше смотришь, тем кажется она глубже и темнее. А какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне и заходить в избы к людям и говорить с ними. Какое разнообразие лиц, голосов, умов, вкусов, верований! А какая прелесть наш старый дьякон Павел Денисович, который вот уже два года умирает ежедневно и никак не может умереть, и сам же смеется над своею живучестью: «Умираю, умираю и никак не помру!» Хороша жизнь, Мария Сергеевна! Правда, она тяжела, скоротечна, но зато как богата, умна, разнообразна, интересна, как изумительна! Травников отравляет себя тоской по бессмертию и вечному блаженству; но я не так жаден, и для меня совершенно достаточно этой короткой, маленькой, но прекрасной жизни.

Как только начну ходить, тотчас же примусь за дело. Займусь хозяйством и живот свой положу за искусство. Буду писать. Но что писать? Повесть у меня не вытанцовывается. Дурно справляюсь с техникой, слишком зализываю. В голове у меня тесно от образов и картин — этим добром я богат, но почему-то герои мои не выливаются в характеры и все похожи друг на друга, как капли воды. Они у меня мало двигаются и много рассуждают, а нужно наоборот. Я принялся теперь за критику. Буду сам изучать и, как умею, объяснять людям то, что я так люблю и в чем вижу единственное верное средство против предрассудков, невежества и рабства.

К рассказу «Невеста».
Художник Д. Дубинский. 1954.

Вчера отец спотыкнулся на улице и упал. Объясняет это утомлением: страстная неделя, почти весь день служит. Слава богу, обошлось благополучно.

Мой сердечный привет всем Вашим. Поклон всем, всем! Я слышу, что за окном уже настоящая весна, но не вижу ее. Хорошо бы теперь к Вам! Мне бы только один разочек пройтись с Вами на гору, и больше бы я ничего не хотел. Цветут вишни? Впрочем, рано. Прощайте, будьте счастливы, здоровы, веселы и не забывайте сердечно любящего и искренно преданного Вам калеку Игнатия Баштанова».

Кончив это письмо, Игнаша вложил его в конверт и написал такой адрес: «Ее Высокоблагородию Марии Сергеевне Волчаниновой». В это время в его комнату вошел о. Алексей с подносом, на котором стоял стакан чаю. Игнаша сконфузился и сунул письмо под подушку.

НЕВЕСТА

I

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже двадцать три года; с шестнадцати лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем

радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Александр Тимофеич, или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными, худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь,— сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму,— сказала Надя.— Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости,— добавила она, помолчав,— но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая...— согласился Саша.— Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне все здесь как-то дико с непривычки,— продолжал он.— Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надоело,— сказала она и встала.— Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего,— сказала она.— Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— Моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в залу, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в pince-nez и с брильянтами на каждом паль-

це; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника,— все трое говорили о гипнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься,— сказала бабуля, обращаясь к Саше,— только вот кушай побольше. И на что ты похож!— вздохнула она.— Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.

— Отеческого дара расточив богатство,— проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами,— с бессмысленными скоты пасохся окаянный...

— Люблю я своего батьку,— сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо.— Славный старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.

— Стало быть, вы верите в гипнотизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю,— ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение,— но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели брильянты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами,— сказала она,— но, согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах

с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.

Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.

Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.

II

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все те же, что в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.

«Тик-ток, тик-ток... — лениво стучал сторож. — Тик-ток...»

В большое старое окно виден сад, дальше кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На далеких деревьях кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой

каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как по писаному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?

Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.

Уже проснулась бабуля. Закашлял грубым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.

Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро.

Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.

— О чем ты плакала, мама? — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез, — сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. — Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.

— А мне все эти дни так невесело, — сказала Надя, помолчав. — Отчего я не сплю по ночам?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира...

Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.

А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп и постный борщ. Он шутил все время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как сострить, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете, тогда становилось жаль его до слез.

После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла.

— Ах, милая Надя,— начал Саша свой обычный послеобеденный разговор,— если бы вы послушались меня! если бы!

Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.

— Если бы вы поехали учиться! — говорил он.— Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне,— все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!

— Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.

— Э, полно! Кому это нужно?

Вышли в сад, прошлись немного.

— И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна

эта ваша праздная жизнь, — продолжал Саша. — Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша бабулька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?

Надя хотела сказать: «Да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.

Перед вечером приходил Андрей Андреич и, по обыкновению, долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная!.. — бормотал он. — О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.

В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе... Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

И Саша не спал внизу, — слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столь-

ко прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать...— шептала она.— Не надо думать об этом.

«Тик-ток...— стучал сторож где-то далеко.— Тик-ток... тик-ток...»

III

Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву.

— Не могу я жить в этом городе,— говорил он мрачно.— Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шепотом,— седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотел ведь у нас до сентября прожить!

— А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!

Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.

Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул. — Это художника Шишмачевского.

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мутило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.

— Каково? — сказал он и рассмеялся. — Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.

— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, — сказал он, помолчав немного. — Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего

мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.

— Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой. — Люблю я своего батьку, право, — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Славный старик. Добрый старик.

Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какою она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье, — сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.

IV

Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде все чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть

сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; все, что приходило на память, было так слабо, ненужно.

В печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.

— Мама, мама,— проговорила она,— родная моя, если б ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!

— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать.— Куда уехать?

Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мне уехать из города! — сказала она наконец.— Свадьбы не должно быть и не будет, пойми! Я не люблю этого человека... И говорить о нем не могу.

— Нет, родная моя, нет,— заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись.— Ты успокойся,— это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бранятся — только тешатся.

— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.

— Да,— сказала Нина Ивановна, помолчав.— Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.

— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна,— сказала Надя,— ты очень несчастна,— зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?

Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина

Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.

— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя.— Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же не умен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!

Нина Ивановна порывисто села.

— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, всхлипнув.— Я жить хочу! Жить! — повторила она и раза два ударила кулачком по груди.— Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..

Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал.

Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.

— Что? — спросил Саша.

— Не могу...— проговорила она.— Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...

— Ну, ну...— проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело.— Это ничего... Это хорошо.

— Эта жизнь опостылела мне,— продолжала Надя,— я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!

Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.

— Великолепно! — говорил он, потирая руки.— Боже, как это хорошо!

А она глядела на него, не мигая, большими, влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть.

— Завтра я уезжаю, — сказал он, подумав, — и вы поедете на вокзал провожать меня... Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдете в вагон, — мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?

— Есть.

— Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь, — сказал Саша с увлечением. — Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не важно. Итак, значит, завтра поедем?

— О да! Бога ради!

Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.

V

Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две... Потом не спеша вернулась вниз.

На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.

— Не поместишься с ним, Надя,— сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы.— И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!

Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.

— В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка.— Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!

— Ладно. Прощайте, бабуля!

— Сохрани тебя царица небесная!

— Ну, погодка! — проговорил Саша.

Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И все ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.

— Ничего-о! — говорил Саша, ухмыляясь.— Ничего-о!

VI

Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы

повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сюртуке и парусинковых брюках, все с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.

— Боже мой, Надя приехала! — сказал он и весело рассмеялся.— Родная моя, голубушка!

Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты, пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.

— Ничего, все обошлось благополучно,— рассказывала Надя торопливо.— Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходит в мою комнату и крестит стены.

Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя все вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно, или ей это только так кажется.

— Саша, дорогой мой,— сказала она,— а ведь вы больны!

— Нет, ничего. Болен, но не очень...

— Ах, боже мой,— заволновалась Надя,— отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша,— проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, каким был в прошлом году.— Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сделала, чтобы

вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.

Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.

— Я послезавтра на Волгу поеду,— сказал Саша,— ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; все сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.

Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.

Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и брильянты блестели у нее на пальцах.

— Милая моя! — говорила она, дрожа всем телом.— Милая моя!

Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и бесповоротно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал,— и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!

Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот

же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, посидела, подумала. И обедала хорошо и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.

Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.

— Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав.— Ты довольна? Очень довольна?

— Довольна, мама.

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной,— сказала она.— Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.

— Скажи, мама, как здоровье бабушки?

— Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом все богу молилась и плакала. А теперь ничего.

Она встала и прошлась по комнате.

«Тик-ток...— стучал сторож.— Тик-ток, тик-ток...»

— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму,— сказала она,— то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.

Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она по-прежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу

из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте,— будет же время, когда от этого дома не останется и следа и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:

— Невеста! Невеста!

Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушиваясь. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то... Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.

Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, или попросту Саша.

Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комна-

там и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.

«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город,— как полагала, навсегда.

ПРИМЕЧАНИЯ

СУПРУГА

Впервые напечатано в сборнике Общества любителей российской словесности на 1895 г. «Почин», М. 1895, с подзаголовком *Рассказ*. С небольшой правкой вошло в том VIII собрания сочинений.

В октябре 1894 г. председатель Общества любителей российской словесности Н. И. Стороженко обратился к Чехову с просьбой написать рассказ для сборника «Почин». 3 февраля 1895 г. писатель уведомлял Стороженко: «Посылаю рассказ для сборника и извиняюсь за промедление... Быть может, в корректуре я изменю заглавие, если придумаю какое-нибудь новое, более подходящее». Изменил ли Чехов название, или рассказ с самого начала назывался «Супруга», выяснить не удалось.

Брат писателя, М. П. Чехов, в книге «Вокруг Чехова» («Московский рабочий», М. 1960, стр. 266) вспоминает: «Между прочим, сюжет для его рассказа «Супруга» привез ему из Ярославля я, где один знакомый посвятил меня в тайну своей жизни...» Подробнее о том же он свидетельствует в книге «Антон Чехов и его сюжеты» (М. 1923, стр. 124): «Это я привез ему из провинции сюжет его рассказа «Супруга». В ней выведена почти в подробностях несчастная семейная жизнь бывшего управляющего ярославской казенной палатой Ал. Ал. Саблина... Распространяться об этом сюжете надобности не представляется, так как этот рассказ почти биография покойного Саблина».

Вл. И. Немирович-Данченко 27 апреля 1895 г. сообщал Чехову, что «Супруга» пользуется успехом. В статье «О встречах с А. П. Чеховым» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 368) писатель С. Т. Семенов

вспоминает, как восхищался рассказом Л. Н. Толстой. По свидетельству И. Л. Толстого, Л. Н. Толстой относил «Супругу» к числу лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд., стр. 577).

В прессе рассказ прошел почти незамеченным. В газете «Московские ведомости» (1895, № 114, 27 апреля) появился отзыв Ю. Николаева (псевдоним Ю. Говорухи-Отрока), который ограничился положительной, но весьма поверхностной оценкой произведения.

АННА НА ШЕЕ

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1895, № 292, 22 октября, с подзаголовком *Рассказ*. В переработанном виде вошло в том IX собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов разделил его на две главы, снял подзаголовок, внес много существенных дополнений и уточнений. Исправления шли в основном по линии углубления характеристик персонажей. В новой редакции Чехов дал более яркие сатирические портреты Модеста Алексеича, его сиятельства, офицера на балу. Например, в характеристику Модеста Алексеича внесены такие штрихи (выделено курсивом): «Это был чиновник среднего роста, довольно полный, *пухлый, очень сытый,* с длинными бакенами и без усов... Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в *жирные, дрожащие, как желе*, щеки...»; «...Модест Алексеич... говорил... о том... что копейка рубль бережет *и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность...»*; «...муж отдыхал *и громко храпел...»*; «он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. *И часто он отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы...»*; «...стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, *холопски-почтительным* выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных». О его сиятельстве в газетном тексте было: «...Публика вдруг расступилась перед ней и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство с двумя звездами, глядя прямо на нее и улыбаясь». В собрании сочинений стало: «...Публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и

слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин». В образ офицера на балу внесен такой штрих (выделено курсивом): «...Он важно *и тяжело, словно туша в мундире,* ходил, поводил плечами и грудью...»

В тексте собрания сочинений ярче подчеркнута кокетливость Ани. Так, после слов «Заметив, что на нее смотрит Артынов», внесен новый штрих: «...она кокетливо прищурила глаза». Характерно следующее изменение, было: «...она уже напевала вальс, звуки которого посылал ей вдогонку военный оркестр...», стало: «...она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр...» Изменение одной, на первый взгляд, мелкой детали (вместо вальса — полька) весьма существенно. Эта деталь, так удачно найденная Чеховым, намечает настроение всего рассказа. Звуки польки, веселого, задорного танца, резко отличного от вальса, плавного, часто грустного, меланхоличного,— это тот ключ, в каком пойдет развитие образа Ани. Больше показана в новой редакции и намечающаяся после замужества отчужденность Ани в отношениях с родными. Так, вместо: «Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода говорили о том, что она вышла из-за денег, за нелюбимого; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли их, но любили они ее по-прежнему...», стало: «Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но все же любили они ее по-прежнему...» Появился новый штрих и в отношении Ани к отцу на балу (выделено курсивом): «Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь *неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец),* но он выпил... и важно отошел...» Перерабатывая рассказ, Чехов дал отсутствовавшее ранее описание дворянского собрания, где произошло знакомство Ани со светским обществом, перевернувшее ее жизнь: «Поехали на бал. Вот и дворянское собрание и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами».

Рассказ был написан к середине октября 1895 г. в Мелихове и послан В. М. Соболевскому, редактору-издателю газеты «Русские ведомости». В письме от 15 октября 1895 г. Чехов уведомлял Соболевского: «Посылаю рассказ... Мне хотелось бы прочесть его в корректуре... Будьте добры послать... корректуру, которую я прочту в четверг вечером, а в пятницу утром пошлю обратно». 18 октября корректура была послана Чехову вместе со следующим письмом Соболевского: «Посылаю корректуру... не нашел в ней ничего такого, что могло бы потребовать со стороны автора существенных изменений. Вещь превосходная!»

Вскоре после опубликования рассказа в газете «Московские ведомости» (1895, № 295, 26 октября) появилась статья Ю. Николаева, в которой он стремился доказать, что «Анна на шее» — один из слабых рассказов Чехова. Давая общую характеристику его творчества, Ю. Николаев с позиций реакционной теории «чистого искусства» пытался снизить значение Чехова как крупнейшего писателя критического направления.

БЕЛОЛОБЫЙ

Впервые напечатано в журнале «Детское чтение», 1895, ноябрь, с подзаголовком *Рассказ,* с рисунками В. И. Андреева. Перепечатано в сборнике «Сказки жизни и природы русских писателей. Собрал для детей М. Васильев», М. 1899. Издан отдельной книгой М. В. Клюкиным, М. 1899. С незначительными изменениями включен автором в том III собрания сочинений.

Рассказ был сдан Чеховым в журнал «Детское чтение» в середине апреля 1895 г., но напечатан только в ноябре (письмо редактора журнала Д. И. Тихомирова к Чехову от 17 апреля 1895 г.).

М. В. Клюкин, московский книготорговец и мелкий издатель, просивший Чехова напечатать рассказ «Белолобый» в сборнике для детей М. Васильева, издал его также и отдельной книгой, без разрешения автора. О самовольных действиях Клюкина Чехов писал брату, И. П. Чехову: «Скажи Клюкину, что я разрешил ему поместить «Белолобого» в сборнике, но не разрешал выпускать его брошюрами» (18 января 1899 г.).

Ал. П. Чехов пишет в своих воспоминаниях («Нива», 1911, № 26, стр. 478): «У брата во дворе жили три черные дворовые

собаки... и между ними среднего роста пес — «Белолобый». Последнего брат обессмертил в своем коротеньком рассказе «Белолобый».

21 января 1900 г. Чехов послал Г. И. Россолимо для организуемой им детской библиотеки свои два рассказа «Белолобый» и «Каштанка», сопроводив их письмом, в котором высказал свой взгляд на литературу для детей: «То, что у меня, по-видимому, подходит для детей,— две сказки из собачьей жизни, посылаю Вам заказной бандеролью. А больше у меня, кажется, нет ничего в этом роде. Писать для детей вообще не умею, пишу для них раз в 10 лет и так называемой детской литературы не люблю и не признаю. Детям надо давать только то, что годится и для взрослых. Андерсен, Фрегат Паллада, Гоголь читаются охотно детьми, взрослыми также. Надо не писать для детей, а уметь выбирать из того, что уже написано для взрослых, т. е. из настоящих художественных произведений; уметь выбирать лекарство и дозировать его — это целесообразнее и прямее, чем стараться выдумать для больного какое-то особенное лекарство только потому, что он ребенок. Простите сие медицинское сравнение».

После переиздания рассказа в 1899 г. в сборнике сказок для детей в печати появилась небольшая заметка о «Белолобом», за подписью И. Б. («Курьер», 1899, № 53, 22 февраля), автор которой положительно оценил рассказ и приветствовал его появление в дешевом издании.

УБИЙСТВО

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1895, кн. XI, ноябрь, с подзаголовком *Рассказ.* Без подзаголовка, с изменениями и после сокращений вошло в том VIII собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов значительно сократил его. Он отказался от многих описательно-оценочных мест, от пространных размышлений героев, достигая тем самым большего эмоционального воздействия на читателя. Приводим наиболее существенные изъятия. После слов «Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым» (стр. 44) ранее было: «Если послушаться и начать брать с проезжих дешево и вести дело в убыток, то уж это будет не торговля, а беспорядок и глупость.

А учения Матвея о том, что надо жить обыкновенно, как все, он не понимал вовсе». Выброшен и такой текст (после слов «Чтоб ей светлого дня не дождаться!» — стр. 45): «Аглая презирала Матвея за его легкомыслие в делах веры и за развратную жизнь, своего же родного брата Якова любила и боялась. Когда она бранила и унижала Матвея, то у нее было такое чувство, как будто она этим самым защищала Якова и его веру. Она могла кричать долго, до хрипоты, до изнеможения, и противоречить ей или перекричать ее было невозможно, и она продолжала кричать даже, когда все уходили со двора и оставляли ее одну». После слов «...закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал» (стр. 46) ранее следовало: «и, казалось, даже телом ощущал порядок и важность того, что он делал», а после слов «...скучно слушать свой тихий, заунывный голос» (стр. 47) было: «Что он читал, что Аглая пела и что лампадки горели — всего этого ему было уже мало и хотелось еще чего-то, но чего именно, понять он не мог». После слов «...чувствовал против него злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами» (стр. 50) была фраза: «Он во всем обвинял теперь только одного Матвея; но ему казалось, что брат смутил его не словами, а тем, что, мешая ему молиться, нарушал благоговение и, таким образом, делал его молитву неугодною богу».

В новой редакции несколько изменена композиция рассказа. Так, бывшее начало VI главы в существенно переработанном виде Чехов перенес в конец V главы. Меняя расположение материала, автор снимает тем самым длительные колебания и раздумья буфетчика над предложением Якова Иваныча, его робость и нерешительность, в результате чего образ Сергея Никаноры-ча — стяжателя по натуре — стал психологически убедительнее.

Чехов обещал рассказ журналу «Русская мысль» еще в марте 1895 г. (письмо Чехова В. М. Лаврову от 17 марта 1895 г.), но написал его только к началу октября. Рассказ, навеянный сахалинскими впечатлениями, вынашивался долго. Об этом свидетельствуют и многочисленные заметки в Записной книжке Чехова на страницах за 1892—1895 гг.

В книге «Антон Чехов и его сюжеты» (М. 1923, стр. 124) М. П. Чехов сообщает, что он привез писателю из Углича некоторые детали, использованные в рассказе: надпись Матвея на прочитанной им книге (стр. 36) воспроизводит надпись, списанную М. П. Чеховым в Угличе с книги Дюма «Три мушкетера»; слова Матвея об Осипе Варламыче: «Городским головой

был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравилием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит» (стр. 39) — подлинные слова угличского головы.

А. И. Эртель, восхищаясь рассказом Чехова, писал 17 декабря 1895 г. В. А. Гольцеву: «Какая превосходная вещь «Убийство» Чехова, и во всех смыслах! Ужасно я рад за него — за то, что полоса скучных, не «выразительных», туманных вещей вроде «Три года»,— очевидно, прошла для него, и он вновь — сильный, искренний, глубокий талант с ой-ой каким царем в голове!» И. А. Бунин в своих «Воспоминаниях» называет «Убийство» «необыкновенно замечательным рассказом» («Литературное наследство», т. 68, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 677).

В печати появилось несколько отзывов, по преимуществу поверхностных, сбивающихся на пересказ произведения. Резко отрицательную оценку дал рассказу рецензент «Биржевых ведомостей» (1895, № 344, 15 декабря) М Полтавский (псевдоним М. Дубинского). Анонимный критик «Литературного обозрения» (1895, № 49, 3 декабря), отметив большой психологический интерес темы рассказа, заявил, что рассказ не удался Чехову и «оставляет в читателе неудовлетворенное чувство». Критика всячески стремилась сузить, умалить истинное содержание рассказа, пытаясь свести его только к религиозным переживаниям героев, полагая религию «основанием» «народной жизни». Таковы рецензии Ю. Николаева («Московские ведомости», 1895, № 323, 23 ноября), А. Скопинского (псевдоним А. Шевелева — «Русское слово», 1895, № 320, 25 ноября), И. Залетного (псевдоним И. Гофштеттера — «Русская беседа», 1895, декабрь). Либерально-буржуазный критик А. Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1895, № 330, 30 ноября) указал на большое познавательное значение рассказа. «Рассказ г. Чехова «Убийство»,— подчеркнул он,— именно тем и хорош, что он знакомит вас с русскою действительностью не в том казовом ее верхе, в каком она красуется перед вами на Невском проспекте и Кузнецком мосту, в аудиториях университетов, в художественных студиях и интеллигентных салонах», а с самой глубиной России, где разыгрываются сцены, поражающие дикостью и невежеством.

Стр. 38. *Кафизма* — каждый из двадцати отделов псалтыри. *Паремия* — нравоучительное слово, отрывок из священного

писания, читаемый в православной церкви в канун больших праздников.

Молоканство — религиозная секта в России, возникшая в XVIII в. Молокане отрицали обряды, иконы, святых, храмы, священников и всю церковную иерархию.

Стр. 41. *Дормез* — дорожная карета, в которой можно лежать.

АРИАДНА

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1895, кн. XII, декабрь, с подзаголовком *Рассказ*. Без подзаголовка, после значительного сокращения и с изменениями включено Чеховым в том IX собрания сочинений.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ) хранится правленная Чеховым беловая авторская рукопись рассказа, с которой производился набор для журнала. Но писатель правил рассказ еще и в корректуре, и потому журнальный текст значительно отличается от рукописного.

Авторская правка рассказа для собрания сочинений сводилась главным образом к сокращению текста. Чехов старался избавиться от всего мешающего развитию основной мысли рассказа. Так, он снял пространные излияния героя о своих чувствах, а также и некоторые общие рассуждения Шамохина. Например, после слов «...сердилась, когда подсудимых оправдывали» (стр. 82) в журнальном тексте было: «Назначайте женщин судьями и присяжными, и оправдательных приговоров не будет вовсе. Благодаря нашим знакомствам, мне приходилось встречаться со многими женщинами, русскими и иностранками, я присматривался к ним от нечего делать, изучал их и в конце концов убедился, что все они, как капли воды, похожи на мою Ариадну. В каждом взгляде, в жесте, в каждом слове, в каждом бантике и челке на лбу я чувствовал лукавство, умственное убожество, чувственность, жестокость. Насколько мужчины-европейцы утешали и восхищали меня своею культурностью, настолько женщины оскорбляли своим резким консерватизмом, своею отсталостью и ясно выраженным стремлением назад, в область мрака. В них я чуял серьезного врага, я возмущался, и бывали минуты, когда мне казалось, что если бы с Марса свалилась глыба и погребла под собой весь этот прекрасный пол, то это было бы актом величайшей справедливости».

Чехов отказывается и от многих рассуждений оценочного характера, от малейших следов очевидной субъективности. Так, им снято после слов «Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте» (стр. 73): «парк, где прозябает тропическая и оранжерейная флора, не ароматная, не красивая, жесткая, и лишь одиночками там и сям стоят старые грустные платаны, или буки, уцелевшие с того времени, когда еще не было здесь этих глупых, развратных казарм». После слов «как не смелы их вкусы и желания» (стр. 73) было: «В самом деле, нет людей более ограниченных в своих желаниях и в праве свободного выбора, как все эти горбоносые банкиры, принцы, контессы и бароны и наши русские von Jaschtschikoff и de Prianikoff, которые послушно, как школьники, гуляют по песочку и могут питаться, развлекаться и наслаждаться природой не иначе, как только по прейскуранту содержателей отелей, бывших лакеев, обкрадывавших когда-то своих господ».

Сокращая текст, Чехов в то же время вносит ряд добавлений, особенно значительных в конце рассказа. Так, после слов «...что ее мозг весит меньше мужского и что поэтому она может быть равнодушна к наукам и искусствам» вставлен большой кусок, со слов «...вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр...» кончая фразой «...нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов — и ничего с ней не делается...» (стр. 84).

Рассказ был написан для журнала «Артист», но в письме от 13 марта 1895 г. В. М. Лавров сообщил Чехову, что «Артист» «лопнул», передав свои права «Русской мысли» и просил прислать рассказ, написанный для «Артиста». 17 марта Чехов ответил: «Рассказ, написанный для «Артиста», для «Русской мысли» не годится; пришлю его на святой неделе вместе с той маленькой повестушкой, которую обещал», а 9 апреля «Ариадна» была послана Лаврову вместе с сопроводительным письмом: «Посылаю тебе рассказ... Думаю, что он не годится для «Русской мысли». Прочти, пожалуйста, и попроси Виктора Александровича (Гольцева.— *В. Р.*) прочесть. Если согласитесь со мной, то возвратите мне рассказ, если не согласитесь, то печатайте его не ранее, как будет напечатан тот рассказ, который вскорости я пришлю» («Убийство».— *В. Р.*). В редакции «Русской мысли» прочли «Ариадну» и, как пишет в своих воспоминаниях о Чехове В. М. Лавров, не согласились с мнением автора («Русские ведомости», 1904, № 202, 22 июня). 12 апреля 1895 г. Лавров уже

уведомлял Чехова: «Рассказ твой прочли. Конечно, напечатаем его с удовольствием. Большое за него спасибо». «Ариадна» была напечатана в «Русской мысли» только в декабрьской книге, после рассказа «Убийство», который Чехов представил лишь в октябре.

Рассказ был высоко оценен видным буржуазно-либеральным критиком и историком литературы Ф. Д. Батюшковым, который обратился к Чехову (письмо от 5 июля 1902 г.) за разрешением поставить эпиграфом к литературному сборнику в честь двадцатипятилетия учреждения Высших женских курсов в Петербурге слова из рассказа «Ариадна»: «...стремление женщин к образованию и к равноправию полов я понимаю как стремление к справедливости». 9 июня 1902 г. писатель ответил ему: «Строки из «Ариадны» возьмите, пожалуйста; этим Вы ничего не доставите мне, кроме большого удовольствия...» В. Э. Мейерхольд в письме к О. М. Мунт (начало 1896 г.) выражал свое восхищение рассказом «Ариадна»: «Вещь идейная и чудно написанная» (Н. Д. Волков, Мейерхольд, т. I, «Academia», М. 1929, стр. 58).

Рассказ был воспринят критикой очень поверхностно. Ю. Николаев не только счел его неудачным, но и обнаружил в нем подражательность, «вульгарный тон» и анекдотичность содержания («Московские ведомости», 1895, № 357, 28 декабря). В 1897 г. в связи с опубликованием повести «Мужики» появились статьи о творчестве Чехова, в которых попутно давалась оценка и произведений, написанных до «Мужиков», в частности рассказа «Ариадна». Однако эти отзывы по существу ничем не отличались от высказываний Ю. Николаева. Реакционный критик В. Буренин писал, что Чехов в «Ариадне» якобы «покушался на изображение модных жизненных течений... героев и героинь декадентского пошиба, но это... ему не удалось. Эти «Ариадны» и «Чайки» страдали фальшивым сочинительством...» («Новое время», 1897, № 7587, 11 апреля). Еще более резко и грубо отзывался о Чехове и его произведениях, в частности об «Ариадне», Скриба (псевдоним Е. Соловьева) в «Новостях и биржевой газете» (1897, № 118, 1 мая).

Стр. 61. *Макс Нордау* (1849—1924) — псевдоним Макса Зидфельда, немецкого публициста, литератора и доктора медицины, автора популярных в России в конце XIX в. произведений «В поисках истины», «Вырождение», «Болезнь века» и др. Макс Нордау во всем видел процесс вырождения.

Стр. 62. *Быркое место* — то есть быстрое место.

Стр. 82. *Маркевич Болеслав* (1822—1884) — реакционный писатель 70—80-х гг., автор произведений «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна» и др.

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Рассказ художника

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1896, кн. IV, апрель. С небольшими исправлениями включено автором в том IX собрания сочинений.

26 ноября 1895 г. Чехов сообщал из Мелихова в письме Е. М. Шавровой: «Теперь пишу маленький рассказ: «Моя невеста». Об условиях, в которых приходилось Чехову работать над «Домом с мезонином», известно из его письма А. С. Суворину (29 декабря): «Пишу небольшую повесть и никак не могу ее кончить: мешают гости. С 23 декабря у меня толчется народ, и я тоскую по одиночеству, а когда остаюсь один, то злюсь и чувствую отвращение к прожитому дню. Целый день еда и разговоры, еда и разговоры».

Рассказ был закончен и отослан в журнал в конце февраля или в первой половине марта (письмо В. А. Гольцеву от 17 марта 1896 г.).

Летом 1895 г., гостя у В. М. Лаврова в Малеевке, Чехов много говорил о положении крестьян в России. «Свои воззрения по этому поводу,— вспоминает Лавров,— А. П. Чехов вложил в горячие речи пейзажиста в... «Домике с мезонином» («Туркестанские ведомости», 1910, № 3645, 26 февраля).

М. П. Чехов сообщает о месте действия (село Богимово, Калужской губернии, где летом 1891 г. отдыхал Чехов) и о прототипах рассказа — Е. Д. Былим-Колосовском и жене его Анемаисе,— которые выведены в рассказе «Дом с мезонином» в лице Белокурова и Любови Ивановны («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 82).

Литератор А. А. Андреева писала Чехову: «На днях прочла... Ваш последний рассказ. Там столько тонкой поэтической прелести, такие тургеневские черты, что мне очень захотелось выразить автору признательность за доставленное им наслаждение. Говорят, что многие читательницы обижены за «Лидию» Вашим будто бы непризнанием их труда для народа. Но думаю,

что большинство поймет вернее и оценит как плодотворную праздность художника, так и полезную деятельность учительницы» (24 апреля 1896 г.).

Однако современная Чехову пресса игнорировала общественный смысл рассказа, превратно истолковывая его содержание. Больше того, критик Скриба заявил, что скоро наступит «предел» «холопства» перед именем Чехова («Новости и биржевая газета», 1896, № 127, 9 мая). Многим критикам не нравилось то предпочтение, которое Чехов отдал бездеятельному, но мыслящему художнику перед Лидией, последовательницей теории «малых дел». В этом смысле характерны статьи М. Полтавского («Биржевые ведомости», 1896, № 113, 25 апреля) и А. Скабичевского («Новое слово», 1897, № 4, январь). Антипатия к главному герою рассказа, полное непонимание этого образа явственны и в статье рецензента «Русских ведомостей» И — т (псевдоним И. Игнатова), который резкие критические высказывания художника в адрес существующего социального строя называет «парадоксальными» (1896, № 117, 29 апреля), и в статье за подписью К. О. Н. (псевдоним Ф. Кона — «Восточное обозрение», 1896, № 105, 6 сентября), который, сам будучи поборником теории «малых дел», выражал сожаление, что Чехов якобы не показал «симпатии ни к той, ни к другой стороне», из-за чего будто бы «исчезает весь смысл рассказа».

Стр. 90. *Даба* — китайская бумажная ткань.

МОЯ ЖИЗНЬ

Рассказ провинциала

Впервые напечатано в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу «Нива» на 1896 г., № 10, октябрь; № 11, ноябрь; № 12, декабрь, с подзаголовком *Повесть Антона Чехова.* С новым подзаголовком, с многочисленными исправлениями и изменениями в делении глав вошло в книгу Чехова «Рассказы. 1. Мужики. 2. Моя жизнь», изд. А. С. Суворина, Спб. 1897, и без изменений повторено в ее последующих изданиях, выходивших (начиная с 4-го) под заглавием: «Мужики» и «Моя жизнь» (последнее — 7-е, Спб. 1899). С новыми небольшими поправками и после сокращения включено автором в том IX собрания сочинений.

В ЦГАЛИ хранится оттиск VI—XI глав повести из «Еже-

месячных литературных приложений» к журналу «Нива» за ноябрь 1896 г. с двумя вклеенными вставками и авторской правкой на полях, восстанавливающей главным образом цензурные купюры в соответствии с рукописью, о чем говорится в письме Чехова к П. О. Укке от 24 декабря 1896 г., хранящемся вместе с оттиском. Почти все исправления, сделанные автором в этом оттиске, вошли с небольшими разночтениями в текст отдельного издания повести и собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для отдельного издания, Чехов не ограничивается восстановлением цензурных изъятий, он делит главы X, XII и XV каждую на две, значительно сокращает и правит текст. Были сняты, например, некоторые фразы, не вносившие по существу новых штрихов в повествование, в рисунок образа. Так, после слов «Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, не доплачивать приказчикам и рабочим» (стр. 123) зачеркнуто: «пошли слухи, будто по ночам она ходит в белом и к ней с кладбища летает змей; деревенские уже не соглашались работать у нее ни за какие деньги, а пришлых она не нанимала, боясь, как бы они ее не ограбили, и земля так и оставалась пустой, и даже в аренду ее никто не брал, так как генеральша просила дорого, а давали ей, по ее мнению, очень мало. В последнее время Чепраковы все еще с кем-то судились и имели уже вид совсем обедневших помещиков, и держали только одного работника и кухарку». После слов «Мне все кажется, что я поступаю дурно» (стр. 167) снято: «Нет,— продолжала она (Клеопатра.— *В. Р.*) печально,— не создана я для свободной жизни. Как ни маните меня на волю, а меня все тянет назад в клетку». Но все это теперь я слышал только по вечерам, после работы, когда мне сильно хотелось есть и спать». Усилена сатирическая характеристика персонажей; например, об Ажогиных было: «...постоянно делали что-нибудь с благотворительною целью — играли, читали, пели, и все это грубовато, без веселости, с деловым видом...», стало: «...постоянно делали что-нибудь с благотворительною целью — играли, читали, пели. Они были очень серьезны и никогда не улыбались и даже в водевилях с пением играли без малейшей веселости, с деловым видом, точно занимались бухгалтерией».

Текст повести отдельного издания и собрания сочинений отличается от журнального большей глубиной, смелостью критики общественных порядков, резкостью тона. Например, в журнальной публикации: «...это для меня было всегда непостижимой

загадкой. И я не понимал всего того, что у нас называлось общественной деятельностью, самоуправлением и проч.». В собрании сочинений: «...это для меня было всегда непостижимою загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях и с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду». Было: «...благочинные брали с подчиненных им причтов...»; стало: «...во время набора брали и врачи, а городовой врач и ветеринар обложили налогом мясные лавки и трактиры; в уездном училище торговали свидетельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали с подчиненных причтов...» Значительно расширена и заострена характеристика города, его нравов в сцене разговора Мисаила с отцом. Первоначально было:

«— Ты же и виноват!

— Да, пусть я виноват во всем,— сказал я,— но зачем же ваша жизнь так скучна...»

В тексте собрания сочинений эта сцена значительно изменена (см. в тексте на стр. 194 со слов «Ты же и виноват, негодяй!» и кончая словами «...если бы он вдруг провалился сквозь землю»).

Повесть Чехов начал в феврале (см. письмо к нему редактора «Нивы» А. А. Тихонова от 25 марта 1896 г.). 8 апреля он сообщает И. Н. Потапенко: «Пишу роман для «Нивы», а 27 апреля пишет Тихонову: «Рассказ, который я пишу для «Нивы», уже подваливает к концу второго листа. Называться он будет, кажется, «Моя женитьба» — наверное еще не могу сказать,— сюжет из жизни провинциальной интеллигенции». Тихонов просил прислать повесть в июне, на что Чехов ответил ему 6 июня: «Не отвечал... потому что рассчитывал скоро послать Вам рукопись. Мне самому хочется, чтобы Вы прочли мою повесть до 1-го августа. Мне кажется, что она может не сгодиться для «Нивы» по цензурным условиям; если бы Вы нашли то же самое и возвратили бы мне сию повесть, то к осени я успел бы

написать Вам что-нибудь другое. Я, по разным обстоятельствам, не садился за стол недели две, Ваше же последнее письмо подогнало меня, и я сегодня же примусь за повесть и буду стараться кончить ее до Вашего отъезда. Или, быть может, для знакомства прислать Вам только первую половину, которая уже готова? По ней Вы могли бы судить о цензурности и проч.». С согласия Тихонова Чехов 16 июня 1896 г. выслал ему часть рукописи, выразив при этом сомнение, что сумеет окончить повесть к концу июня. «Это не половина, а лишь первая треть,— писал он.— Что успел переписать, то и посылаю. Какое будет название,— неизвестно. «Моя женитьба» мне уже не нравится... Мою рукопись благоволите возвратить мне. Придется исправлять во многом, ибо это еще не повесть, а лишь грубо сколоченный сруб, который я буду штукатурить и красить, когда окончу здание». Прочитав полученную от Чехова часть повести, Тихонов 21 июня сообщает ему: «В первой трети я еще не вижу ничего такого, что встретило бы большие препятствия в цензуре или чем, в крайнем случае, было бы нельзя поступиться без ущерба для художественной цельности произведения». Он советует только, в связи с цензурой, вычеркнуть в рукописи слова — «гримасничала, передразнивая губернатора».

Повесть была завершена в конце июля 1896 г., и 2 августа Чехов уведомлял Тихонова: «Я к вашим услугам. Куда прикажете выслать рукопись: на Николаевскую или в редакцию?», а 10 августа, не дождавшись ответа, «чтобы не терять времени», послал в редакцию журнала рукопись и письмо. «Последняя глава вышла как будто кацая,— писал он,— в корректуре рассироплю и пошлифую. Финал я всегда делаю в корректуре... Если же, паче чаяния, в сей раз найдете повесть для «Нивы» слишком мрачной, нецензурной, одним словом, почему-либо неподходящей, то пошлите ее немедля в редакцию «Русской мысли» для передачи мне». По получении редакцией повести она сразу же была сдана в набор, и 1 сентября Тихонов послал Чехову первые листы корректуры со своими поправками, на которые просил согласия. В этом же письме Тихонов просил Чехова распределить текст повести по книжкам журнала так: первые пять глав в октябре, главы VI—XI в ноябре, XII—XVII — в декабре. «Дело в том,— пояснял он,— что эти первые 5 глав пройдут в цензуре без затруднений, а затем в следующей книжке уже и все остальное пойдет легче; тогда как на 6-й главе, где идут теоретические рассуждения, цензор сразу за-

пнется, а это невыгодно. Притом же наш постоянный цензор теперь в отпуску, а тот, который исполняет его обязанности, человек более трусливый».

8 октября Тихонов получил гранки повести, просмотренные цензурой, и на следующий день писал автору: «Как раз вчера же я получил из цензуры гранки Вашей повести с цензурными исключениями. Посылаю Вам копию этих исключенных цензором строк... Я думаю, что с этими вымарками можно примириться. Я боялся, чтоб не пострадала сцена с губернатором, но там все осталось на месте. Читатель отмеченных пропусков не заметит, а в отдельном издании никто не мешает включить их опять». В ответном письме (21 октября) Чехов сообщает: «Слово «попы» я заменил ханжами; думаю поэтому, что цензура ничего не выкинет и все обойдется благополучно». В настоящем издании слово «попы» восстановлено (см. стр. 194, слова Мисаила). Однако последние главы повести встретили цензурные затруднения (письмо Тихонова Чехову от 31 октября). 4 ноября Тихонов прислал Чехову вырезку из гранок с цензорской правкой, относящуюся к XIX главе. «Отстоять в цензуре мне на этот раз удалось мало: так уж неблагоприятно сложились обстоятельства»,— писал он. 7 ноября Чехов отвечал из Мелихова: «Полагаюсь на Ваше благоусмотрение, печатайте, как Вы наметили... Эти цензорские помарки — досадная штука, такая досадная, что я склонен свой первый опыт участия в «Ниве» назвать неудачным. Помарки эти тем досаднее, что я «Мою жизнь» не могу напечатать в книге, так как Ваша контора прислала мне условие, по которому я обязуюсь не печатать этой повести раньше января 1898 г.».

В переписке Тихонова с Чеховым шла речь и о названии повести. 13 сентября 1896 г. в ответ на телеграфный запрос Тихонова от 8 сентября Чехов сообщал: «Я телеграфировал Вам название повести: «Моя жизнь». Но это название кажется мне отвратительным, особенно слово «моя». Не лучше ли будет «В девяностых годах»? Это в первый раз в жизни я испытываю такое затруднение с названием». 19 сентября Тихонов в письме к Чехову просит оставить для повести заглавие «Моя жизнь»: «Не знаю, почему Вам так не нравится название «Моя жизнь». Мне оно понравилось своей простотой. Оно, правда, не дает точного представления о содержании повести, но удивительно хорошо гармонирует с ее тоном, со стилем, которым она написана. Напротив, «В 90-х годах» мне ка-

жется претенциозным и более подходящим для исторической повести». По просьбе редактора Чехов оставил название «Моя жизнь»: «Если название «Моя жизнь» нравится Вам, то пусть оно и остается»,— писал он Тихонову 24 сентября.

Уже во время печатания повести в журнале Чехов готовил ее к отдельному изданию. 2 ноября 1896 г. он писал А. С. Суворину: «Посылаю Вам материал для новой книжки... пришлю ту повесть, которая печатается в «Ниве»; так как повесть эта кончится... лишь в середине декабря, то книгу придется набирать и печатать исподволь, через час по столовой ложке». А вслед за этим письмом, 8 ноября, он сообщал, что печатание повести придется отложить на целый год: «Дело в том, что Маркс прислал мне для подписания условие, по которому я обязуюсь «впредь до истечения года со дня окончания печатания в «Ниве» произведения моего не издавать его сам»... Условия я не подписал, но все же раз в «Ниве» существует такой порядок, то стоит ли переть против рожна. А что сделала цензура из моей повести! Это ужас, ужас! Конец повести обратился в пустыню». О цензурных купюрах Чехов писал и В. А. Гольцеву (7 ноября): «Цензура отхватила 4—5 таких мест, что получилась бессмыслица»; и Т. Л. Толстой (9 ноября): «Я чувствую к ней (к повести — *В. Р.*) отвращение, так как по ней проехала цензура и многие места стали неузнаваемы»; и Н. А. Лейкину (20 ноября). Интересно признание Чехова М. Г. Вечеслову (7 ноября 1897 г.): «Повесть, даже напечатанная in toto [1], должна производить впечатление урезанной, так как когда я писал ее, то не забывал ни на минуту, что пишу для подцензурного журнала («Литературное наследство», т. 68, АН СССР, М. 1960, стр. 213).

По сообщению писателя С. Т. Семенова, Л. Н. Толстой «считал, что прототипом героя А. П. послужил небезызвестный опрощенец князь В. В. Вяземский, вызвавший когда-то целый шум в печати» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 368). М. П. Чехов («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 17—23) сообщает, что в «Моей жизни» много чисто таганрогского. Так, в лице Карповны и Прокофия, «как живые, выведены» Антоном Павловичем его тетка Федосия Яковлевна и мясник Прокофий, у которого она снимала себе комнату. Слова мясника: «Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной жизни буду вас питать на

[1] полностью *(лат.)*.

старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню» (стр. 131) — это подлинные слова Прокофия. «В конце повести Антон Павлович пишет»,— вспоминает далее М. П. Чехов,— что Прокофия «наказывали розгами за то, что он, сидя в своей мясной лавке, дурно отзывался о докторах». Такой случай действительно произошел, но только не в Таганроге, а в Нижнем-Новгороде, во время холеры, когда там диктаторствовал известный генерал-губернатор Баранов... Этот факт, как я помню, тогда очень возмутил Антона Павловича». М. П. Чехов сообщает и еще одну любопытную подробность: «Маменькиного сынка» Антон Павлович смотрел вместе со своим дядей Митрофаном Егоровичем, сидя на галерке. Дядя смеялся до слез и все время повторял: «Как это он ловко все пригнал!» — подразумевая под словом «он» — автора. Эту самую фразу Антон Павлович поместил в своей повести «Моя жизнь», вложив ее в уста Редьки».

1 января 1897 г. после опубликования повести в журнале И. Л. Леонтьев-Щеглов писал Чехову: «Благодарю Вас много, много, в качестве читателя «Нивы» за Ваш превосходный (со всех сторон) рассказ «Моя жизнь». Вот она, г-жа литература, в ее *настоящем* виде!» Позднее, в воспоминаниях о Чехове, И. Л. Щеглов вновь отзывался о повести: «Я прочел его повесть «Моя жизнь»... и находился под обаянием ее художественной красоты. В этой повести, оскорбительно замолчанной критикой, Чехов выступает истинным мастером слова и как стилист становится плечом к плечу с Тургеневым» («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1905 г., № 7, июль, стр. 398). В письме Чехову от 20 октября 1902 г. восторженно отозвался о повести Л. А. Сулержицкий. «А второе мое удовольствие — это Ваша «Моя жизнь», которую я до сих пор не могу читать без слез. Мы вместе с женой перечитываем ее без конца, и так, вероятно, всегда будет. Не знаю, но мне кажется, что это самая лучшая Ваша вещь. Ее еще не оценили в публике». И. Е. Репин, прочитав повесть в издании А. С. Суворина, 13 декабря 1897 г. писал Чехову: «Моя жизнь» — вот что тронуло меня и произвело глубокое впечатление. Какая простота, сила, неожиданность; этот серый обыденный тон, это прозаическое миросозерцание являются в таком новом увлекательном освещении; так близка душе делается вся эта история! Действующие лица становятся родными, и их жаль до слез... И как это ново! Как оригинально!

А какой язык! — Библия». Литератор В. Г. Малафеева 18 ноября 1897 г. писала Чехову о повести «Моя жизнь», что никакие «планы общественных переустройств не убеждают так ясно, что светлое будущее «близко, при дверях», как это подмеченное Вами в глухом, далеком от всяких веяний захолустье глубокое томление ищущего духа...»

Критика обошла «Мою жизнь» молчанием. Впоследствии в статье «Обида непонимания» («Биржевые ведомости», 1910, № 11517, 16 января) И. Л. Леонтьев-Щеглов вспоминал, что «оскорбительное пренебрежение», с которым пресса приняла повесть, подействовало на Чехова «подавляюще, и если б,— пишет он далее,— не наша случайная мелиховская беседа (30 апреля 1897 г.— *В. Р.*), бог весть, быть может, «Мою жизнь» постигла бы участь чеховских «Огней» — рассказа, как известно, выкинутого Чеховым из полного собрания сочинений...» Только когда повесть вышла отдельным изданием, либерально-буржуазная критика откликнулась на нее несколькими статьями, не оценившими, однако, по достоинству ее огромное идейное содержание. А. Скабичевский («Новое слово», 1897, № 4, январь) увидел основной смысл повести в защите толстовской теории опрощения и, будучи сам противником этой теории, заявил, что «Моя жизнь» оставляет удручающее впечатление. Он не заметил, что все направление повести отчетливо противопоставлено толстовской проповеди опрощения. В оценке «Моей жизни» более прав был А. Богданович («Мир божий», 1897, № 12). Он писал: «Мы жестоко разочаровались бы, если бы причислили г. Чехова к сонму проповедников опрощения. Скорее, напротив, вся повесть является как бы доказательством непригодности этой философии к жизни». Однако Богданович весьма односторонне прочитал повесть. В лице ее автора он видел лишь «лучшего выразителя» «сумеречного», «хмурого» настроения. Много правды в оценке «Моей жизни» было в статье Я. Абрамова («Книжки «Недели», 1898, № 6, июнь), который отмечал, что в «Моей жизни» изображена... наша общерусская жизнь, переполненная невообразимой чепухой, которая неведомо зачем и для чего отравляет нам жизнь и от которой солоно приходится каждому из нас». В то же время критик указал на большое общественное значение таких писателей, как Чехов, которые призваны «пробудить нашу мысль и направить ее работу на рассмотрение и оценку явлений действительной жизни, чтобы заставить нас сознательно относиться к этим явлениям жизни...»

Стр. 131. *Полоний* — персонаж из трагедии Шекспира «Гамлет», придворный интриган.

Стр. 180. *«Отчего я люблю тебя, светлая ночь?»* — из стихотворения Я. П. Полонского «Ночь» (1850), переложенного на музыку П. И. Чайковским.

МУЖИКИ

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1897, кн. IV, апрель. С поправками и с добавлением в IX главе издано А. С. Сувориным, Спб. 1897; включено в книгу Чехова «Рассказы. 1. Мужики. 2. Моя жизнь», изд. А. С. Суворина, Спб. 1897, и повторено в ее последующих изданиях, выходивших, начиная с 4-го, под заглавием: «Мужики» и «Моя жизнь» (последнее издание — 7-е, Спб. 1899). С небольшими изменениями включено автором в том IX собрания сочинений.

1 января 1897 г. Чехов писал из Мелихова Е. М. Шавровой о работе над «Мужиками»: «Я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю...» Нет точных данных, когда была начата повесть, но известно, что закончена она к концу февраля 1897 г. 1 марта Чехов сообщал Суворину: «А мне не везет. Я написал повесть из мужицкой жизни, но говорят, что она нецензурна и что придется сократить ее наполовину». Повесть отослана была между 15 и 18 марта (см. письма Чехова к В. А. Гольцеву от 15 и 18 марта 1897 г.).

Четвертый номер «Русской мысли» за 1897 г., уже отпечатанный, 2 апреля поступил на просмотр к цензору С. Соколову, и в тот же день в Московский цензурный комитет было им представлено следующее «донесение»: «В первой половине апрельской книжки «Русской мысли» в цензурном отношении особенного внимания заслуживает статья А. П. Чехова «Мужики». В ней слишком мрачными красками описывается положение крестьян, проживающих в деревнях. В течение лета они, не зная отдыха, работают с утра до поздней ночи с своими семьями, а между тем хлеба не заготовляют для своих семей и на половину года. Питаясь поэтому впроголодь, они тем не менее почти все поголовно пьянствуют. На пьянство они не жалеют ничего, даже одежды своей... И без того беспомощных, их особенно тяготят подати, которые всею тяжестию ложатся на семейства крестьян. В чем же кроются причины такого печального положения крестьян, или, вернее, их семейств? В невежестве. В бога большая часть мужиков будто не верит

и к религии относится слепо. Крестьяне жаждут света и знания, но не могут сами по себе найти его, потому что грамоте из них редкие обучены. Большинство же будто и понятия о ней не имеет...» Далее Соколов цитирует повесть: «Да и может ли быть какая-либо помощь мужику от людей корыстолюбивых (каковы разные чиновники и попы...), жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?..» «Да, теперь, по рассказу Чехова,— продолжает цензор,— мужики имеют беспомощный вид и пьянствуют. Но прежде, «лет 15—20 тому назад»... у каждого мужика был «такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал»; в то время мужики «говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же мужики могут говорить только о нужде»... Положение их в настоящее время хуже, чем в каком они находились в крепостное время. Тогда их хоть досыта кормили. А теперь их только обирают и секут» (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде — ЦГИАЛ). 3 апреля цензор Соколов представил в Московский цензурный комитет второе «донесение» о рассказе «Мужики» аналогичного характера. На основании этих донесений было принято решение: «Исключить страницу 193 Чехова, при несогласии арестовать» (ЦГИАЛ). Стр. 193 из апрельской книги «Русской мысли» была вырезана. В том же году Чехову удалось восстановить в отдельном, суворинском, издании книги строки, выпущенные цензурой (IX глава), начиная со слов «Она вспоминала о том, как несли Николая» и кончая «теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы» (стр. 227). Сравнение текста этой вставки с цитатами из цензурного рапорта Соколова позволяет установить, что Чехов, восстанавливая изъятый цензурой отрывок, частично его переделал.

Позднее, 24 января 1900 г., Чехов писал Ф. Д. Батюшкову (в связи с тем, что последний переслал Чехову просьбу французского переводчика произведений Чехова Д. Роша): «Рош просит выслать ему те места из «Мужиков», которые были выброшены цензурой. Но таких мест не было. Есть одна глава, которая не вошла ни в журнал, ни в книжку; это разговор мужиков о религии и властях. Но посылать эту главу в Париж нет надобности, как и вообще не было надобности переводить «Мужиков» на французский язык». Упоминаемая здесь Чеховым глава не найдена. Во французском переводе Д. Роша повесть

была впервые напечатана в двухнедельнике «Quinzaine» в сентябре 1897 г. В 1901 г. в Париже вышло отдельное издание этого перевода повести, с рисунком И. Е. Репина, сделанным художником по просьбе Роша. Оригинал рисунка был передан Репиным Чехову, который отослал его в Таганрогскую библиотеку (10 апреля 1901 г.).

В ЦГАЛИ хранится черновая авторская рукопись, представляющая неоконченное продолжение повести «Мужики», X и XI главы. Эти главы опубликованы в 9 томе Полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова (М. 1948, стр. 480). Кроме того, в Записных книжках и на отдельных листках, хранящихся в ЦГАЛИ и в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (ЛБ), имеются многочисленные записи, относящиеся к этой повести, использованные автором лишь частично.

Чехов писал брату, Ал. П. Чехову (2 апреля 1897 г.), о своей повести: «В апрельской «Русской мысли» пойдет моя повесть, где описан (отчасти) пожар, бывший в Мелихове по случаю твоего приезда в 1895 г.» Подробнее об этом пожаре вспоминает Ал. П. Чехов («Нива», 1911, № 26, стр. 483). В. Ладыженский в своих воспоминаниях («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 303) рассказывает, как он присутствовал на освящении новой школы в Мелихове и Чехов, бывший попечителем школы, обратил его внимание на местного крестьянина, послужившего прототипом для старосты в «Мужиках». Сам Чехов, говоря о значении Мелихова в его творчестве в письме А. С. Суворину 26 июня 1899 г., связывал повесть с мелиховскими впечатлениями: «В беллетристическом отношении после «Мужиков» Мелихово уже истощилось и потеряло для меня цену». О значении Мелихова в литературной работе Чехова свидетельствует и М. П. Чехов: «Эти пять лет «мелиховского сидения» не прошли для Антона Павловича даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, они повлияли на его литературную деятельность и сделали его писателем еще более глубоким и более серьезным. Это влияние Мелихова Антон Павлович признавал и сам. Достаточно вспомнить об его «Мужиках» и «В овраге», чтобы оценить влияние годов, прожитых писателем в Мелихове в постоянном и непосредственном общении с крестьянами» («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 128). Чехов заканчивал повесть «Мужики» во время народной переписи. Принимая в ней горя-

чее участие, он особенно близко столкнулся тогда с крестьянской жизнью.

В общественной и литературной жизни России 90-х годов повесть «Мужики» явилась событием исключительной важности. Необычайно яркое, глубоко реалистическое изображение крестьянской жизни, без какой бы то ни было ее идеализации произвело очень сильное впечатление на общество. Об этом говорят многочисленные отзывы современников. Приводим выборки из писем Чехову. Н. А. Лейкин (29 апреля 1897 г.): «Прочел Ваших «Мужиков». Восторг что такое! Читал на ночь, в один засос и потом долго не мог заснуть». Доктор П. Г. Розанов, знакомый Чехова по его врачебной практике в Звенигороде (5 мая 1897 г.): «Спасибо, громадное спасибо Вам за «Мужиков». Не в виде совета, а так — «по душам», скажу Вам, что если б почаще заглядывали Вы в эту, затронутую Вами, среду, Вы были бы нам еще дороже (*нам* — это значит Вашим читателям)». А. И. Сумбатов-Южин, артист Малого театра и известный в 90-е годы драматург (май 1897 г.): «Твои «Мужики» — величайшее произведение в целом мире за многие последние годы, по крайней мере для русского человека... Удивительно высок и целен твой талант в «Мужиках». Ни одной слезливой, ни одной тенденциозной ноты и везде несравненный трагизм правды, неотразимая сила стихийного, шекспировского рисунка; точно ты не писатель, а сама природа... Я чувствую в «Мужиках», какая погода в тот или другой день действия, где стоит солнце, как сходит спуск к реке. Я все *вижу* без описаний, а фрак вернувшегося «в народ» лакея я вижу со всеми швами, как вижу бесповоротную гибель всех его, Чикильдеева, светлых надежд на жизнь в палатах «Славянского Базара». Я никогда не плачу: когда он надел и затем уложил фрак, я дальше долго не мог читать». Вл. И. Немирович-Данченко (май, 1897 г.): «Читал с огромным напряжением «Мужиков». Судя по отзывам со всех концов, ты давно не имел такого успеха». Литератор В. Г. Малафеева (18 ноября 1897 г.): «Ваши «Мужики» — это удар хлыста по сытому и спокойному лицу так назыв. интеллигента, несмотря на свой мрак, указывают на что-то светлое, на что-то нетронутое и крепкое в народной душе».

Однако не все отзывы были восторженными. Даже Л. Н. Толстой, нежно любивший Чехова и восхищавшийся его талантом, не принял его повесть о мужиках. Беспощадно правдивое изображение деревни глубоко задело Толстого, идеали-

зировавшего патриархальные основы деревенской жизни. В. С. Миролюбов в своей записной книжке (1900 г.) приводит слова Толстого о повести: «Рассказ «Мужики» — это грех перед народом. Он не знает народа» («Литературное наследство», т. 68, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 519).

Враждебно встретили повесть «Мужики» реакционные круги общества. Из-за «Мужиков» Чехов чуть было не оказался забаллотированным при избрании его в члены Союза взаимопомощи русских писателей, о чем записал в своем дневнике А. С. Суворин в апреле 1898 г. («Дневник А. С. Суворина», М.—Пг. 1923, стр. 179).

Не менее бурную реакцию вызвала повесть и в печати. «Давно уже новое беллетристическое произведение не пользовалось в нашей журналистике таким громким и притом таким искренним успехом, как «Мужики» г. Чехова,— писал анонимный рецензент в «Северном вестнике» (1897, № 6).— Успех этот напоминает нам те времена, когда появлялся новый роман Тургенева или Достоевского». Это признание рецензента не было преувеличением: повесть «Мужики» была главным предметом обсуждения в литературной критике той поры. Однако, высоко оценивая повесть «Мужики» как самое значительное в художественном отношении произведение в русской литературе конца XIX в., большинство критиков обходили вопрос об общественном и социальном значении повести. Рецензии зачастую носили общий декларативно-оценочный характер и представляли собой комментированный пересказ произведения. Некоторым исключением явилась статья М. О. Меньшикова («Книжки «Недели», 1897, № 5, май), отличающаяся тонкостью и глубиной анализа художественной манеры писателя и указаниями на общественное значение повести: «Рассказ г. Чехова — драгоценный вклад в науку о народе, из всех наук, может быть, самую важную. Вот общественное значение этой художественной вещи». Высокая оценка «Мужикам» как художественному произведению дается в статьях И. Потапенко (псевдоним — Фингал, «Новое время», 1897, № 7594, 20 апреля), А. Богдановича («Мир божий», 1897, № 6, май и 1898, № 1, январь). Откликнулись на повесть также критики И. Ясинский («Биржевые ведомости», 1897, № 119, 3 мая), Ф. Батюшков (сб. «Памяти Белинского», М. 1899, стр. 460) и др.

Наиболее интересна полемика, завязавшаяся между журналами «Новое слово» (1897, № 8, май и № 1, октябрь), орган

«легальных марксистов», и «Русское богатство» (1897, № 6 и 11), орган либерального народничества. П. Струве («Новое слово»), выступавший под псевдонимом г. Novus, увидел «общественный смысл» повести «в художественном обличении... жалкого морализирования» народников, а автора ее оценил как выдающегося представителя литературного поколения пореформенного периода. Используя повесть в идейной борьбе против народничества, с его идеализацией деревенской жизни, он сам не давал программы социального переустройства общества, ограничиваясь туманными намеками на необходимость каких-то изменений. В противоположность Струве идеолог либерального народничества Н. К. Михайловский определил повесть как произведение крайне слабое и по содержанию и художественным достоинствам. Он по-прежнему упрекал Чехова за излишний, на его взгляд, интерес к «мелочам жизни», не видя за этим идейной устремленности писателя. Как и ранее, народническая доктрина заслоняла от него истинный смысл и художественное новаторство чеховских произведений. Пытаясь снизить огромное впечатление, произведенное «Мужиками» на читателя, он утверждал, что «никаких общих выводов из произведений г. Чехова делать не следует, да и просто нельзя».

Появились и статьи, авторы которых пытались дискредитировать повесть. Резко и чрезвычайно недоброжелательно отозвался Скриба («Новости и биржевая газета», 1897, № 118, 1 мая), отведя автору место второстепенного писателя. Скрибе цинично вторил Н. Ладожский (псевдоним В. Петерсона — «Санкт-Петербургские ведомости», 1897, № 114, 29 апреля), а К. Медведский («Московские ведомости», 1897, № 243, 4 сентября) обрушился на критику, положительно оценившую повесть. Но эти враждебные отзывы лишний раз свидетельствовали, насколько велико было значение повести «Мужики».

Стр. 206. *...даже ходила наполдень...* — то есть ходила днем доить корову.

ПЕЧЕНЕГ

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1897, № 303, 2 ноября, с подзаголовком *Рассказ.* В конце рассказа указаны дата и место написания: «Ницца, 24 октября». Без подзаголовка, с некоторыми исправлениями, включено автором в том IX собрания сочинений.

При подготовке рассказа для собрания сочинений Чехов отделывает рассказ стилистически, вносит в текст некоторые существенные штрихи, стремясь ярче подчеркнуть невежество, грубость, жестокость «печенега». Так, во фразе: «У меня их двое» добавлено: «подлецов». В тексте: «И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же не спать. Взяли мы эту княгиню, высекли ее — и перестала ходить» — после слов «не спать» вставлено: «черт знает из-за чего, извините за выражение». В конце рассказа автор ничего не говорит о душевных переживаниях старика по поводу его ночной исповеди, которые в первоначальной редакции в какой-то мере смягчали и очеловечивали черты печенега, дикаря с психологией и замашками крепостника. Так, после слов «Надо было спать, и обыкновенно перед дождем так славно спится» (стр. 237) следовало: «но у старика что-то давило в груди и было неприятно и немножко совестно: не следовало бы рассказывать гостю про жену и детей! Зачем выносить сор из избы? Он жаловался, но прав ли он? Жена не человек, бог с ней, но к детям в самом деле следовало бы отнестись с большей заботой. Денег нет, чтобы учить их, это правда, но почему нет? А потому, что он, отец, ровно ничего не делает, не заботится и с тех пор, как вернулся со службы, ни разу даже не подумал о том, что надо работать, и все время довольствовался пустяками, которые мужики-арендаторы платили за его землю». В новой редакции больше подчеркнута забитость жены Жмухина.

Как видно из писем Чехова к редактору-издателю «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому, рассказ «Печенег» был написан в Ницце вскоре после рассказа «В родном углу», между 17 и 24 октября 1897 г., и 24 октября отослан Соболевскому (см. письмо Чехова от того же числа), но напечатан раньше рассказа «В родном углу» (см. прим. на стр. 532).

В рассказе «Печенег» Чехов воспроизводит свое впечатление от поездки в Донецкую степь в 1887 г. Об этом свидетельствуют воспоминания современников. Писатель П. Сурожский утверждает, например, что в рассказах «Печенег» и «В родном углу» описывается северная часть Таганрогского округа. «Здесь проходит линия Донецкой ж. дор., и в обоих рассказах о ней упоминается, а в «Печенеге» прямо указана станция Провалье» («День», 1914, № 177, 2 июля). Я. Полферов приводит высказывание Чехова о Донском крае и о донцах, нашедшее отражение в его произведениях («Печенег», «Степь»): «Мне

больно было видеть, что такой простор, где все условия созданы, казалось, для широкой культурной жизни, положительно окутан невежеством, и притом невежеством, исходящим из правящей офицерской среды. Тут виноваты другие, вне власти казаков стоящие причины, но это главная. Будь офицер, который на самом деле является главным воспитателем казака, образованнее, культурнее духовно, я уверен, что не было бы такого невежества и «печенеги» все бы перевелись» («Областное обозрение и Вестник казачьих войск», 1904, № 30, 25 июля).

Среди немногочисленных и в основном благожелательных критических отзывов о рассказе обращает на себя внимание рецензия, напечатанная без подписи в газете «Курьер» (1897, № 29, 4 декабря). В ней подчеркивается исключительная глубина, правдивость изображения и типичность картин провинциальной жизни, нарисованных Чеховым в рассказах «Печенег» и «В родном углу». Эти рассказы, по мнению рецензента, навевают «тяжелые думы» и «горькие чувства» своей безотрадностью. Критик «Курьера» справедливо видит, что причиной этой безотрадности является сама русская действительность, подсказывающая художнику соответствующие образы. Критик же «Мира божьего» (1897, № 12, декабрь) А. Богданович считал, что гнетущее настроение автора все усиливается и его «Печенег» уже «производит впечатление безысходного мрака».

В РОДНОМ УГЛУ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1897, № 317, 16 ноября. В конце рассказа указаны дата и место создания: «Ницца, октябрь». С небольшими изменениями включено автором в том IX собрания сочинений.

Рассказ был написан между 9 и 17 октября 1897 г. 9 октября Чехов писал из Ниццы М. П. Чеховой: «По случаю дурной погоды купил бумаги и сажусь писать рассказ». 17 октября в письме к редактору-издателю «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому он сообщал: «Посылаю Вам рассказ... Если сгодится... то напечатайте его. Если он покажется длинным и не поместится в один фельетон, то отдайте его Гольцеву (один из редакторов журнала «Русская мысль».— *В. Р.*), а я пришлю Вам другой, который начну писать завтра... Не пришлете ли корректуру? Я пошлифовал бы рассказ». Второй рассказ был закончен к 24 октября. Из дальнейшей переписки Чехова с Со-

болевским выясняется, что первый рассказ был «В родном углу», а второй — «Печенег», который, однако, был напечатан раньше первого. 8 ноября Чехов писал Соболевскому: «Я послал Вам два рассказа; из них второй был напечатан в воскресенье, о судьбе же первого («В родном углу») я ничего не знаю, так как Вы не пишете мне. Время идет, Вы не шлете ни писем, ни корректуры, и это отбило у меня охоту писать...» 12 ноября Соболевский ответил Чехову: «Второй рассказ помещаю первым, потому что пришел первым и немедленно был сдан в набор. Получил затем «В родном углу», отложил его, не надеясь получить от Вас скоро еще что-нибудь, и берег его ко второй половине этого месяца. Прочитав его внимательно в рукописи, решительно не вижу надобности посылать Вам корректуру и сегодня же по телеграфу прошу разрешения поместить без этого, чтоб не терять времени на посылку и обратное получение». В ответном письме от 20 ноября, то есть когда рассказ был уже напечатан, Чехов писал: «Корректуру я читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа; обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны».

По воспоминаниям М. П. Чехова, в рассказе нашла отражение поездка Чехова к Смагину, в Бакумовку, недалеко от которой продавался небольшой хуторок, заинтересовавший Чехова. «Мы ехали от Сум до Бакумовки 200 верст целые двое суток и перерезали весь центр Малороссии, где происходили гоголевские повести и «Вечера». Это было великолепное путешествие, которое никогда не изгладится у меня из памяти. Между прочим, мы проезжали через большое село Межиричи, которое описано у Антона Павловича в его рассказе «В родном углу» («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 63). Об изображении в рассказе северной части Таганрогского округа писал П. Сурожский (см. прим. к рассказу «Печенег», стр. 530).

Отзыв о рассказе был дан в газете «Курьер» (см. прим. к рассказу «Печенег», стр. 531).

НА ПОДВОДЕ

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1897, № 352, 21 декабря, с подзаголовком *Рассказ.* Без подзаголовка, с небольшой авторской правкой вошло в сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», 2-е, обработанное и

дополненное издание, М. 1898. С небольшими изменениями включено автором в том IX собрания сочинений.

Рассказ «На подводе» был написан в Ницце в ноябре 1897 г. 22 ноября Чехов писал В. М. Соболевскому: «Рассказ, который я послал Вам третьего дня, «На подводе», не помещайте раньше конца декабря; пока велите набрать его и прислать мне в корректуре. Так нужно. Я же напишу другой рассказ, который Вы напечатаете, буде пожелаете, в первой половине декабря. Пожалуйста, исполните мою просьбу, пришлите корректуру; я возвращу ее своевременно. Будьте покойны!» 4 декабря Соболевский послал Чехову корректуру рассказа «На подводе» с просьбой изъять или заменить другими строки об Алексееве, на что Чехов ответил (10 декабря): «Алексеева вычеркнул; в этом месте рассказа должен быть короткий разговор,— а о чем, это все равно». Однако эта деталь была, очевидно, важна Чехову, потому что при перепечатке рассказа в сборнике и в собрании сочинений слова об Алексееве были восстановлены (стр. 253). В ЦГАЛИ хранится вырезка рассказа из газеты «Русские ведомости», где рукою Чехова зачеркнуты подзаголовок и слова «фальшивые деньги чеканил» и вместо них на полях вставлено: «городского голову Алексеева убивал». С этой вырезки набирался рассказ в сборнике.

В дневнике Л. Н. Толстого от 21 декабря 1897 г. есть отзыв о рассказе: «Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу» (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 53, М. 1953, стр. 172).

У ЗНАКОМЫХ

Впервые напечатано в журнале «Космополис» («Cosmopolis»), 1898, т. IX, № 2, февраль.

В Пушкинском доме хранится беловая авторская рукопись рассказа с подписью: Антон Чехов. В ряде мест рукописи рукой автора сделаны небольшие поправки. Сравнение рукописи с журнальным текстом обнаруживает многочисленные исправления, внесенные автором при работе над корректурой. Правка заключалась в отделке стиля рассказа и преимущественно в дорисовке персонажей. В характеристику Сергея Сергеича Лосева (в рукописи Горбылина) автор вносит существенные добавления, резче обличая его манерность, эгоизм. Так, было: «...за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергеич, не интересный, ни

на что не способный, ленивый малый; Кузьминки пошли в приданое...», стало: «...за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергеич. Кузьминки пошли в приданое...» Опущенная в данном случае характеристика Лосева, в более расширенной редакции дается позже (стр. 263): «...Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, и в его обществе не раз испытывал брезгливое чувство». Кроме того, Чехов вставил такие куски: со слов «О, как вы меня мало знаете!» до слов «Скучно с вами до одурения!» (стр. 275) и со слов «Какая польза говорить серьезно» до слов «гораздо больше, чем десяток проповедей» (стр. 275). Внесены дополнения в характеристику Татьяны: сильнее подчеркнуты узость ее интересов, ее переживания в связи с продажей имения.

Рассказ был написан по просьбе Ф. Д. Батюшкова, который в письме от 16 апреля 1897 г. приглашал Чехова сотрудничать в русском отделе международного журнала «Космополис». Чехов ответил (21 апреля) согласием, но с тем, чтобы дать рассказ не раньше осени. 9 ноября Чехов сообщал Батюшкову из Ниццы: «Я обещаю написать рассказ для «Cosmopolis'a» при первой возможности, и если не случится ничего особенного, то, надо полагать, пришлю его в декабре». 15 декабря он писал Батюшкову: «Я пишу рассказ для «Cosmopolis'a», пишу туго, урывками. Обыкновенно я пишу медленно, с напряжением, здесь же, *в номере*, за чужим столом, в хорошую погоду, когда тянет наружу, пишется еще хуже,— а потому пообещать Вам рассказ раньше, как через две недели, не могу. Пришлю *до* первого января... Вы выразили желание *в одном из Ваших писем*, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично». Рассказ был закончен в конце декабря. 29 декабря Чехов писал М. П. Чеховой: «В «Cosmopolis» посылаю рассказ; напишу, чтобы тебе прислали оттиск». Рукопись была отослана 3 января 1898 г., о чем Чехов уведомлял Батюшкова в письме от того же числа: «Посылаю Вам рукопись. Пожалуйста, пришлите корректуру, так как рассказ еще не кончен, не отделан и будет готов лишь после того, как я перепач-

каю вдоль и поперек корректуру. Отделывать я могу только в корректуре, в рукописи же я ничего не вижу».

В письме к А. С. Суворину (6 февраля 1898 г.) Чехов выражал свое недовольство рекламированием в «Новом времени» его рассказа «У знакомых»: «На днях я прочел на первой странице «Нового времени» глазастое объявление о выходе в свет «Cosmopolis'a» с моим рассказом «В гостях». Во-первых, у меня не «В гостях», а «У знакомых». Во-вторых, от такой рекламы меня коробит; к тому же рассказ далеко не глазастый, один из таких, какие пишутся по штуке в день».

Стр. 267. *«Прямо дороженька: насыпи узкие...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1865).

Стр. 269. *«Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»* — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Крестьянин и работник» (1815).

Стр. 273. *«И будешь ты царицей мира...»* — из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841).

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1898, кн. VII, июль, с подзаголовком *Рассказ.* Без подзаголовка, с незначительными стилистическими изменениями вошло во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и в том XI, посмертный, 1906.

Рассказ для «Русской мысли» Чехов обещал прислать из Ниццы еще в декабре 1897 г. (письмо к В. А. Гольцеву от 18 октября 1897 г.). Однако планы автора изменились (см. прим. к рассказу «Ионыч», стр. 542—543), и 6 июня 1898 г. Чехов писал Гольцеву из Мелихова: «Для Русской же мысли у меня готовится другой рассказ, побольше. Моя машина уже начала работать». 15 июня рассказ был послан Гольцеву с сопроводительным письмом: «Посылаю для «Русской мысли» рассказ. Прочти и, если сгодится, распорядись прислать корректуру до июля. Я пошлифую в корректуре».

М. П. Чехов в своих воспоминаниях («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 15—17) отмечает, что прототипом главного героя рассказа был А. Ф. Дьяконов, инспектор таганрогской гимназии, которую окончил Чехов. По мнению М. П. Чехова, в рассказе нашли отражение и некоторые факты из жизни гимназии, в частности, маевки, проводимые ежегодно гим-

назистами и учителями. О Дьяконове как прототипе Беликова говорят также В. Г. Тан-Богораз («Чеховский юбилейный сборник», изд. Учительского дома, М. 1910, стр. 496) и П. Сурожский («День», 1914, № 177, 2 июля). Некоторые черты, характерные для Беликова, Чехов наблюдал и у других лиц. Так, например, в дневнике 1896 г. им записано: «С 15 по 18 августа у меня гостил М. О. Меньшиков (публицист, редактор «Недели», впоследствии сотрудник «Нового времени».— *В. Р.*)... Меньшиков в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой...»

Интересен отзыв И. И. Горбунова-Посадова, который 14 сентября 1898 г. писал Чехову: «Такие рассказы, как Ваш «Человек в футляре», хорошо будят, расталкивают...»

Еще не утихли споры, возникшие в печати по поводу «Мужиков», когда появился «Человек в футляре», имевший исключительное художественное и общественно-политическое значение. Рассказ, сатирически изображавший «футлярность» всего уклада жизни, торжество деспотизма, ненависть ко всему новому и страх перед ним, послужил очередным поводом для нападок на его автора со стороны представителей охранительно-официозной критики. Так, реакционный обозреватель К. Медведский напечатал статью «Нечто о г. Чехове и «Футлярах» («Московские ведомости», 1898, № 215, 7 августа), в которой старался ослабить идейно-политическое воздействие рассказа на общество. Не остановилась перед грубым искажением подлинного смысла рассказа и декадентская критика. Ей претили здоровый, жизнеутверждающий пафос борьбы против общественного маразма, беликовщины, рутины, презрение к обывательщине и мещанству, которыми были проникнуты чеховские произведения 90-х годов, в том числе и «Человек в футляре». Видный представитель декадентской литературы и критики Н. Минский (псевдоним Н. Виленкина) в своих статьях («Новости и биржевая газета», 1898, № 207, 30 июля и 1899, № 28, 28 января) исказил смысл смелой чеховской сатиры, представив ее как милую, незлобивую лирику, а автора как типичного декадента. Минский высказал мысль об индифферентности, даже бессердечии Чехова. Аналогичным было и выступление А. Волынского (псевдоним А. Флексера — «Северный вестник», 1898, № 10—12, октябрь — декабрь), который стремился представить Чехова елейным бытописателем, а в рассказе увидел не страстный протест против российской

действительности, а индифферентизм, апологию «маленького человека», которую Чехов будто бы дает в образе Беликова.

Либерально-буржуазный критик А. Богданович («Мир божий», 1898, № 10, октябрь) одним из первых отметил, что в образе Беликова Чеховым создан новый тип, глубоко правдивый и сильный. Причину засилия беликовщины Богданович видит «в окружающей среде, в слабости ее, в расплывчатости нравственных и всяких других устоев, в бессознательной подлости, составляющей основу той жизни, где процветают Беликовы». Однако эти верные наблюдения приводят критика к неверным выводам, к утверждению, что рассказ глубоко пессимистичен и что причина этого кроется в «слишком мрачном», «до болезненности безотрадном» настроении автора, не позволяющем ему якобы «разобраться в массе условий, создающих футлярное существование для русского обывателя». Положительная оценка рассказу была дана и А. Скабичевским («Сын отечества», 1898, № 238, 4 сентября), который увидел в Чехове не только замечательного художника, но и идейного писателя. Весь пафос своей статьи он направляет против тех, кто продолжал считать Чехова безыдейным автором. «Каждая строка в произведениях г. А. Чехова,— говорит он,— вопиет против безобразия приводимых автором фактов». Он также отметил «чрезвычайную типичность» образа Беликова, по силе и яркости типизации равного лучшим образам Гоголя и Гончарова.

Сатирический образ Беликова был неоднократно использован В. И. Лениным.

КРЫЖОВНИК

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1898, кн. VIII, август. С небольшими изменениями включено во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и в том XI, посмертный, 1906.

Рассказ «Крыжовник» написан в Мелихове в июле 1898 г. 20 июля 1898 г. Чехов писал В. А. Гольцеву о «Крыжовнике»: «Девять десятых рассказа для августовской книжки уже готово, и если ничто не помешает благополучному окончанию сего рассказа, то 1 августа ты его получишь из собственных моих рук» («Литературное наследство», т. 68, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 220). В письме к Л. А. Авиловой (между 23 и 27 июля 1898 г.) он сообщал: «Надо писать для августовской «Русской

мысли»; уже написал, надо кончать». Рассказ вскоре был закончен и 28 июля уже отправлен в редакцию журнала.

Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» представляли собой один общий цикл. Это отмечал сам Чехов в письме к О. Р. Васильевой от 5 января 1899 г., решившей перевести на английский язык только «Крыжовник» и «О любви». «Поступайте, как хотите,— писал автор,— но ведь если не будет «Человека в футляре», то будет неясно, кто говорит и почему».

Публикацией трех рассказов Чехов не думал закончить свой цикл рассказов о «футлярных людях». 28 июля 1898 г., в день отправки в редакцию «Русской мысли» рассказов «Крыжовник» и «О любви», он писал В. А. Гольцеву: «Посылаю тебе заказною бандеролью два рассказа для августовской книжки. Хотел написать еще третий, очень небольшой, да помешали гости. Если рассказы найдешь пригодными, то отдай их в набор поскорее, чтобы проездом в Тверь, 1—2 августа, я мог взять корректуру с собой. Я прочту корректуру и тогда, быть может, прибавлю еще третий рассказ». О задуманной серии Чехов писал и издателю А. Ф. Марксу (28 сентября 1899 г.): «Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви»,— рассказы, принадлежащие к серии, которая далеко еще не закончена и которая может войти лишь в XI или XII том, когда будет приведена к концу вся серия». Задуманная Чеховым серия рассказов осталась незавершенной.

Замысел рассказа вырастал постепенно, о чем свидетельствуют Записные книжки Чехова, в которых отражен процесс работы писателя над рассказом. В первоначальном варианте «Крыжовник» должен был заканчиваться разочарованием героя, достигшего своего мелкого счастья, его болезнью и смертью. В процессе работы над рассказом Чехов внес существенные изменения в характеристику героя. Николай Иванович уже не осознает всей низменности своего счастья. Более того, Чехов показывает, как осуществление желания привело его к самоудовлетворенности. В третьей Записной книжке уже появляются заметки о том, как под влиянием собственности изменяются идеалы, мысли чиновника. Например: «от сытости начинается либеральная умеренность». Чехов стремится показать эгоистичность, ограниченность и пошлость собственнического счастья.

По свидетельству М. П. Чехова («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 63—64), в рассказе «Крыжовник» отра-

жены некоторые черты быта Бакумовки, усадьбы помещика С. И. Смагина, в частности, описанное в рассказе купанье в реке. М. П. Чехов вспоминает и о происхождении фамилии Чимша-Гималайский: «Когда Антон Павлович,— пишет он,— ехал... через всю Сибирь на Сахалин, то где-то, на краю света, к нему вышел местный гражданин с желанием познакомиться. Он подал ему свою визитную карточку, на которой было написано: «Рымша-Пилсудский». Антон Павлович привез эту карточку с собой и долго смеялся, что такой фамилии и в пьяном виде не выдумаешь и что ею при случае надо воспользоваться» (там же, стр. 16—17).

Вл. И. Немирович-Данченко писал 27 сентября 1898 г. Чехову: «Сейчас закрыл книгу на рассказе «О любви». «Крыжовник» — хорошо... потому что есть и присущий тебе колорит, как в общем тоне и фоне, так и в языке, и еще потому, что очень хороши мысли».

Рассказ «Крыжовник» привлек внимание критики. А. Богданович («Мир божий», 1898, № 10, октябрь) отметил общее идейное начало, объединяющее «Человека в футляре» и «Крыжовник». В последнем рассказе, подчеркивает критик, «как бы обрисовывается среда, где властвует человек в футляре, Николай Иванович... это живой представитель того мирка, где человек в футляре в течение последних пятнадцати лет вытравлял все человеческое, все сколько-нибудь возвышающееся над низменным уровнем будничной жизни». Ту же мысль высказывал и А. Скабичевский («Сын отечества», 1898, № 245, 11 сентября), считавший, что причиной безыдейности жизни является отсутствие в ней всяких разумных и широких целей. А. Измайлов («Биржевые ведомости», 1898, № 234, 28 августа), напротив, отрицал идейную связь между рассказами и подчеркивал нарастающую, по его мнению, меланхоличность автора, грустные и тоскливые нотки, звучащие в тоне рассказчика».

Стр. 301. *«...тьмы истин нам дороже»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830). У Пушкина: «Тьмы низких истин мне дороже...»

О ЛЮБВИ

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1898, кн. VIII, август. С изменениями вошло во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и в том XI, посмертный, 1906.

При подготовке рассказа для собрания сочинений автор про-

извел стилистическую правку и сокращение текста. Он снял некоторые повторения, отдельные фразы поясняющего характера. Снят и конец рассказа. В журнальной редакции следовало продолжение: «Сегодня к вечеру мне нужно быть в городе,— сказал Иван Иваныч, возвращаясь в комнату.— От вас я прямо на полустанок.

— Я вас провожу,— сказал Алехин.— Но пешком теперь грязно; в пятом часу наши бабы поедут в Федотово за известкой, так вот кстати и подвезут нас. Надо только приказать, чтобы нам дали пораньше обедать».

Рассказ был написан в июле 1898 г. в Мелихове.

По опубликовании рассказов «Человек в футляре», «О любви» и «Крыжовник» в печати появились статьи и заметки, оценивающие как рассказ «О любви», так и весь цикл в целом. Подчеркивая правдивость всех трех рассказов, критики отмечали внутреннюю, идейную связь между ними. Так, А. Богданович («Мир божий», 1898, № 10, октябрь) указывал, что в Алехине «все выела футлярная жизнь». В статье критика Р. Сементковского («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 г., № 10, октябрь) отмечалось большое общественное значение рассказов «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре», которые, по мнению критика, упрекают «русское общество в постыдном равнодушии или в неспособности жить для плодотворных идеалов». Полемизируя с Н. К. Михайловским, обвинявшим Чехова в отсутствии у него миросозерцания, Сементковский встает на защиту писателя. Чехов представляется ему «поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости», который, «приняв наследие истинных наших духовных отцов (Лермонтова, Гончарова, Некрасова.— *В. Р.*)... понимает и истинную идею современного нам поколения и с присущим ему талантом старается разъяснить ее тем, кто ее еще не понял».

ИОНЫЧ

Впервые напечатано в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу «Нива» на 1898 г., № 9, сентябрь, с подзаголовком *Рассказ Антона Чехова.* Без подзаголовка и с небольшими изменениями вошло в IX том собрания сочинений.

В ЦГАЛИ хранится беловая авторская рукопись рассказа, по которой сделан набор для журнала. Но текст в журнале за-

метно отличается от рукописного, что говорит о значительной авторской правке в корректуре.

Редактируя рассказ в корректуре, Чехов не ограничивается стилистической правкой. Он значительно сокращает текст, в ряде мест изменяет его. Добиваясь выразительности и смысловой емкости каждой детали, Чехов освобождается от описательности, от некоторых частных подробностей. Сняты фразы, которые, возможно, показались автору не соответствующими образу Старцева. Например, после слов «...и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет» (стр. 328) — «И какие веселые мысли иногда приходили в голову по поводу этих денег, какие заманчивые планы!» Снята и такая фраза (после слов «Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас» — стр. 330): «Мне, однако, пора,— сказал он; его уже сильно тянуло в клуб.— Позвольте мне уехать». Внесены изменения и в обрисовку Ивана Петровича и Веры Иосифовны. В новой редакции Чехов исключил отдельные детали в описании их внешнего вида и поступков, намечавшие уже некоторые новые стороны в понимании этих образов, раскрытие которых не входило в авторские планы. Писатель ограничивает свою задачу: он показывает бездарность и ординарность этого «самого талантливого» семейства в городе. Например, первоначально после слов «Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой» (стр. 319) следовала сцена: «Опять окружили ее и стали восхищаться, поздравлять, уверять, что во всем городе никто не играет так хорошо.

— Прекрасно! Превосходно!

— Она у нас будет звездочкой,— с гордостью сказал отец. И мать, Вера Иосифовна, смотрела на свою дочь тоже нежно и с гордостью, но эгоизм непризнанного таланта, зависть и ревность к чужим успехам вдруг заговорили в ней, и, уже не вынося этих похвал, относившихся не к ней, она услала дочь из гостиной, сказавши ей:

— Котик, поищи у меня в спальной мой карандаш».

При чтении корректуры Чехов снимает и прямолинейные оценки в повествовании, например, после слов «а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит» (стр. 329) было: «Это,— думал он с раздражением и скукой,— самая бездарная женщина во всем городе»; после

слов «он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы» (стр. 321): «и дом показался ему мрачным, точно это была богадельня или арестный дом».

Первоначально рассказ предназначался для журнала «Русская мысль» и был обещан В. А. Гольцеву к декабрю 1897 г. (письмо Чехова от 18 октября 1897 г.), но 15 декабря Чехов из Ниццы уведомлял редактора «Русской мысли»: «Рассказ я пришлю, но едва ли успею сделать это раньше февраля... сюжет такой, что нелегко пишется... Во всяком случае, рассказ пишу, пришлю и за неделю до присылки уведомлю». 29 января 1898 г. он писал Гольцеву о работе над «Ионычем»: «Повесть моя для «Русской мысли» еще не готова, и я не знаю, когда я ее кончу... Для работы здесь обстановка самая неподходящая — для меня по крайней мере. Je ne suis pas tout à mon aise;[1] стол чужой, ручка чужая, и то, что я пишу, кажется мне чужим». Почти через месяц, 25 февраля, в письме к В. М. Лаврову он сообщал: «Повесть я не пришлю, а привезу. Прости, голубчик, за медлительность. Здесь до такой степени неудобно писать, или я в таком настроении, что у меня не выходит ничего путного. Дома, в своем флигеле, я сразу приведу себя в порядок».

В начале мая, по возвращении из-за границы, Чехов отдал рассказ в «Русскую мысль», однако вскоре изменил свои планы. 6 июня в письме к Гольцеву он просил отослать рассказ в Мелихово. «Рассказ возврати мне, для «Русской мысли» он не годится. Если он был набран, то пришли в набранном виде — очень обяжешь». Как предполагают, это был «Ионыч». 10 июня Чехов получил из редакции «Русской мысли» гранки «Ионыча» и вскоре отослал их в «Ниву». Редактор «Нивы» Р. И. Сементковский 18 июня писал Чехову: «С истинным удовольствием прочел я Ваш рассказ, и само собою разумеется, что все Ваши желания будут в точности исполнены». 13 июля Чехов просил в письме к Сементковскому выслать ему корректуру «Ионыча» до августа. Как видно из письма Сементковского Чехову от 28 июля, корректура была отослана Чехову 16 июля и 29 июля возвращена автором в редакцию.

Рассказ получил высокую оценку либерально-буржуазного критика Д. Н. Овсянико-Куликовского («Журнал для всех», 1899, № 2, февраль, № 3, март). Критик приветствовал Чехова как

[1] Я не в своей тарелке *(франц.)*.

«первостепенную художественную силу, прокладывающую в искусстве свой особый путь». Критик глубоко раскрыл своеобразие художественного метода Чехова, который «никогда не дает нам всесторонней и детальной разработки типов или характеров... Он только намечает одну, две, три черты и затем придает им известное освещение, большею частью при помощи необыкновенно тонкого и меткого психологического анализа». Образцом чеховского мастерства критик считает рассказ «Ионыч», в котором автор, по его мнению, «блистательно справился с задачею художественного типичного изображения пустоты и бездарности Туркиных», опустившегося Старцева, «человека все той же рутины, которая ему так ненавистна в других». В противоположность многим критическим мнениям Овсянико-Куликовский говорил, что, несмотря на «прозу жизни», которую Чехов изображает, в произведениях его вдумчивый читатель всегда «чувствует присутствие идеала, его тихое, еще неясное веяние и, вместе с художником, устремляет свой умственный взор в туманную даль грядущего, где уже чуется бледный рассвет новой жизни». Однако, каков этот идеал, критик не раскрывает.

Стр. 316. *«Когда еще я не пил слез из чаши бытия»* — из стихотворения А. А. Дельвига «Элегия» (1823), переложенного на музыку другом поэта М. Л. Яковлевым.

Стр. 319. *«Твой голос для меня и ласковый и томный»* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Ночь» (1823), переложенного на музыку А. Рубинштейном, Римским-Корсаковым, Мусоргским, Гречаниновым.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1898, кн. XII, декабрь, с подзаголовком *Рассказ.* Без подзаголовка, с мелкими стилистическими изменениями включено автором в том IX собрания сочинений.

Рассказ закончен Чеховым к 11 ноября 1898 г. В этот день он писал из Ялты знакомому врачу И. И. Орлову: «По случаю дождя и дурной погоды сел за работу и уже написал целый рассказ». 14 ноября рассказ был отослан в «Русскую мысль» для декабрьской книжки, о чем Чехов извещал В. М. Лаврова и В. А. Гольцева, прося их прислать поскорее корректуру. О том же он снова писал Гольцеву 29 ноября. Между 30 ноября и 3 декабря писатель читает полученную корректуру рассказа.

Весьма интересна следующая мысль из Записной книжки (стр. 81, запись 4), мысль, которую писатель, возможно, по цензурным условиям не мог так прямо высказать в рассказе: «Взглянешь на фабрику, где-нибудь в захолустье,— тихо, смирно, но если взглянуть вовнутрь, какое непроходимое невежество хозяев, тупой эгоизм, какое безнадежное состояние рабочих, дрязги, водка, вши».

И. И. Горбунов-Посадов писал Чехову о рассказе (24 января 1899 г.): «Радостно особенно то, что Ваше творчество работает с такою энергией и такие прекрасные вещи все у Вас выходят... Я с таким хорошим чувством прочел «Случай из практики». Это превосходная вещь, вызывающая на самые нужные мысли и чувства».

Постановка Чеховым важных социальных вопросов времени, изображение вопиющих противоречий жизни вызвали недовольство в реакционной прессе. Ее представитель Н. Ракшанин («Московский листок», прибавление к № 10, 1899, № 2, 10 января), утверждая, что содержание рассказа «не представляет интереса», упрекал Чехова в несамостоятельности и неискренности, сокрушался об измене Чехова «чистому искусству», к которому писатель якобы до сих пор принадлежал. В этом Ракшанин даже усматривает трагедию художника и заявляет, что рассказ производит «тяжелое впечатление».

Либерально-буржуазные критики А. Скабичевский («Сын отечества», 1898, № 350, 25 декабря) и А. Богданович («Мир божий», 1899, № 2, февраль) указали на большое познавательное значение рассказа. Критик «Русских ведомостей» Игнатов (1898, № 289, 19 декабря), отметив выбор темы и талантливую ее разработку, выразил свою неудовлетворенность концом, который якобы не гармонирует со всем рассказом.

ДУШЕЧКА

Впервые напечатано в журнале «Семья», 1899, № 1, 3 января, с подзаголовком *Рассказ Антона Чехова*. С небольшими стилистическими изменениями и без подзаголовка включено автором в том IX собрания сочинений.

В мае 1897 г. редактор журнала «Семья» Н. Е. Эфрос обратился к Чехову с просьбой поддержать журнал своим участием. Чехов дал согласие, но послал рассказ только в начале декабря 1898 г. Эфрос в телеграмме от 9 декабря про-

сил у Чехова разрешения поместить «Душечку» и в рождественском номере газеты «Новости дня». Чехов не согласился с этим предложением, о чем мы можем судить из письма Эфроса Чехову (от 13 декабря): «Все Ваши желания, конечно, исполню в точности: рассказ помещу в один прием, в «Семье», и не в рождественском номере, раз вы этого не хотите... Корректуру вышлют завтра». Однако корректуру Чехов получил только в двадцатых числах декабря (письмо к Эфросу от 20 декабря 1898 г.).

Замысел рассказа возник у Чехова давно; в Записной книжке писателя еще в 1895 г. сделана заметка, представляющая собой первоначальный набросок сюжета «Душечки».

И. И. Горбунов-Посадов 24 января 1899 г. писал Чехову: «В Москве Лев Н. (Толстой.— *В. Р.*) прочел мне (и еще собравшимся людям), чудесно, с увлечением прочел два Ваши новые, «По делам службы» и «Душенька». Оба очень хороши, особенно даже «Душенька». Это гоголевская совершенно вещь. «Душенька» останется так же в нашей литературе, как гоголевские типы, ставшие нарицательными. Лев Н. в восторге от нее. Он все говорит, что это перл, что Чехов это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением». Это письмо глубоко тронуло Чехова. 27 января он ответил Горбунову-Посадову: «Когда писал «Душечку», то никак не думал, что ее будет читать Лев Николаевич. Спасибо Вам; Ваши строки о Льве Николаевиче я читал с истинным наслаждением». Об оценке рассказа Л. Толстым свидетельствуют также С. Т. Семенов («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 368), и П. Сергеенко (сб. «О Чехове», М. 1910, стр. 197—198). «После чтения,— вспоминает Сергеенко,— Л. Н. с одушевлением заговорил о «Душечке» и цитировал на память целые фразы. «Как метко и хорошо,— говорил он,— схвачен Чеховым язык телеграфиста! И эти «хохороны»! И это истинное женское чувство, так сжато и так мастерски выраженное в «Душечке»! Превосходный рассказ! И как истинное художественное произведение, оно, оставаясь прекрасным, может производить различные эффекты».

В дневнике С. А. Толстой (от 14, 15, 24 января 1899 г.) есть записи, свидетельствующие о чтении Л. Н. Толстым рассказа «Душечка» своей семье и гостям («Дневники Софьи Андреевны Толстой», часть 3, М. 1932, стр. 109, 112). 30 марта 1899 г. дочь Толстого Татьяна Львовна писала Чехову: «Ваша «Душеч-

ка» — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи».

Чехов уведомлял А. С. Суворина 27 января 1899 г. из Ялты: «Я недавно написал юмористический рассказ в 1/2 листа, и теперь мне пишут, что Л. Н. Толстой читает этот рассказ вслух, читает необыкновенно хорошо». О том же писал Чехов и М. П. Чеховой (письмо от 4 февраля).

Как известно, Толстой относил «Душечку» к числу лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд., стр. 577). С некоторыми изменениями и сокращениями он включил «Душечку» в составленный им в 1906 г. сборник «Круг чтения», снабдив послесловием, в котором дал свое истолкование рассказа. Намерение Чехова посмеяться над «жалким» существом «Душечки» Толстой объясняет влиянием на автора модных идей времени. «Я думаю,— писал он,— что в рассуждении, не в чувстве автора, когда он писал «Душечку», носилось неясное представление о новой женщине, об ее равноправности с мужчиной, развитой, ученой, самостоятельно работающей не хуже, если не лучше мужчины на пользу обществу, о той самой женщине, которая подняла и поддерживает женский вопрос, и он, начав писать «Душечку», хотел показать, какою не должна быть женщина». Но, утверждает Л. Толстой, чувство автора взяло верх над его рассуждениями: «Валак общественного мнения приглашал Чехова проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине, неразвитую женщину... но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда останется образцом того, чем может быть женщина и для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем сводит ее судьба». «Не смешна, а свята, удивительна,— по его мнению,— душа «Душечки» со своей способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит». В соответствии со своими взглядами Толстой вносил изменения в текст рассказа при публикации «Душечки» в сборнике «Круг чтения». Он опустил отдельные штрихи, снижающие образ Душечки и «предмет» ее любви (приводим некоторые из сокращений, выделяя их курсивом): Кукин «говорил жидким тенорком *и когда говорил, то кривил рот,* и на лице у него всегда было написано отчаяние». «Он сделал предложение, и они повенчались. *И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и прого-*

ворил: — «Душечка!» «И в сердце у нее была такая же пустота, как и на дворе. *И так жутко и так горько, как будто объелась полыни».* «Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, *и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью...»*

Образ «Душечки» использован В. И. Лениным в заметке «Социал-демократическая душечка», написанной в октябре 1905 г. (Сочинения, т. 9, стр. 384).

НОВАЯ ДАЧА

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1899, № 3, 3 января, с подзаголовком *Рассказ.* Без подзаголовка и с небольшими изменениями включено автором в том IX собрания сочинений.

Рассказ был закончен к середине октября 1898 г. 14 октября Чехов писал редактору-издателю «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому: «Черкните мне хоть одно слово: дома ли Вы? Если дома, то немедленно я вышлю Вам рассказ». 17 декабря писатель сообщал М. П. Чеховой о том, что посылает рассказ в «Русские ведомости». Однако отослан рассказ был только 24 декабря вместе с письмом Соболевскому: «Вчера я получил телеграмму от Д. Н. Анучина о Вашем возвращении, сегодня одновременно с сим посылаю рассказ заказною бандеролью прямо в редакцию». Соболевский в письме от 1 января 1899 г. уведомлял Чехова: «Рассказ помещаю в воскресном (3 января) № газеты. Надеюсь, что он не будет тронут цензорской рукой, хотя за одно местечко (о богатых и сытых) не ручаюсь: это bête noire[1] нашего цензора, с которым до сих пор приходится иметь дело». Опасения редактора, видимо, относились к разговору жены инженера, Елены Ивановны, с кузнецом Родионом и Степанидой о богатых и бедных в III главе рассказа. Были ли какие-либо цензурные изменения в этой главе, неизвестно.

Рассказ о деревне, в котором поставлен вопрос о неизбежности трагического взаимонепонимания бар и мужиков в современных писателю социальных условиях, получил ряд отзывов в печати. Литературный критик либерально-буржуазной газеты «Биржевые ведомости» А. Измайлов (1899, № 14, 15 января) от-

[1] страшилище *(франц.)*.

мечал, что рассказ «живо затрагивает один из проклятых вопросов русской жизни — страшную рознь, какая лежит между барином и мужиком, устраняя всякую возможность не только слияния или сближения, но даже простой солидарности и делая трагедии из самых пустых жизненных столкновений». А. Богданович («Мир божий», 1899, № 2, февраль) признает, что «по художественности «Новая дача»... лучшая вещь из написанных за последнее время Чеховым. В ней все движение и жизнь, крестьянские типы очерчены с тонким юмором, смягчающим резкость и неприглядность мрачной деревенской жизни». Критик подчеркивает общественную значимость поднятых художником вопросов. «В новых произведениях Ан. Чехова («Случай из практики», «Новая дача», «По делам службы».— *В. Р.*)...— пишет он,— опять тревожно стучатся в душу... неразрешимые вопросы жизни, которые с особой болью и остротой дают себя чувствовать в минуты глубокого общественного затишья».

ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ

Впервые напечатано в журнале «Книжки «Недели», 1899, № 1, январь, с подзаголовком *Рассказ*. Без подзаголовка и с немногими исправлениями включено автором в том IX собрания сочинений.

Рассказ был закончен во второй половине ноября 1898 г. 26 ноября Чехов писал сестре: «Сегодня отослал рассказ и потому гуляю». Об отсылке рассказа в редакцию журнала Чехов в тот же день извещал сотрудника «Недели» М. О. Меньшикова: «Посылаю в «Неделю» рассказ... пожалуйста, пришлите корректуру. Рассказ еще не кончен в деталях, отделаю его в корректуре, теперь же сидеть над черновой рукописью не хотелось долго, нездоровится немножко, да и тороплюсь послать. Итак, пожалуйста, корректуру».

По опубликовании рассказа И. И. Горбунов-Посадов сообщил Чехову (письмо от 24 января 1899 г.) о чтении рассказа Л. Н. Толстым: «В «По делам службы» Лев Н. чудесно читал «цоцкого». Как живой, был перед нами этот милейший старичина со своей многострадальной эпопеей административного perpetuum mobil'a. Вся тщета, бессмыслица распорядительства кабинетов, бар над деревнею так ярко выступает. А метели — зимы как хорошо изображены!» Высокую оценку рассказу дал Меньшиков (письмо к Чехову в январе 1899 г.): «Рассказ Ваш

вышел очень сильным, «цоцкай» как живой. Читал эту вещь и все удивлялся краткости формы и обилию содержания: слова, фразы, слог — все это у Вас канва, совсем исчезающая под картиной огромной и глубокой жизни. Вся суть в волшебной способности находить в хаосе слов те самые простые словечки и то нечаянное сочетание их, которые — как чиркнутая спичка — сразу освещают множество вещей».

По свидетельству М. П. Чехова («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 98—99), в лице Лошадина выведен сотский, или, как он сам называл себя, «цоцкай», служивший при Бавыкинском волостном правлении близ Мелихова. Этот «цоцкай», рассказывает М. П. Чехов, нередко приходил с той или иной казенной бумагой к Чехову, принимавшему в то время видное участие в делах земства.

Критика почти не заметила рассказ, с такой психологической тонкостью раскрывший горе и страдания народа, о которых не задумываются «господа» жизни. Только литературный обозреватель журнала «Мир божий» А. Богданович (1899, № 2, февраль) подчеркнул большую заслугу Чехова в том, что он шел впереди жизни, ставя в своем творчестве вопросы, которые не получили еще яркого выражения в обществе. «Тем ценнее для нас эти чудные рассказы Чехова,— пишет критик,— в которых столько острой боли и щемящей сердце тоски. Мучительно тревожное настроение чуткого и вдумчивого художника отдается в душе читателя, будит его притупившуюся к житейским неурядицам чувствительность, заставляет дать отчет в своей жизни и деятельности».

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1899, № 12, декабрь, с подзаголовком *Рассказ*. После значительного сокращения, без подзаголовка и с исправлениями включено автором во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и вошло в том XI, посмертный, 1906.

Редактируя рассказ для собрания сочинений, Чехов существенно перерабатывает его, очевидно стремясь глубже, психологически убедительнее показать, как под влиянием большого чувства меняются сами герои, особенно Гуров. Писатель снимает в конце второй и в третьей главах некоторые излишние подробности характеристики героя. Например, после слов «..ме-

ста, в которых он был, утеряли для него все очарование» (стр. 397): «Он бранил Крым, Ялту, татар, женщин, уверял, что Швейцария лучше. Он мало-помалу окунулся в московскую жизнь и уже ссорился с жильцами, дворниками, полицией»; после слов «Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке» (стр. 397): «и если бы Анна Сергеевна видела, как он выходил из ресторана красный, мрачный, недовольный, то, быть может, поняла бы, что в нем нет ничего возвышенного и необыкновенного...» Снята также фраза, нехарактерная для Гурова в начале знакомства с Анной Сергеевной (после слов «впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы» — стр. 396): «Гуров наслаждался, хотя и сознавал, что эти впечатления ему ни к чему, совсем не нужны, так как его жизнь не была ни прекрасной, ни величавой, и не было желания, чтобы она когда-нибудь стала такою». Чехов углубил во второй редакции образ Анны Сергеевны, устранил в ряде случаев некоторую мелодраматичность. Стремясь к лаконичности стиля, отказываясь от смысловых повторов, Чехов добивался глубины и большей эмоциональной выразительности образов своих героев. Интересно в этом смысле сопоставить два варианта следующего диалога. В первой редакции:

«— Ты точно оправдываешься.

— Вы должны выслушать меня, я расскажу вам, отчего это произошло.

— Мне ничего не нужно знать, решительно ничего!

— Но позвольте мне рассказать, мне станет легче...

— После, милая! — сказал он и поправил ее волосы.— Зачем делать такое серьезное, умное лицо? Это, извини, даже немножко неумно, потому что не соответствует обстоятельствам.

— Нет, вы должны меня выслушать. Прошу вас. Я вам уже говорила, что я вышла замуж и поехала с мужем в С. Живут же другие в провинции, отчего мне не жить? Но мне С. стал противен с первой же недели; как выгляну в окно, а там серый забор, длинный, серый забор,— о, боже мой! Ложилась в девять часов спать, и только развлечения, что в три часа обед, а в девять — спать. Мой муж, быть может, честный, хороший человек...»

Во второй редакции:

«— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдываться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек...»

Писать повесть Чехов начал в августе или сентябре 1899 г., о чем он 15 сентября сообщал редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву: «Прости, не шлю повести, потому что она еще не готова... Повесть получишь к декабрьской книжке». 30 октября рукопись была отослана в «Русскую мысль» одновременно с письмом, в котором Чехов просил прислать поскорее корректуру для отделки текста. 13 ноября Чехов отправил Гольцеву исправленную корректуру рассказа с просьбой выслать ему вторую корректуру. «Надо еще раз прочесть,— поясняет он.— Исполни сию мою великую просьбу. Время терпит, так как до декабря или января еще далеко».

После публикации рассказа в декабре 1899 г. художница М. Т. Дроздова сообщала Чехову: «Был Левитан. Много говорил об Вас. Он все говорил: «Черт возьми, как хорошо Антоний написал «Даму с собачкой»... В Литературном кружке ее читали, кажется». Интересен отзыв читательницы Е. В. Лебедевой (1900 г.): «Такие рассказы, как «Случай из практики», «По делам службы» и последний «Дама с собачкой» заставляют глубже присмотреться к жизни, к ее сложному, невыносимо тяжелому для иных людей, но людьми созданному механизму, увидеть всю ее неправду, мелочность и условность... Вы... умеете показать весь этот будничный ужас жизни». А. М. Горький в январе 1900 г. писал Чехову по поводу «Дамы с собачкой»: «После самого незначительного Вашего рассказа — все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И — главное — все кажется не простым, то есть не правдивым. Это — верно... Огромное Вы делаете дело Вашими маленькими рассказиками — возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни — черт бы ее побрал!.. Рассказы Ваши — изящно ограненные флаконы со всеми запахами жизни в них, и — уж поверьте! — чуткий нос всегда поймает среди них тот тонкий, едкий и здоровый запах «настоящего», действительно ценного и нужного, который всегда есть во всяком Вашем флаконе» (Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, Гослитиздат, М. 1954, стр. 113).

Т. Л. Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях («Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 331) так отзывалась о мастерстве автора «Дамы с собачкой»: «Его

маленькие рассказы стоят других многотомных произведений. Взять хотя бы «Даму с собачкой» — Тургеневу, например, хватило бы этой темы на целый роман. Чехов уложил ее в несколько десятков страниц, но из этих страниц ясно видна и чувствуется не только личная драма двух или трех людей, но весь быт тогдашнего «интеллигентного» общества, задыхавшегося под толщей предрассудков, ложных понятий о приличии и т. д., которые часто губили жизни и души людей».

Появление «Дамы с собачкой» снова дало критике повод заговорить о якобы незавершенности рассказов Чехова. «У г. Чехова,— писал В. Буренин («Новое время», 1900, № 8619, 25 февраля),— нередко встречаются такие рассказы, в которых, если так можно выразиться, наклевывается общая интересная мысль, интересный тип, но только наклевываются, не получают полного, законченного развития... Конец в произведениях талантливого беллетриста наступает там, где, казалось бы, следовало ждать настоящей творческой работы». О незаконченности рассказа писал и Андреевич (псевдоним Е. Соловьева — «Жизнь», 1900, № 1, январь). А. Измайлов («Биржевые ведомости», 1900, № 9, 10 января), положительно оценив рассказ в целом, заключил статью косвенным упреком автору в том, что он не завершил взятую им «психологическую тему «о странностях любви». В. Буренин назвал «Даму с собачкой» водевилем, «который и ялтинские любовники... и г. Чехов ошибочно принимают за драму». Считая и Анну Сергеевну и Гурова типичными представителями современной эпохи, А. Скабичевский («Сын отечества», 1900, № 35, 4 февраля) трактует рассказ как «безвыходную позорно-мучительную драму маленьких людишек». Ничтожными и бессодержательными видит героев рассказа и Р. Сементковский («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1900 г., № 1, январь). Таким образом, критики проглядели большую гуманистическую идею рассказа, не поняли его героев.

Стр. 400. *«Гейша»* (1897) — популярная в России оперетта английского композитора Сиднея Джонса (1861—1946).

НА СВЯТКАХ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1900, № 1, 1 января, с подзаголовком *Рассказ Антона Чехова.* Без подзаголовка, с некоторыми изменениями включено автором во 2-е из-

дание собрания сочинений, 1903, т. XII, и вошло в том XI, посмертный, 1906.

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов, возможно по цензурным соображениям, снял отдельные фразы. Например, после слов «...сколько свадеб, смертей!» (стр. 407) ранее следовало: «Два года был голод, были пожары». После слов «Первейший наш Внутреный Враг есть: Бахус» (стр. 408) было: «Ежели Солдат цельный день в объятиях Бахуса, то будить мало хорошего. И причина другого свойства: Вы теперь Швейцар, почитайте Вашего Хозяина, который Вам теперь есть: Начальник». В новой редакции более драматичным стал образ Ефимьи. Автор сильнее подчеркнул ее запуганность, забитость. Так, было: «Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала от его шагов, от взгляда...»; стало:«Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда». В отрывке «Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. *Прочла* и уж больше не могла» повторением слова «прочла» (выделено курсивом) Чехов усилил его эмоциональное звучание. После слов «А в поле зайчики бегают,— причитывала Ефимья!» — добавлено: «обливаясь слезами».

Рассказ был написан по просьбе редактора-издателя «Петербургской газеты» С. Н. Худекова, который в письме от 1 декабря 1899 г. писал Чехову: «Несказанно одолжили бы, прославши новенький, свеженький рассказец для нашего рождественского номера». В конце декабря 1899 г. Чехов написал рассказ и послал в «Петербургскую газету» (письмо Худекова Чехову от 27 декабря 1899 г.).

В ОВРАГЕ

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1900, № 1, январь. С небольшими изменениями включено автором во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и вошло в том XI, посмертный, 1906.

Повесть написана по настоятельным просьбам В. А. Поссе, редактора журнала «Жизнь», и А. М. Горького, участвовавшего в литературном отделе журнала, которые, начиная с декабря 1898 г., неоднократно приглашали Чехова сотрудничать в «Жизни».

Из письма Чехова к сестре (14 ноября 1899 г.) мы впервые узнаем о работе его над повестью: «Пишу большую повесть,

скоро кончу и начну другую». 19 ноября 1899 г. Чехов сообщал В. А. Поссе: «Я пишу повесть для «Жизни», и готова она будет скоро, должно быть, ко 2-й половине декабря. В ней всего листа три, но тьма действующих лиц, толкотня, очень тесно — и приходится много возиться, чтобы эта толкотня не чувствовалась резко. Как бы ни было, около 10 декабря она уже сформуется совсем, можно будет набирать. Но вот беда: разбирает страх, что ее пощиплет цензура... Вы возвратите мне мою повесть, если она и Вам покажется местами нецензурной, то есть если Вы также будете предвидеть опасность, что ее почиркает цензор». О работе над повестью Чехов писал также Вл. И. Немировичу-Данченко (3 декабря). 6 декабря в письме В. С. Миролюбову Чехов сообщал: «Пишу повесть для «Жизни», уже кончил». Однако в журнал повесть была отослана только 20 декабря. В этот день Чехов писал Поссе: «Простите, во-первых, я немножко запоздал, во-вторых, посылаю рукопись в безобразном виде. Я не стал переписывать из боязни, как бы не опоздать еще больше и не начать опять переделывать при переписывании. Пожалуйста, отдайте в набор и пришлите мне корректуру, я в корректуре сделаю то, что обыкновенно делаю переписывая, то есть безобразное сделаю благообразным. Корректуру я продержу у себя два дня. Вот если бы Вы отложили до февральской книжки, то было бы хорошо... Заглавие «В овраге», быть может, изменю, если придумаю что-нибудь более выразительное и глазастое». Однако уже после чтения корректуры, 12 января 1900 г., Чехов сообщил: «Название повести осталось прежнее».

26 декабря в письме к М. О. Меньшикову Чехов отмечал: «В последнее время я много писал. Послал повесть в «Жизнь». В этой повести я живописую фабричную жизнь, трактую о том, какая она печальная...» 2 января 1900 г. он шутливо писал о своей повести О. Л. Книппер: «В февральской книжке «Жизни» будет моя повесть — очень странная. Много действующих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко: бу-у! бу-у! — как корова, запертая в сарае. Все есть». В письме к Г. И. Россолимо (от 21 января 1900 г.) Чехов назвал свою повесть «последней из народной жизни».

7 января В. А. Поссе телеграфировал Чехову о посылке ему корректуры, а 11 января писатель выслал уже проверенную корректуру вместе с письмом к Поссе: «Возвращаю корректуру. Читать ее было очень трудно, так как типография почему-то

не прислала оригинала. Есть пропуски, которые я возобновил на память кое-как... Скажите корректору, чтобы он уже не исправлял, по возможности не ставил бы запятых и кавычек». В журнале повесть вышла с большим количеством опечаток, о чем Чехов сразу же написал Поссе (5 февраля): «Напрасно я читал корректуру, ее в типографии не исправили. Как были «табельные» вместо «заговенье»... так и осталось. В деревне никаких табельных дней не знают и не празднуют,— и это «табельные» покажется людям знающим нелепостью. После «сига»... запятая для чего-то, после «певчих»... нет запятой, после «бог милостив»... запятая. «Глазы» корректор исправил, показалось ему неправильно... а Гантаревы вместо Гунторевы, так и осталось. И кавычек ненужных понаставил, и двоеточий. Где у меня точка с запятой, там он поставил двоеточие. На странице 219, строка 9 снизу, после «возьми» нет тире (—) и т. д. и т. д. Все эти опечатки, особенно «табельные» и... «Цыбулякин»... «Цыбулькин»... так аффрапировали меня, что я теперь видеть не могу своего рассказа. Такое обилие опечаток для меня небывалая вещь и представляется мне целой оргией типографской неряшливости — простите мне это раздражение».

Из воспоминаний М. П. Чехова («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 146) известно, что в повести описан «один из сахалинских случаев, а место действия — близ Мелихова». С. Н. Щукин, ялтинский учитель и литератор, приводит следующие слова Чехова о повести: «Я описываю тут жизнь, какая встречается в средних губерниях, я ее больше знаю. И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом деле они еще хуже. Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести,— прибавил он,— потому что говорить об этом считаю нехудожественным... То, что мальчика Липы обварили кипятком, это не исключительный случай, земские врачи нередко встречают такие случаи» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 464). И. А. Бунин свидетельствует, что он рассказал Чехову о сельском дьяконе, до крупинки съевшем на именинах его отца фунта два икры. «Этой историей,— добавляет Бунин,— он начал свою повесть «В овраге» (там же, стр. 526).

Повесть «В овраге», как и «Мужики», вызвала многочисленные отклики. Еще до появления повести в печати Поссе писал автору (28 декабря 1899 г.): «Вчера получил и проглотил Вашу

повесть. Какая беспощадная, какая зловещая правдивость! Ни одного намека на эффект, а впечатление огромное, проникающее в душу и постепенно растущее уже после того, как повесть прочитана». После выхода в свет январской книжки журнала «Жизнь» Чехов получил много писем с восторженными отзывами о новой повести. Приводим некоторые из них. В. С. Миролюбов, редактор «Журнала для всех» (9 февраля 1900 г.): «Спасибо за «Овраг». Раза 3 от сильного чувства прекращал чтение. Знаете, как это бывает,— застилает глаза слезами, что-то в груди подымается, разрастается, как будто летишь куда...»; И. И. Горбунов-Посадов (март 1900 г.): «С глубоко любовным чувством к Вам читал я Ваше «В овраге». Я в первый раз ближе, больше, сильнее почувствовал не талант только Ваш, а *сердце* Ваше, *любовь* к человеку в сердце Вашем, нежную, глубокую любовь ко всему страдающему и ко всему умирающему душою в этой жизни по незнанию, по глубокому беспросветному духовному невежеству, охватывающему все и вся в этой глухой трущобе жизни, в которой живут миллионы людей, руководимых одними животными инстинктами. А про мастерство — что уж говорить! — Эта ночь, когда она идет с ребенком, костер, этот старик,— я мало в жизни читал такого художества»; А. Ф. Кони (24 ноября 1900 г.): «Нужно ли говорить Вам, что я читал и перечитывал «В овраге» с восхищением. Мне кажется, что это лучше всего, что Вы написали,— что это — одно из глубочайших произведений русской литературы». В феврале 1900 г. М. Горький сообщал Чехову о впечатлении, которое произвела повесть на Л. Н. Толстого. «Сегодня,— писал он,— Толстой прислал мне письмо, в котором говорит: «Как хорош рассказ Чехова в «Жизни». Я чрезвычайно рад ему» (Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, Гослитиздат, М. 1954, стр. 120). Горький свидетельствует и еще об одном, весьма интересном впечатлении. Находясь в июле 1900 г. в Мануйловке Полтавской губернии, он писал Чехову: «Читал я мужикам «В овраге». Если б вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль понравился им — черт знает до чего! Так что один мужик, Петро Дерид, даже выразил сожаление, что мало про того Костыля написано. Липа понравилась, старик, который говорит «велика матушка Россия». Да, славно все это вышло, должен я сказать, всех простили мужики — и старого Цыбукина и Аксинью, всех! Чудесный вы, человек, Антон Павлович, и огромный вы талан-

тище» (М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания, Гослитиздат, М. 1951, стр. 75).

М. Горький выступил в печати со статьей «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге» («Нижегородский листок», 1900, № 29, 30 января), в которой утверждал, что Чехов не только талантливый художник, но и создатель произведений большой общественной значимости. В ней впервые было глубоко правильно определено идейное и художественное значение творческой деятельности Чехова. Статья всем своим пафосом направлена против реакционной и буржуазной критики, произвольно истолковывавшей смысл большинства произведений писателя, обвинявшей его в бесстрастности, в отсутствии мировоззрения, в пессимизме. «Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! — писал Горький.— У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание,— он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению — быть может, потому, что высока,— но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них». Горький особенно подчеркнул оптимистический характер творчества Чехова: «Каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни... В новом рассказе, трагическом, мрачном до ужаса, эта нота звучит сильнее, чем раньше, и будит в душе радость и за нас и за него, трубадура «хмурой» действительности». О своей статье М. Горький сообщал Чехову в середине февраля 1900 г. из Нижнего-Новгорода: «Согрешил и я заметкой по поводу «Оврага», но ее у меня испортил сначала редактор, а потом цензор. Знаете,— заметил Горький,— «В овраге» — удивительно хорошо вышло. Это будет одна из лучших Ваших вещей. И Вы все лучше пишете, все сильнее, все красивее. Уж как хотите,— не сказать Вам этого не могу» (Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, Гослитиздат, М. 1954, стр. 119). Статья, в свою очередь, глубоко тронула Чехова, и в письме от 15 февраля он благодарил Горького за внимание к его творчеству: «Ваш фельетон в «Нижегородском листке» был бальзамом для моей души. Какой Вы талантливый! Я не умею писать ничего, кроме беллетристики, Вы же вполне владеете и пером журнального человека. Я думал сначала, что фельетон мне очень нравится, потому что Вы меня хвалите, потом же оказалось, что и Средин, и его семья,

и Ярцев — все от него в восторге. Значит, валяйте публицистику, господь Вас благословит!»

В печати о повести появился ряд отзывов, по смыслу резко противостоявших оценке Горького. Весьма тенденциозно подошел к осмыслению повести В. Буренин («Новое время», 1900, № 8619, 25 февраля). Грубо фальсифицируя положение марксизма об исторической необходимости капиталистического пути развития России, он пытался доказать, что герои повести Анисим и Аксинья — типичные представители... марксизма. Искажали социальный смысл повести и другие критики. Например, М. Меньшиков («Книжки «Недели», 1900, № 3, март), полагая капитализм в деревне явлением чуждым, искусственно перенесенным на русскую почву, увидел в повести лишь борьбу трех стихий: разрушительной стихии (олицетворением которой является Аксинья), примиренческой, «охранительной» (Варвара) и созидательной (Липа). Хищник-капиталист, по его мнению,— «продукт культурного распада», а не следствие развития определенных общественных отношений. И. Игнатов («Русские ведомости», 1900, № 42, 11 февраля) также пытался социальный смысл повести свести к моральным проблемам, утверждая, что жизнь Цыбукина — «сочетание не столько возмутительных, сколько бессмысленных и бесцельных поступков». О том же писал и Lemus (псевдоним М. Лемке — «Орловский вестник», 1900, № 179, 193, 199, 206; 7, 21, 28 июля и 4 августа). «Аксинья, как и Цыбукин,— считает он,— *не сознавали своей хищности* и были уверены, что на их месте иначе поступать нельзя». Видя причину всех страданий деревни в ее «нравственном и умственном убожестве», и Меньшиков и Лемке средством уничтожения этих страданий полагали либерально-просветительскую деятельность. С тех же позиций оценивал повесть и Д. Овсянико-Куликовский («Северный курьер», 1900, № 180, 181, 4 и 5 мая), считавший, что в основе преступлений Цыбукиных лежит бессознательность.

Большинство критиков, признавая художественные достоинства повести, по традиции продолжали упрекать Чехова в подчеркнуто мрачном изображении жизни. Так, А. Скабичевский («Сын отечества», 1900, № 49, 18 февраля) находил, что в повести «тоскующие ноты доходят до крайнего кресчендо». Пессимизм автора повести отмечали также рецензент «Русской мысли» (1900, № 4, апрель), И. Игнатов («Русские ведомости», 1900, № 42, 11 февраля), А. Измайлов («Биржевые ведомости», 1900, № 77, 19 марта), Н. Каспийский («Образование», 1900,

№ 3, март), Р. Сементковский («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1900 г., № 3, март), В. Мирский (псевдоним Е. Соловьева — «Журнал для всех», 1902, № 3, март) и М. Лемке. Однако два последних критика уже совсем по-новому оценили пессимизм Чехова, увидев в нем большую «требовательность к человеческой жизни».

Положительно оценили повесть критики В. Гольцев («Курьер», 1901, № 1, 1 января), Д. Шестаков («Литературное приложение к Торгово-промышленной газете», 1900, № 17, 23 апреля), Н. Каспийский, Д. Овсянико-Куликовский и др.

Статья Д. Н. Овсянико-Куликовского о повести вызвала возражения рецензента «Восточного обозрения» (1900, № 216, 218, 219, 29 сентября, 1 и 3 октября) Степаныча (псевдоним М. С. Александрова, более известного по псевдониму — Ольминский), марксистского критика, в данном случае подошедшего к оценке произведения Чехова неправильно. Ольминский упрекал Овсянико-Куликовского в том, что он видит в повести не то, что есть, а то, что должно заключаться в хорошем произведении реальной школы. И тут же Ольминский пояснил, что такая якобы ошибка критика произошла из-за нечеткости идейных позиций Чехова, позволяющей произвольно истолковывать его произведения. Но наряду с этим ошибочным утверждением Ольминский совершенно справедливо возражает Овсянико-Куликовскому против его мысли о «бессознательности» преступления Цыбукиных.

АРХИЕРЕЙ

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1902, № 4, апрель. С незначительными стилистическими изменениями включено автором во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и вошло в том XI, посмертный, 1906.

Рассказ был обещан В. С. Миролюбову, редактору «Журнала для всех», еще в 1899 г.; 6 декабря этого года Чехов писал Миролюбову в ответ на его просьбу прислать рассказ: «Рассказ я пришлю Вам непременно, только не торопите меня... Я пришлю Вам рассказ «Архиерей». В случае какого недоразумения, если он окажется нецензурным для вашего журнала, вышлю что-нибудь другое». Однако непосредственно писать рассказ Чехов стал значительно позже, что видно из его письма О. Л. Книппер-Чеховой от 16 марта 1901 г.: «Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей» на сюжет, который сидит

у меня в голове уже лет пятнадцать». 27 июля 1901 г. Миролюбов напомнил Чехову об обещанном рассказе: «Жду от Вас рассказа, объявленного подписчикам», и Чехов в письме от 3 августа подтвердил, что напишет рассказ для журнала. Однако работа над «Архиереем» была прервана: «Простите, голубчик,— сообщал Чехов редактору «Журнала для всех» 19 октября 1901 г.,— я не выслал Вам до сих пор рассказа. Это оттого, что я прервал работу, а прерванное мне всегда было трудно оканчивать. Вот приеду домой, начну сначала и вышлю, будьте покойны».

Рассказ был послан в редакцию лишь 20 февраля 1902 г. вместе с письмом Миролюбову: «Рассказ давно кончил, но переписывать его было трудновато; все нездоровится... Нездоровится, хоть плюнь. Корректуру мне непременно пришлите. Я прибавлю еще фразочки две-три в конце. Цензуре не уступаю ни одного слова, имейте сие в виду. Если цензура выбросит хоть слово, то рассказ возвратите мне, а я пришлю Вам другой в мае». Корректуру Чехов получил 8 марта, о чем в этот же день писал О. Л. Книппер: «Получил от Миролюбова корректуру своего рассказа и теперь хлопочу, чтобы сей рассказ не печатался, так как цензура сильно его попортила» (о цензурных изменениях ничего не известно.— *В. Р.*). О получении корректуры и ее качестве Чехов 8 марта сообщал и Миролюбову: «Сегодня я получил корректуру и сегодня же хотел прочитать и отправить, но, во-1), Ваш корректор все точки превратил в восклицательные знаки и наставил кавычки там, где им не надлежит быть («Синтаксис»), и во-2), много пропусков, приходится вставлять: (наприм., «Демьян-Змеевидец»). И хочется кое-что вставить — это помимо всего прочего. Стало быть, корректуру получите на другой день после этого письма или в тот же день, если успею кончить к вечеру, к 7 час. Простите, мой милый, я еще раз прошу: если цензура зачеркнет хоть одно слово, то не печатайте. Я пришлю другой рассказ. И так уж для цензуры я много выкинул и сокращал, когда писал. Помните сию мою просьбу, прошу Вас».

Новым рассказом Чехова интересовался Вл. И. Немирович-Данченко, который собирался прочесть его на благотворительном утреннике в пользу малообеспеченных учеников драматических курсов при Художественном театре. 12 ноября 1901 г. Чехов сообщал жене: «Я бы с большим удовольствием прислал Немировичу рассказ, но ведь все, что я теперь пишу, немножко

длинно, неудобно для публичного чтения, а то, что я сейчас пишу, едва ли цензурно, то есть едва ли допустимо для публичного чтения».

Современники Чехова вспоминали о прототипах героев рассказа. Так, А. И. Куприн пишет: «Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не нравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 559). М. П. Чехов («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 46—48) отмечает, что под именем отца Сисоя в рассказе выведен иеромонах Ананий, которому принадлежит фраза: «Японцы — все одно, что черногорцы». Иеромонах жил в Давидовой пустыни (мужской монастырь близ Мелихова), и родители Чехова, будучи религиозными, часто приглашали его в гости. Прототипом главного героя, архиерея, по утверждению М. П. Чехова, был Степан Алексеевич Петров, студент Московского университета, филолог, который жил рядом с Чеховым на Садово-Кудринской в Москве, а впоследствии, приняв имя Сергия, постригся в монахи и быстро сделал духовную карьеру. «Уже будучи архиереем,— говорит М. П. Чехов,— преосвященный Сергий приезжал в Ялту лечиться от нервов, которые были у него издерганы, благодаря службе, и во время этих пребываний в Ялте он навещал жившего тогда там Антона Павловича на его даче в Аутке... Эти свидания архиерея Сергия с Антоном Павловичем в Ялте и были той ассоциацией, благодаря которой и появился на свет рассказ «Архиерей» (т а м ж е). Другой современник Чехова, С. Н. Щукин, сообщает, что в какой-то степени прототипом архиерея является таврический епископ Михаил Грибановский («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 465).

В. С. Миролюбов писал Чехову (14 октября 1902 г.): «Был в Ясной Поляне, старик (Л. Н. Толстой.— *В. Р.*)... хвалит «Архиерея» и расспрашивал о Вас». И. И. Горбунов-Посадов 15 марта 1903 г. извещал Чехова: «Ваш «Архиерей» очень меня растрогал, хотя он и архиерей». И. А. Бунин говорил, что «Архиерей» написан... изумительно. Только тот, кто занимается сам литературой и сам испытал эти адские мучения, может по-

стигнуть всю красоту этого произведения» («Литературное наследство», т. 68, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 406).

В печати «Архиерей» получил положительную оценку. Рецензент «Биржевых ведомостей» за подписью А. И. (1902, № 129, 14 мая) назвал рассказ одним «из наиболее красивых и изящных», нашел, что он «производит впечатление правдивое и цельное». Однако основную цель автора критик увидел в стремлении поведать о грустной и тихой, совсем обыкновенной смерти человека, вознесенного «на высшую ступень духовной власти». А. Эльф («Восточное обозрение», 1902, № 125, 31 мая) отметил не только «художественность» рассказа и его познавательное значение (быт духовенства), но и душевный разлад архиерея. Правда, разлад критик нашел явлением нетипичным и до причин его доискиваться не стал. Как видно из приведенных отзывов, большое содержание рассказа, за цензурность которого опасался сам Чехов, мучительное прозрение архиерея, только перед смертью осознавшего ложность и противоестественность своего привилегированного положения, критикой освещено не было.

РАССТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ

Печатается по черновой авторской рукописи, хранящейся в ЛБ.

Произведение не закончено автором. На рукописи — пометки и исправления, сделанные, вероятно, рукой В. С. Миролюбова, редактора «Журнала для всех», в котором рассказ был опубликован (1905, № 2). Так, сокращенные обозначения в рукописи: «Я», «М. И.», «ск» переправлены на полные: «Яншин», «Михаил Ильич», «сказал» и т. п. Рассказ, по-видимому, предназначался Чеховым для «Журнала для всех» и может быть отнесен к годам его сотрудничества в этом журнале (1902—1903).

ПИСЬМО

Печатается по черновой авторской рукописи, хранящейся в Пушкинском доме, в архиве В. С. Миролюбова.

Рассказ не завершен автором. Как видно из объявлений «Журнала для всех», «Письмо» предполагалось опубликовать в нем в 1906 г.; но на сентябрьском номере журнал был прекращен, и рукопись осталась ненапечатанной. На рукописи сделаны пометки рукою Миролюбова. Рассказ, вероятно, предназначался

Чеховым для «Журнала для всех» и может быть отнесен к годам сотрудничества его в этом журнале (1902—1903).

Начало «письма» героя рассказа, где говорится о книге неназванного писателя, в основном совпадает со следующим высказыванием Чехова, которое приводит С. Н. Щукин в своих воспоминаниях: «Вы обращали внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 463).

НЕВЕСТА

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1903, № 12, декабрь. Включено автором во 2-е издание собрания сочинений, 1903, т. XII, и вошло в том XI, посмертный, 1906.

В Отделе рукописей ЛБ хранится черновая авторская рукопись рассказа с многочисленными исправлениями, сокращениями и вставками. Эта рукопись, являющаяся первой редакцией повести, впервые опубликована Е. Н. Коншиной в книге «Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Сборник II» (М. 1928) с указанием всех особенностей авторской правки и с добавлением заметок Чехова к «Невесте», написанных им на отдельном листке из блокнота. В Отделе рукописей ЛБ хранится и беловая авторская рукопись рассказа, с небольшими исправлениями Чехова. Опубликована она также Е. Н. Коншиной в «Литературном наследстве», т. 68, изд. АН СССР, М. 1960. Эта рукопись существенно отличается от чернового текста рассказа.

Кроме того, сохранились гранки 1-й и 2-й корректур, правленные Чеховым для журнала (хранятся в Пушкинском доме). Журнальный текст повести отличен от текста второй корректуры. Видимо, была еще третья корректура, которая до нас не дошла. С текстом собрания сочинений журнальный текст тождествен. Таким образом, имеется пять редакций повести.

Сравнение редакций показывает, что Чехов с большой тщательностью работал над текстом «Невесты». От варианта к варианту оттачивался стиль, менялись сами образы, хотя сюжет рассказа был с самого начала довольно определенен для автора. Изменились также имена героев. В черновой рукописи Надя звалась Наташей, Нина Ивановна — Елизаветой Ивановной,

отцу Андрею Чехов особенно тщательно подбирал имя, называя его Григорием, Георгием, Иваном, Василием, Егором.

Работая над образом Андрея Андреича, Чехов от редакции к редакции стремился ярче оттенить его самолюбование, довольство собой, пошлость. Все резче подчеркивалась эгоистичность, слезливая сентиментальность Нины Ивановны, отсутствие взаимопонимания у нее с дочерью. Например, отрывок из черновой рукописи: «— Мама, милая, отчего мне так невесело? — спросила она немного погодя, и на глазах ее показались слезы.— Мне кажется, это оттого, что я ничего не делаю.

— Да разве здесь можно что-нибудь делать? — живо спросила мать.— Твоя милая бабушка все забрала в свои руки, и я не смею себе даже чаю налить. Я знаю, тебе скучно без занятий, ну да ведь бабушку не убедишь.

Надя обняла мать, и так прошлись обе молча.

— А ты бы рисовала, что ли,— сказала Нина Ивановна.— Или вышивай.

— А для чего вышивать? Для чего рисовать? — Мать ничего не ответила. И Наде почему-то стало досадно, и она вдруг заплакала.

— Ну прости, мама,— сказала она,— я сегодня просто не в духе».

В беловой рукописи и в последующих трех корректурах этот отрывок значительно изменялся (см. окончательный текст со слов «О чем ты плакала, мама?» до слов «...захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату» — стр. 487).

При сравнении черновой рукописи с последней, журнальной, редакцией видно, что особенно существенные изменения внес Чехов в образы Саши и Нади. Были устранены некоторые подробности в описании Саши, отдельные черты, снижающие образ. Вот, например, купюра из первой главы: «...у нее был сын Саша, уже большой мальчик, плохо учившийся в гимназии». Вместо фразы «На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу» в черновом варианте было: «...в прошлом году на нем, так же как теперь, был черный расстегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу». В конце пятой главы снят такой абзац: «На другой день в Москве Саша около вокзала побранился с извозчиком и сильно закашлялся, и кашель, что называется, бил его долго, и Наде стало ясно, что он нимало не поправился, а по-прежнему болен. Он остался в Москве, а Надя поехала

дальше в Петербург». Сняты также подозрения бабушки о том, что Саша в Москве пьет. В черновой рукописи Саша часто повторялся, и это делало его несколько однообразным, скучным. Чехов устранил повторы. Образ Саши от редакции к редакции становился все серьезнее, глубже, поэтичнее. Не случайно автор резко изменяет такой штрих (выделено курсивом): в черновой рукописи — «Это человек, думала Надя, с определенными убеждениями, с определенными правилами, *не мечтающий,* крепко уверенный в справедливости того, что он говорит; он повторяется и уже, по-видимому, стал прискучать, утомлять, и в то же время в словах его столько прекрасного, чудесного, обворожительного, что...»; в окончательной редакции — «Это странный, наивный человек, думала Надя, и *в его мечтах,* во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое, но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что...» Постепенно также, от редакции к редакции, исчезали у Саши черты некоторой развязности и излишней чудаковатости. Приводим два отрывка из черновой рукописи, по которым можно судить о значительном изменении сравнительно с окончательной редакцией образов Нади и Саши. В четвертой главе (после слов «Что? — спросил Саша»—стр. 494):

«— Не могу! — сказала она и зарыдала тихо, и плечи затряслись у нее.— Как я раньше могла жить здесь, не понимаю, не постигаю! — продолжала она, глядя заплаканными глазами на Сашу и ломая руки.— О, боже мой, я с ума схожу, я сейчас упаду!

Она склонила голову на кресло и продолжала, стараясь говорить тише, чтобы не услышали в зале:

— Жениха я презираю, себя презираю, бабушку презираю, маму презираю... Я погибла!

— Ну, да ладно! — проговорил Саша тихо и засмеялся.— Не плачьте, а то услышат и помешают нам. Значит, вы завтра уедете со мной, я довезу вас до Москвы, а там вы в Петербург. Чудесно!

И Саша опять засмеялся и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.

— Чудесно,— повторил он, потирая руки.— Завтра вы поедете на вокзал меня проводить и потом в вагон и — айда! Я и багаж ваш возьму и билет возьму, будьте без сумления. Паспорт у вас есть?

— Есть,— сказала она, и улыбнулась, и опять залилась слезами.— Давно уже есть.

— Слушайте меня. Будем говорить серьезно,— начал он, хмурясь.— Я убежден, верую глубоко, что России нужны только двоякого сорта люди. Я глубоко в это верую и считаю долгом своим убеждать таких, как вы. Мы живем в грубое, невежественное время, надо идти за меньшинством. Клянусь вам, вы не пожалеете, не раскаетесь и замуж даже успеете и жених найдется чудесный,— опять засмеялся он.— Уходите учиться, и там пусть вас носит судьба. Итак, значит, завтра поедем?»

Второй отрывок из шестой главы (после слов «...остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей» — стр. 496): «Он был все такой же, как и прошлым летом, бородатый, с всклоченной прической, все в том же сюртуке и парусинковых брюках, но вид у него был затасканный, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал.

— Ах! вы из Санкт-Петербурга! — сказал он весело, обрадовавшись.— Ну, что нового в вашем Санкт-Петербурге удивительном?

Посидели, поговорили, потом поехали в ресторан завтракать; он ел, говорил и все покашливал. А она не могла есть и только со страхом смотрела на него, боясь, как бы он не свалился здесь в ресторане и не умер.

— Саша, дорогой мой,— сказала она, кладя руку на его руку,— вы больны, вы это сами отлично видите.

— Нет, я здоров.

— Поедемте к нам... Я буду смотреть за вами, ходить, как друг, как сестра...— она заплакала,— как обязанный, бесконечно благодарный вам человек... Поедемте!

— Боже меня сохрани,— сказал Саша и засмеялся.— Что я у вас не видал? Обывателей? Андрея Андреича? Нет-с, слуга покорный. Я завтра уезжаю на Волгу.

— Поедемте! — умоляла она,— и лицо у нее было мокро от слез и слезы капали на тарелку.— Умоляю, поедемте!

— Нет, Надя, не просите, скучно мне у вас. К тому же я здоров, пожаловаться не могу. Завтра еду на Волгу тут с одним парнем... Парень-то хороший, только из Санкт-Петербурга, вот беда! Говоришь ему, положим, что мне хочется есть, что я оскорблен глубоко, задавлен насилием, что мы вырождаемся, а он мне в ответ на это толкует о великом инквизиторе, о Зосиме, о настроениях мистических, о каких-то зигзагах грядущего,

и это из страха ответить прямо на вопрос. Ведь ответить прямо на вопрос — страшно! Это все равно как при столпотворении смешение языков: один просит — дай топор, а ему в ответ — поди к черту.

— Слушайте, Саша, я опять о том же. Я вам так обязана! И мне так хотелось бы увезти вас, поговорить с вами, хотелось бы, чтобы вы относились к жизни и к людям помягче, пошире. Мне так хотелось бы, чтобы вашей душе было покойно.

— Нет, я не поеду. Скучно у вас.— Он заплатил в ресторане, потом рассмеялся и сказал, хлопнув по бумажнику:

— Я теперь триста рублей в месяц зарабатываю! Во!

Он провожал ее на вокзале, угощал чаем, яблоками...»

В последнем варианте рассказа Саша значительно мягче, лиричнее, менее чудаковат, но зато и менее определенен в своих высказываниях. Например, до журнальной редакции не дошли (сняты во второй корректуре) слова Саши о городе, в котором живет семья Шуминых: «Ни одной лавочки нет, где бы не обвешивали, ни одного нет чиновника, который не играл бы каждый день в карты и не трескал бы водки. На улицах грязь, нечистота, вонь. А кто здесь в вашем городе, взявши взаймы, отдает? Если кто возьмет у вас книгу почитать, то непременно замошенничает. А послушайте этих господ в клубе или на именинах где-нибудь, так только и разговору, что о пессимизме, о том, что жизнь не дает им ничего радостного, светлого. Канальи!.. Город мертвый, люди в нем мертвые,— продолжал Саша,— и если бы он провалился, то об этом было бы напечатано в газетах всего три строчки и никто бы не пожалел. Отсталый город. Бисмарк сказал: медленно запрягать, но быстро ездить,— в характере русского народа. А град сей, по правде сказать, только еще собирается запрягать, а уж куда там ездить!»

Снимая более или менее категоричные высказывания Саши, как бы приглушая его образ, Чехов в то же время Надю рисует от редакции к редакции все более смелой, самостоятельной, решительной, более взрослой. В последней редакции как личность Надя уже значительно сильнее Саши, она стоит ступенькой выше его. Не случайно поэтому отношение Нади к Саше в последнем варианте рассказа заметно меняется сравнительно с первой редакцией (см., например, приведенные выше отрывки, стр. 565—566). Еще существеннее изменяются у Нади взаимоотношения

с другими героями рассказа. Так, резче показана ее неприязнь к Андрею Андреичу. Например, в черновой рукописи было: «Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживал по этой своей квартире, а она видела во всем одну только пошлость, ужасную, глупую, наивную пошлость, и замечала только, что у жениха очень мягкие руки с короткими пальцами, что на нем очень новые, хорошо выглаженные брюки...» В последней редакции стало: «Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч». В журнальной редакции рассказа Надя много скорее разобралась в своей матери, нежели это было в черновом варианте, где она долго еще смотрит на Нину Ивановну как младшая на взрослую, серьезную, умудренную жизнью. Вот как отнеслась Надя к неудачному разговору с матерью в саду (глава вторая) в черновой редакции: «Мать ничего не ответила. И Наде почему-то стало досадно, и она вдруг заплакала.

— Ну прости, мама,— сказала она,— я сегодня просто не в духе».

В последней редакции: «Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату». Или другая сцена (черновая рукопись): «Надя молчала, отвернувшись к стене. Н. И. посидела немного и спросила». В последней редакции Надя уже не молчит, ее слова, обращенные к матери, выстраданные и суровые: «Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна,— сказала Надя,— ты очень несчастна,— зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?»

Чехов устранил излишние колебания, нерешительность Нади, что углубило ее характер. Например, в черновой рукописи было: «Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх и беспокойство и если бы почему-либо отложили свадьбу до осени, или даже до зимы, то она имела бы время все обдумать и, пожалуй, еще сильней полюбила бы жениха». В последней редакции: «Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое». И Надя уже твердо знает, что ее

тяготит, что ее не устраивает, что не любит она Андрея Андреича, потому что он — представитель старого мира, мира пошлости и несправедливости. И если в первой редакции Надя объясняет свою нелюбовь к жениху его личными качествами: «Андрея Андреича я не люблю и не могу его любить, не могу! Пойми, не могу! Раньше он нравился мне, пусть так, но теперь мне все ясно... я понимаю этого человека. Ведь он же не умен, мама!.. Господи, боже мой! Пойми, мама! Он глуп!»; то в последней редакции нарастающую антипатию к жениху она уже прямо связывает со своим неприятием окружающего ее общества: «Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же не умен, мама!» и ниже: «Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...»

Знаменательно, что Надя уже совсем по-иному, чем Саша, относится и к делу, которое она выбрала. В то время как Саша видел в нем жертвенный подвиг (в беловой рукописи Чехов вставил слова, снятые потом во второй корректуре: «пусть вы будете жертвой, но ведь так надо, без жертв нельзя, без нижних ступеней лестниц не бывает. Зато внуки и правнуки скажут спасибо!»),— сама Надя встречает новую жизнь радостно. В последней редакции ярче подчеркнута оптимистическая настроенность героини. Вот, например, как звучала концовка рассказа в первой и последней редакциях. Черновая рукопись: «Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром уехала, и впереди ей рисовалась жизнь трудовая, широкая, чистая». Журнальная редакция: «Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город,— как полагала, навсегда».

Работать над рассказом Чехов начал в октябре 1902 г. 16 октября в ответ на телеграфный запрос Миролюбова (8 октября) о заглавии нового произведения, Чехов писал: «Название рассказа я пришлю Вам тотчас же, как это будет возможно, то есть когда я остановлюсь на теме...», а 20 октября сообщал: «Если Вам так нужно название рассказа, которое можно потом и изменить, то вот оно: «Невеста»... Не сердитесь. Рассказ напишу».

О работе над рассказом Чехов писал В. А. Гольцеву (26 января 1903 г.), О. Л. Книппер-Чеховой (26 января). В последнем письме сообщалось: «Пишу рассказ для «Журнала для всех» на старинный манер, на манер семидесятых годов. Не знаю, что выйдет». 30 января он вновь писал жене: «Пишу рассказ, но медленно, через час по столовой ложке — быть может, оттого, что много действующих лиц, а может быть, и отвык, привыкать надо».

Работая над рассказом, Чехов опасался цензуры: «Как бы моей «Невесте» не досталось от гг. женихов, блюдущих чистоту вашего журнала!» — писал он Миролюбову 9 февраля. Рассказ был закончен 20 февраля, и в этот день Чехов сообщал редактору «Журнала для всех»: «Рассказ уже готов. Переписывать я буду его и исправлять при этом — дней пять; стало быть, 25 февраля вышлю Вам»... Чехов послал рассказ не 25, а на два дня позже, одновременно с письмом: «На два дня надул Вас: кончил не 25, как писал, а только вечером 27. Ну, да не беда. А здоровье уж не то, не могу писать по-прежнему, утомляюсь скоро. Корректуру пришлите, ибо надо исправить и сделать конец. Концы я всегда в корректуре делаю».

Корректуры рассказа Чехов читал в марте и в июне. 5 июня он писал В. В. Вересаеву, который читал рассказ вместе с Горьким еще в первой корректуре весной («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 675): «Невесту» искромсал и переделал в корректуре». О правке текста Чехов сообщал и Миролюбову (12 июня): «Сегодня послал Вам заказною бандеролью рассказ... Я увлекся и почеркал весь рассказ», а 2 июля просил его же: «Хорошо было бы, если бы Вы прислали мне еще раз взглянуть — не для исправления, а так, для знаков препинания». 6 июля Миролюбов послал ответ: «Очень Вам благодарен за корректуру. По исправлении мы Вам вышлем». 10 июля редакция журнала выслала Чехову сверстанный оттиск «Невесты».

Вересаев в упоминаемых выше воспоминаниях о Чехове рассказывает: «Накануне (22 апреля 1903 г.— *В. Р.*), у Горького, мы читали... рассказ Чехова «Невеста»... Антон Павлович спросил:

— Ну что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно:

— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девушки, как Ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровою настороженностью:

— Туда разные бывают пути».

С. Я. Елпатьевский в своих воспоминаниях («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1960, стр. 581), пишет, что Чехов просил его прочитать рассказ. «Я прочитал. Это была «Невеста», где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества». И. И. Горбунов-Посадов писал Чехову в январе 1904 г.: «А какая светло-милая, трогательная Невеста Ваша!»

После опубликования рассказа многие критики сошлись во мнении, что «Невеста» — поворот в творчестве писателя в сторону более бодрого, оптимистичного восприятия действительности. Заговорили о том, что Чехов совсем не бесстрастный художник, каким до сих пор его считали. «Решительно все рассказы Чехова,— писал В. Боцяновский («Русь», 1904, № 22, 3 января),— прямое указание на существование у него высокого идеала, которым он мерил окружающую жизнь и перед которым эта жизнь представляется слишком уж мелкой и пошлой». Критики подчеркивали общественное значение рассказа, повествующего об активном противодействии обывательщине. «Оставить город — значит оставить мысль о себялюбивом существовании, о тунеядстве с жирным чревоугодием, о мелочах жизни и жизни мелочей и пойти на широкую светлую дорогу избранного и любимого труда»,— писал М. Волошин в «Киевских откликах» (1904, № 47, 8 января). М. Гельрот («Южные записки», 1903, № 2, 21 декабря) увидел художественное достоинство произведений Чехова именно в его способности «процессом художественного обобщения» отразить «весь строй нашей российской обывательщины». Критика приветствовала героиню рассказа, порвавшую с миром пошлости и мещанства. «Бегство Нади,— писал В. Боцяновский,— при тех условиях, в которых устроил его Чехов, почти накануне свадьбы, бесспорно является своего рода личным подвигом». Волошин провел параллель между героинями Тургенева и Чехова и отметил, что если первые «все-таки клали основой жизни любовь», то героини Чехова уже ищут смысла жизни, а Надя «нашла свое дело и делает это дело». Естественно, что именно с образом Нади связывала критика свои рассуждения относительно оптимистического характера рассказа. Тот же Волошин призывал общество «пойти навстречу, как невесте, этой женщине, избравшей дело и делающей дело». Положительно отзывались о рас-

сказе также А. Богданович («Мир божий», 1904, № 1, январь), И. Джонсон (псевдоним И. Иванова—журн. «Правда», 1904, № 5, май). Высоко оценивая «Невесту», либерально-буржуазные критики не могли, однако, в силу своей социальной ограниченности, до конца правильно понять и рассказ, и самого писателя. Не случайно некоторые из них выражали неуверенность в устойчивости чеховского оптимизма.

Но наряду с положительными выступлениями либерально-буржуазной критики о рассказе были и такие, которые «Невесте» отводили «среднее место» среди произведений Чехова, считая существенным недостатком данного рассказа его «эскизность», «силуэтность» (М. Гершензон, «Научное слово», 1904, кн. I, январь) и заурядность изображенных героев (В. Х., «Мирный труд», 1904, № 2, февраль).

С позиций вульгарного марксизма выступил в газете «Курьер» (1903, № 296, 24 декабря) литературный критик В. Шулятиков. Отрицая относительную самостоятельность литературы, он и по рассказу «Невеста» сделал чрезвычайно узкие, ошибочные заключения, хотя и оценивал его в целом положительно. Шулятиков призывал «безусловных поклонников и панегиристов талантливого писателя» к умеренности в оценке новых настроений в творчестве Чехова. «Мы не должны ни на минуту забывать,— писал он,— с кем имеем дело, упускать из виду ни малейших черт социальной физиономии тех, чьи интересы временно и в известном отношении совпадают с нашими».

Рассматривая «Невесту» как поворотный момент в творческой эволюции писателя, критика и на этот раз не вскрыла всей глубины и общественной значимости важнейшего произведения А. П. Чехова.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1900.
«Белолобый». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 32—33.
«Дом с мезонином». Художник Д. Дубинский. 1954. Стр. 96—97.
«Моя жизнь». Художник Т. Шишмарева. 1954. Стр. 128—129.
«На подводе». Художник Д. Миньков. 1954. Стр. 192—193.
«Человек в футляре». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 224—225.
«Крыжовник». Художник Т. Шишмарева. 1954. Стр. 288—289.
«Ионыч». Художник Д. Миньков. 1954. Стр. 320—321.
«В овраге». Художник С. Бойм. 1954. Стр. 416—417.
«Невеста». Художник Д. Дубинский. 1954. Стр. 480—481.

СОДЕРЖАНИЕ

Супруга 5
Анна на шее 12
Белолобый 25
Убийство 31
Ариадна 60
Дом с мезонином. *Рассказ художника* 86
Моя жизнь. *Рассказ провинциала* 105
Мужики 198
Печенег 230
В родном углу 240
На подводе 252
У знакомых. *Рассказ* 261
Человек в футляре 280
Крыжовник 294
О любви 305
Ионыч 315
Случай из практики 334
Душечка 346
Новая дача 359
По делам службы 373
Дама с собачкой 389

На святках 406
В овраге 411
Архиерей 450
Расстройство компенсации 467
Письмо 476
Невеста 482

Примечания 505

Перечень иллюстраций 573

Антон Павлович
ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. 8

Редактор *В. Пересыпкина*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Е. Патина*

*

Подписано к печати 16/XI 1962 г. Бумага 84×108¹/₃₂. 18 печ. л. 29,52 усл. печ. л. уч.-изд. л. 27,77+10 вкл.=28,27 л. Тираж 610 000 экз. Заказ 847. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Московского городского совнархоза, Москва, Ж-54, Валовая, 28.

1р.10к.